
Нобелевская
премия
по литературе
2013 года
ЭЛИС МАНРО
Луны
Юпитера
18+
PREMIUM

Луны Юпитера (сборник)
Элис Манро

Аннотация
Элис Манро. Луны Юпитера. Сборник
Отзывы
О Шадделеях и Флемингах
  1. Родство
  2. Камень на лугу
Дульсе
Сезон индейки
Катастрофа
Автобус на Бардон
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

13
Прю
Праздничный ужин
Миссис Кросс и миссис Кидд
Драматические истории
Гости
Луны Юпитера

Аннотация

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. Вот и эти двенадцать историй, изложенные на первый взгляд бесхитростным языком, раскрывают удивительные сюжетные бездны. На каких-то двадцати страницах Манро умудряется создать целый мир – живой, осязаемый и невероятно притягательный.

Элис Манро
Луны Юпитера
Сборник

Alice Munro
The moons of Jupiter
Copyright © 1982 by Alice Munro
Оформление обложки Ильи Кучмы
© Е. Петрова, перевод, примечания, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА ®

Отзывы

Манро – одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия – художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее книги, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумпа Лахири

Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Проуз

Она – наш Чехов и переживет большинство своих современников.

Синтия Озик

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы – не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

«Виртуозно», «захватывающе», «остро, как алмаз», «поразительно» – все эти эпитеты равно годятся для Элис Манро.

Christian Science Monitor

Как узнать, что находишься во власти искусства, во власти огромного таланта?… Это искусство говорит само за себя со страниц с рассказами Элис Манро.

The Wall Street Journal

В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.

San Francisco Chronicle

У Элис Манро памятливый глаз художника. Она владеет почти совершенным пониманием мира ребенка. И у нее невероятное видение канадского пейзажа.

Saturday Night

Остроумные, тонкие, страстные, рассказы из «Лун Юпитера» мастерски повествуют о сущности и движении, о хитросплетениях и последствиях глубоко личных чувств. Проникновенность, которая не имеет себе равных.

New York Times

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе не заезжены, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны – и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» – это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история – еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета.ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…

ELLE

Бобу Уиверу

О Шадделеях и Флемингах

1. Родство

Кузина Айрис, из Филадельфии. Работала медицинской сестрой. Кузина Изабель, из Де-Мойна. Владела цветочной лавкой. Кузина Флора, из Виннипега, учительница. Кузина Уинифред, из Эдмонтона, бухгалтерша. Одинокие дамы, говорили о них. Термин «старые девы» в данном случае не подходил — такому определению они не отвечали. У каждой был тяжелый, могучий бюст — бронированный монолит — и стянутые корсетом живот и пышные ягодицы, каким позавидовали бы замужние матроны. В те дни считалось, что женское тело должно быть крупным и дебелым, не менее чем двадцатого размера, а иначе жизнь прожита напрасно; с течением времени, в зависимости от общественного положения и собственных устремлений, такие женщины либо обвисали и дряхлели, растекались, как заварной крем, под выцветшими ситцевыми платьями и вечно влажными фартуками, либо утяжкой придавали себе такие формы, которые, невзирая на упругие изгибы и гордые покатости, ничем не напоминали о плотских радостях, а напоминали только о правах и власти.

Моя мать и ее кузины относились ко второму типу. Они засупонивали себя в корсеты, которые застегивались с одного боку на десятки крючков, носили чулки, издававшие — стоило только скрестить лодыжки — сухой скрежет, во второй половине дня переодевались в трикотажные шелковые платья (мамино досталось ей от кого-то из кузин), не скупились на пудру (рашель), сухие румяна, одеколон и забирали волосы натуральными — или не совсем — черепаховыми гребнями. Маминых двоюродных сестер можно было вообразить только в таком виде; ну, или еще закутанными по самый нос в стеганые атласные халаты. Нашей маме трудно было за ними угнаться: для этого требовались неимоверные усилия, самоотверженность, изобретательность. А кто ценил такой шик? Да она же и ценила.

Как-то летом мамины кузины приехали к нам погостить. А привело их в наш дом то, что мама, единственная из всех, была замужем и могла принять у себя всех разом, но при этом не имела средств, чтобы самой ездить в гости. Жили мы в Далглише, что в округе Гурон, в западной части провинции Онтарио. На щите, установленном перед въездом в городок, значилась численность населения: 2000 человек.

— Теперь стало две тысячи четыре, — вскричала кузина Айрис, вываливаясь из водительской дверцы «олдсмобиля» 1939 года выпуска.

Она заезжала в Виннипег за Флорой и Уинифред, которые прибыли поездом из Эдмонтона. А потом они втроем отправились в Торонто за Изабел.

— И мы вчетвером наведем больше шороху, чем две тысячи, вместе взятые, — подхватила Изабел. — Где это было, в Оранджвилле, кажется? Мы так ржали, что Айрис пришлось остановить машину. А то мы бы точно в кювет угодили!

Ступени заскрипели под их весом.

— Дышите этим воздухом! Ничего нет лучше деревенского воздуха. А это что, помпа для воды? Чудесно было бы сейчас утолить жажду, верно? Испить ключевой водицы!

Мама велела мне принести стакан, но кузины решили во что бы то ни стало напиться из жестяной кружки.

Они стали рассказывать, как по дороге к нам Айрис побежала в траву помаленькому, а подняв голову, увидела, что ее взяли в кольцо любопытные коровы.

— Если бы коровы! — запротестовала Айрис. — Волы.

— Быки, если ты не разглядела, — поправила, опускаясь в плетеное кресло, Уинифред.

Она была самой тучной.

— Ну, быки. Что ж я, быков не знаю? — возмутилась Айрис. — Надеюсь, Уинифред, мебель здесь повышенной прочности. Ну, доложу я вам: у моей бедной машины задний мост совсем просел. Быки! Вот кошмар — уж не знаю, как я панталоны натянула!

Потом они стали рассказывать про совершенно дикий городишко на севере Онтарио, где Айрис даже не разрешила им выйти из машины, чтобы купить кока-колы. Посмотрела на лесорубов и завопила: «Да нас тут всех изнасилуют!»

— Как это «изнасилуют»? — не поняла моя младшая сестренка.

— Фу ты, — спохватилась Айрис. — Портмоне сопрут.

«Портмоне» — диковинное словцо. Мы со старшей сестрой его тоже не знали, но задавать два вопроса подряд нам не разрешалось. Впрочем, я догадывалась, что изнасилование — это нечто совсем другое. Что-то грязное.

— Кошелек. Кошелек отнимут, — сказала мама радостным, но вместе с тем предостерегающим тоном. У нас в доме вольностей не допускали.

Настало время распаковывать гостинцы. Кофе, орешки и финиковый пудинг в жестяных банках, устрицы, маслины, а для папы — фабричные сигареты. Все кузины, кроме Флоры, учительницы из Виннипега, были заядлыми курильщицами. В ту пору курение считалось шиком; но в Далглише его рассматривали как весьма вероятный признак падения нравов. У наших тетушек этот порок выглядел респектабельной роскошью.

Из свертков появились также чулки, шарфики, маркизетовая блузка для мамы, пара крахмальных белых кружевных фартучков для нас с сестрой (возможно, последний писк моды в Де-Мойне или Филадельфии, но полная несуразность в Далглише, где нас все время спрашивали, почему мы на людях не снимаем фартуки). И наконец, двухкилограммовая коробка шоколадных конфет. Долгое время после отъезда тетушек, когда конфеты давным-давно были съедены, мы все еще хранили эту коробку в ящике стоявшего в гостиной комода, вместе с постельным бельем — берегли ее для торжественного случая, которого так и не представилось. В ней остались пустые формочки от конфет, изготовленные из темной гофрированной бумаги. Зимой я нет-нет да и проскальзывала в нетопленую гостиную и

утыкалась носом в эти бумажные формочки, упиваясь запахом чуда и богатства; вновь и вновь я читала названия на внутренней стороне крышки: лесной орех, сливочная нуга, рахат-лукум, золотистое пралине, перечная мята.

Кузинам отвели нижнюю спальню и выдвижную кровать в верхней гостиной. Душными ночами они, недолго думая, вытаскивали матрасы на веранду, а то и во двор. Гамак разыгрывали по жребию. Уинифред от жребия отстранили. В доме за полночь было слышно, как они хихикают, шикают друг на дружку, выкрикивают: «Что-что?» Уличных фонарей вблизи нашего дома не было, и тетушки поражались темноте и обилию звезд.

А однажды затянули хоровую песню:

Плеск, плеск, плеск весла.
Лодку качнет на волне.
Речка бежит весела, весела,
Жизнь летит, как во сне.

Далглиш виделся им ненастоящим. Они ездили в центр, а потом рассказывали о причудах лавочников и передразнивали услышанные на улице разговоры. По утрам дом наполнялся

незнакомым американским благоуханием подаренного ими кофе, а тетушки интересовались, не осенил ли кого-нибудь план на сегодняшний день. Как-то раз они надумали отправиться в лес по ягоды. Там они исцарапались с головы до ног, перегрелись на жаре, а Уинифред вдобавок запуталась в колючих кустах и стала истошно звать на помощь; и тем не менее они повторяли, что отдохнули на славу. В другой раз им втемяшилось взять у моего отца удочки и пойти на рыбалку. Вернувшись домой, они предъявили свой улов — ершей, которых у нас было заведено выбрасывать в речку. Бывало, устраивали пикники. А то еще одевались во всякое рванье — старые соломенные шляпы, негодные отцовские комбинезоны — и так фотографировались. Они пекли многослойные торты и готовили удивительные фигурные салаты, формой как пагоды и будто усыпанные самоцветами.

В один прекрасный день кузины организовали концерт. Айрис изображала оперную диву. Набросив на плечи снятую со стола скатерть, она послала меня в курятник за перьями, чтобы украсить прическу. А потом исполнила арию Розмари и «Сердце красавицы». Уинифред, заранее прикупив себе водяной пистолет, переоделась

налетчицей. Каждому нужно было подготовить какой-нибудь номер. Мы со старшей сестрой выбрали для себя вокал: «Желтую розу Техаса» и Малое славословие. Но всех сразила наша мама: надев папины брюки, она долго стояла на голове.

Днями напролет — а случалось, и ночью — кузины были сами себе и артистками, и зрительницами. Флора, к примеру, разговаривала во сне. Поскольку она была самой манерной и осмотрительной, другие только и ждали, чтобы забросать ее вопросами и вынудить к какому-нибудь позорному ответу. Внушали ей, будто она сквернословит. Говорили, что ночью она села в кровати и сурово спросила: «Куда, черт бы вас подрал, завалился мел?»

К ней я тянулась меньше, чем к остальным, потому что она все время заставляла нас с сестрой решать в уме задачки. «Если семь кварталов можно пройти за семь минут, причем пять кварталов — одинаковой длины, а два других вдвое длиннее…»

— Ой, иди утопись, Флора! — говорила ей Айрис, наиболее языкастая из всех.

Когда озарение их не посещало или жара отбивала охоту к забавам, кузины устраивались

на веранде и пили фруктовый пунш, лимонад, имбирную шипучку или холодный чай с вишнями в ликере и кусочками льда, отколотыми от хранившейся в леднике глыбы. Иногда мама украшала для них стаканы, обмакивая краешки во взбитые яичные белки, а потом в сахарный песок. Кузины твердили, что лишились последних сил и ни на что не годны, но в их сетованиях сквозило довольство, как будто летняя жара для того и была создана, чтобы добавлять в их жизнь драматизма.

Но драматизма и без того хватало.

Чего только с ними не случалось в большом мире. Аварии, предложения руки и сердца, встречи с безумцами и стычки с врагами. Айрис могла бы разбогатеть. Однажды в больницу, где она работала, привезли вдову миллионера, безумную старуху в парике, похожем на сноп сена; сидя в кресле-каталке, та прижимала к груди саквояж. В саквояже у нее лежало не что иное, как драгоценности, настоящие драгоценности: изумруды, бриллианты и жемчуга размером аж с куриное яйцо. По прошествии времени только Айрис сумела убедить ее расстаться с париком (который кишел блохами) и отправить драгоценности в банковский сейф. И до того эта старуха привяза-

лась к Айрис, что решила переделать завещание, чтобы отписать Айрис и бриллианты, и ценные бумаги, и доходные дома. Но Айрис этого не допустила. Профессиональная этика не позволила.

— Злоупотреблять доверием нельзя. Медсестра не имеет права злоупотреблять доверием.

Потом она рассказала, как ей сделал предложение один актер, умиравший от распутства. Она разрешала ему прикладываться к бутылочке из-под листерина, потому как это уже не могло ему повредить. Актер всю жизнь прослужил в театре, поэтому его фамилия ничего бы нам не сказала, но Айрис и не называла его по фамилии.

Кто только ей не встречался: важные шишки, знаменитости, сливки общества. Правда, не в самом лучшем виде.

Уинифред говорила, что ей тоже многое довелось повидать. А подлинная натура, неприглядная сущность кое-кого из этих важных шишек и светских львов открывалась при взгляде на их финансы.

Мы жили в конце дороги, тянувшейся к западу от Далглиша, мимо хибарок, вокруг которых носились выводки ребятишек и кур. Дорога шла довольно высоко в гору, а после нашего дома спускалась к обширным полям и лугам с редкими

вязами и упиралась в излучину реки. Дом у нас, пусть старый, с облупившимися наличниками, был еще хоть куда: кирпичный, просторный, даром что какой-то несуразный, продуваемый всеми ветрами. Наша мама планировала, как только мы разживемся деньгами, сделать в нем полный ремонт.

У мамы не лежала душа к Далглишу. Ее тянуло к истокам: в городок Форк-Миллс, что в долине Оттавы, где она сама и ее кузины бегали в школу. В тот городок их дед приехал из Англии; тянуло маму и в Англию, которой она, естественно, в глаза не видела. Мама на все лады расхваливала Форк-Миллс: жилые дома там сплошь каменные, административные здания красивые, величественные (не чета, говорила она, строениям в округе Гурон: тут ведь как строят — сложат какое-нибудь кирпичное безобразие, а сверху еще башню водрузят), улицы мощеные, в магазинах к тебе со всем уважением, товары совсем другого качества, да и люди совсем другого круга. Кто в Далглише считал себя важной птицей, был бы осмеян в лучших домах Форк-Миллса. Но в свой черед, столпы общества из Форк-Миллса были бы посрамлены некоторыми семействами Англии, с которыми моя мама состояла в родстве.

Родство. Этим все сказано. Кузины не только сами по себе выделялись из общего ряда, но еще и знаменовали родство. Родство с настоящим, изобильным и опасным миром. Они знали, как в нем себя поставить и добиться внимания. Они могли распоряжаться в классе, в родильной палате, в общественном месте; они знали, как подступиться к водителю такси и к проводнику вагона.

А еще они, как и моя мама, знаменовали родство с Англией и ее историей. Всем известно, что канадцы шотландского и ирландского происхождения не привыкли стесняться того, что их предки бежали в одних лохмотьях от картофельного голода, а прежде были пастухами, батрачили или прозябали в безземельной нищете. Но если твои предки — выходцы из Англии, у тебя всегда имеется наготове рассказ об изгнаннике семьи, об участи младшего сына, о превратностях фортуны, лишении наследства и неравном браке. Возможно, в этом даже есть доля истины; если Шотландия и Ирландия условиями жизни сами подталкивали людей к массовой эмиграции, то англичане покидали родной дом по иным, не столь примитивным, глубоко личным соображениям.

Так обстояло дело и с Шадделеями, предками моей мамы. Изабел и Айрис носили другую фамилию, но их мать была из Шадделеев, и моя мама тоже, хотя после замужества стала Флеминг; а Флора и Уинифред сохранили фамилию Шадделей. Это была фамилия их общего деда, который в молодые годы уехал из Англии, а по какой причине — на этот счет мнения расходились. Моя мама утверждала, что он учился в Оксфорде, но потерял все деньги, которые высылали ему родные, и постыдился возвращаться домой. Потому как деньги он проиграл в карты. Ничего подобного, возражала Изабел, это выдумки; на самом деле он спутался с горничной и вынужден был на ней жениться, а потом и уехать в Канаду. Фамильные владения, говорила моя мама, находились вблизи Кентербери («Кентерберийские рассказы», голубые кентерберийские колокольчики). С этим соглашались не все. Флора утверждала, что имение находилось на западе Англии и что фамилия Шадделей восходит к фамилии Чолмонделей, которая со временем превратилась в Чамли: был такой лорд Чамли, а Шадделеи, возможно, побочная ветвь того же рода. Но по другой версии, говорила она, фамилия эта французская и происходит от *Champ de laiche,* что означает «поле

осоки». В таком случае их предки, скорее всего, пришли в Англию с Вильгельмом Завоевателем.

Изабел признавалась, что она не больно ученая, а потому из всей истории Англии знает только Марию Шотландскую. Кто мне может сказать, спросила она, Вильгельм Завоеватель был до Марии Шотландской или после?

— «Поле осоки» — рассудительно повторил мой отец. — На этом добра не наживешь.

— По мне — что осока, что овес, — бросила Айрис. — Но если верить дедушке, в Англии они жили неплохо — считались мелкопоместным дворянством.

— До, — отвечала Флора, — а Мария Шотландская даже англичанкой не была.

— Я по имени ее догадалась, — сказала Изабел. — Тоже мне уела.

Невзирая на расхождение в деталях, каждая считала, что в судьбе их семьи была какая-то трагедия, какая-то неведомая катастрофа и что у них за спиной, за незримой чертой, в Англии, остались и земли, и дома, и воля, и честь. Да и возможно ли было мыслить иначе, если они еще помнили своего деда?

Тот служил на почте в Форк-Миллсе. Жена его (то ли соблазненная горничная, то ли какая

другая) умерла, родив ему восьмерых детей. Как только старшие пошли работать и стали вносить в семью деньги — о таком баловстве, как образование, речи не было, — отец семейства уволился с работы. Непосредственным поводом стала ссора с начальником почты, но дед и без того не собирался больше гнуть спину, а твердо решил сидеть дома, на содержании у детей. По всему это был джентльмен: начитанный, красноречивый, с чувством собственного достоинства. Дети спорить не стали: они тянули свою лямку, растили собственных детей (ограничиваясь двумя-тремя, преимущественно девочками) и отправляли их учиться в школу предпринимательства, в педагогическое училище, на курсы медсестер. Среди этих девочек были моя мама и ее двоюродные сестры; они частенько рассказывали про своего эгоистичного, своенравного деда и никогда — про честных тружеников-родителей. Уж такой он был сноб, повторяли они, но красавец, даже в старости, а какая осанка! Как он умел срезать любого, припечатать словом. Однажды, когда он оказался в — Торонто, причем не где-нибудь, а на главном этаже торгового центра «Итон», к нему бросилась жена шорника из Форк-Миллса, безобидная, недалекая женщина, которая воскликнула: «Ой,

ну до чего ж приятно друзей повстречать вдали от дома!»

«Мадам, — изрек дедушка Шадделей, — вы мне не подруга».

Подумать только! — приговаривали они. *«Мадам, вы мне не подруга»*. Старый сноб. Расхаживал, вздернув голову, как гусак на выставке. А еще был случай — слег он с простудой, и другая соседка, женщина из низов (это он сам так выражался: «из низов»), оказалась настолько добра, что принесла ему супу. А он, сидя у дочери на кухне (даже не имея собственной крыши над головой), парил ноги и, по сути, уже дышал на ладан, но даже не соизволил обернуться и предоставил дочери рассыпаться в благодарностях. Ту женщину он презирал, потому что говорила она с ошибками и ходила без зубов.

— А сам-то! У него к старости ни одного зуба не осталось!

— Таракан заносчивый!

— Как пиявка к детям своим присосался.

— Гордыня и тщеславие. Вот его суть.

Но рассказывая со смехом эти истории, они сами раздувались от гордости, ворковали, как пташки. Им было приятно, что у них такой дед. Они понимали, что хамить людям другого круга

возмутительно, что кичиться собой нелепо, в особенности если у тебя у самого беззубый рот, но в каком-то смысле дед вызывал у них восхищение. Да-да. Они восхищались, что он оскорблял трудягу-почтмейстера, хотя тот не принимал его всерьез; что он заносился перед соседями, демократически настроенными гражданами Канады, хотя и те не принимали его всерьез. (Ой, бедолага, сокрушалась беззубая соседка, не признал меня, да что с его взять.) Вероятно, их даже восхищало его решение существовать за чужой счет. Джентльмен, твердили кузины. Отзываясь о нем с иронией, они тем не менее были в восторге от своего деда.

Я этого понять не могла — ни тогда, ни позже. Во мне слишком сильна была шотландская жилка, отцовская кровь. Мой отец даже мысли не допускал, что есть люди ниже — или выше — его. Поборник равноправия, он не имел привычки, как сам говорил, «прогибаться», заискивать или кичиться и держался с каждым как с ровней. Это же правило усвоила и я. Впоследствии мне случалось задумываться, не была ли такая позиция следствием парализующей осмотрительности, а не только благородных принципов; не скрывалось ли у нас в глубине души нетронутое и

непобедимое чувство превосходства, какое и не снилось моей маме и ее кузинам с их невинным снобизмом.

Получив много лет спустя письмо из Англии, от семейства Шадделей, я не придала этому особого значения. Написала мне дама преклонных лет, работавшая над составлением генеалогического древа. Значит, в Англии действительно существовал такой род, и его представители не чурались своей заморской ветви, а, наоборот, стремились ее разыскать. Мой прадед был им известен. В генеалогическом древе стояло имя: Джозеф Эллингтон Шадделей. В книге записи актов гражданского состояния его род занятий был обозначен как «подручный мясника». В 1859 году он взял в жены Хелену-Розу Армор, служанку. Значит, и вправду женился на горничной. Но карточный долг в Оксфорде был, видимо, из области домыслов. Неужели джентльмены, исключенные из Оксфорда, поступали в подручные к мясникам?

Мне подумалось, что, останься он рубить мясо, его дети могли бы окончить университеты. Он, вероятно, стал бы зажиточным горожанином в Форк-Миллсе. В письме ни слова не говорилось ни о родстве с семейством Чамли, ни о полях

осоки, ни о Вильгельме Завоевателе. Нашими предками были честные труженики: домашняя прислуга, ремесленники; то тут, то там попадался торговец или фермер. На каком-то этапе меня бы это неприятно поразило; я бы отказалась верить. В другое время, много позже, когда я взялась срывать маски и развенчивать иллюзии, меня бы охватило торжество. Но в момент получения письма все это было мне просто безразлично. И Кентербери, и Оксфорд, и Чамли почти выветрились из памяти, равно как и самая первая Англия, о которой я узнала от мамы: древняя земля рыцарства и гармонии, конников и хороших манер (притом что дедовы манеры не выдержали испытания суровыми буднями), Симона де Монфора[1] и Лорны Дун[2], и гончих, и замков, и Шервудского леса — свежая, пасторальная, традиционная, учтивая, вечно желанная.

---

[1] Примечания: 1

Симон де Монфор — Симон V де Монфор (1208–1265), 6-й граф Лестер, граф Честер, глава сопротивления баронов королю Англии Генриху III. Став лорд-протектором Англии, в январе 1265 г. созвал первый парламент, положивший начало сословному представительству в Англии. Был разбит королевскими войсками в битве при Ившеме, где и погиб. (*Здесь и далее примечания Е. Петровой*)

[2] Примечания: 2

Лорна Дун — заглавная героиня выпущенного в 1869 г. романа Ричарда Блэкмора (1825–1900), неоднократно экранизированного; действие происходит в XVII в. в сельском Эксмуре.

А кроме всего прочего, у меня открылись глаза после приезда маминой кузины Айрис.

Жила я тогда в Ванкувере. Была замужем за Ричардом. Родила двоих детей. Как-то субботним вечером Ричард позвал меня к телефону.

— Приготовься, — сказал он. — Судя по всему, это из Далглиша.

Ричард всегда произносил название моего родного городка слегка брезгливо, словно хотел поскорее выплюнуть какой-то противный сгусток.

Я подошла к телефону и с облегчением вздохнула: звонили вовсе не из Далглиша. Это была кузина Айрис. У нее остался неистребимый сельский говорок жителей долины Оттавы, о котором она не подозревала и вряд ли была бы рада узнать, а вдобавок голос ее звучал зычно и разухабисто, что и навело Ричарда на мысль о Далглише. Она сказала, что вышла на пенсию, а сейчас отправилась в поездку, как раз оказалась в Ванкувере и страсть как хочет со мной увидеться. Я пригласила ее на следующий день к нам на обед.

— У вас обед днем или вечером? — спросила она.

— Вечером.

— Просто хотела уточнить. Помнишь, когда

мы приезжали к вам в гости, у вас дома всегда обедали в полдень. Вы считали, что это и есть обеденное время. Я догадывалась, что ты больше так не думаешь, но все же решила прояснить.

Ричарду я сказала, что завтра к нам на обед придет мамина двоюродная сестра. Она работает (точнее, работала) медсестрой и живет в Филадельфии.

— Вполне нормальная, — сказала я, хотя имела в виду, что она получила кое-какое образование, может поддержать беседу и приемлемо себя ведет. — Много путешествует. На самом деле интересная личность. Работая медсестрой, кого только не повидала на своем веку… — И я стала рассказывать Ричарду про вдову миллионера и саквояж с драгоценностями.

Чем дальше, тем больше Ричард проникался моими сомнениями, а под конец вообще отвлекся и даже перестал кивать. Он почувствовал свое преимущество, а брак наш к тому времени достиг той стадии, когда преимущество так просто не отдается. Я мечтала, чтобы прием прошел гладко. В первую очередь мне это было нужно для самой себя. Мною двигали не вполне благородные мотивы. Мне хотелось, чтобы кузина Айрис блеснула и показала, что ее не приходится сты-

диться, а еще — чтобы Ричард с его деньгами и наш дом навсегда перечеркнули в глазах кузины Айрис мой статус бедной родственницы. Причем я хотела достичь этих целей достаточно тонко и сдержанно, чтобы в результате получить от обеих сторон греющее душу признание моей собственной человеческой ценности.

Раньше я полагала, что мне достаточно будет предъявить одного состоятельного, благовоспитанного, важного родственника — и отношение Ричарда ко мне тут же изменится. Для такой цели как нельзя лучше подошли бы судья или хирург. Станет ли Айрис равноценной заменой, я была далеко не уверена. Меня тревожила манера Ричарда произносить «Далглиш», а также тень долины Оттавы — Ричард был непримирим к местным говорам и долго боролся с моим. А кузина Айрис и в самом деле говорила с особой интонацией, которую я даже затрудняюсь описать. Что в ней сквозило — излишний пыл? Или монополия на семейные узы, которую я более не считала оправданной?

Не важно. Я поставила размораживаться баранью ногу и, не теряя времени, приготовила лимонный торт, какой всегда делала моя мама к приезду двоюродных сестер. Она, помимо этого,

начищала десертные вилочки, гладила столовые салфетки. Да, у нас были десертные вилочки (хотела я сказать Ричарду); да, у нас были льняные салфетки, даром что водопровод появился только после войны, а туалетная комната находилась в подвале. Утром я приносила наверх кувшин горячей воды, чтобы кузины могли умыться. Такие кувшины, только с сухими букетами, сейчас нередко увидишь в антикварной лавке или на столике в прихожей.

Неужели это имело для меня хоть какое-то значение, вся эта чушь насчет десертных вилочек? Неужели я была — и до сих пор осталась — мещанкой, которая полагает, что обладание такими предметами указывает на цивилизованное отношение к жизни? Вовсе нет; не совсем; и да и нет. И да и нет. «Происхождение» — в устах Ричарда это было ключевое слово. Твое происхождение. Голос понижается, в нем звучит тревога. Или мне это только слышалось, а на самом деле Ричард не имел в виду ничего подобного? Когда он произносил «Далглиш» или молча протягивал мне письмо из дома, меня охватывал стыд, как будто на мне проступала какая-то гадость, плесень, отталкивающая и неизбежная. Для родственников Ричарда бедность была сродни дурному запаху

изо рта или гнойной ране — недугу, за который частично ответствен сам страдалец. Но замечать этого не полагалось. В тех редких случаях, когда я в их обществе упоминала свое детство, все едва заметно отшатывались, как от нецензурного слова. Хотя не исключено, что я от застенчивости говорила слишком пронзительно, как плохо воспитанный персонаж романа Вирджинии Вулф, который сетовал, что его не водили в цирк.[3] Возможно, это их и смущало. Но обращались со мной тактично. А Ричард не снисходил до тактичности, поскольку, женившись на мне, поставил себя в уязвимое положение. Он хотел отрезать меня от прошлого, которое считал лишней обузой, вроде потертого чемодана, и постоянно выискивал признаки того, что ампутация оказалась неполной; конечно же, она была неполной.

Мамины кузины, все вместе, больше к нам не приезжали. Как-то зимой, года три-четыре спустя после того памятного визита, скоропостижно скончалась Уинифред. Айрис написала моей маме, что теперь круг разорван и что она подозревала у Уинифред диабет, но та знать ничего не хотела, потому как слишком любила поесть. Моя

---

[3] Примечания: 3

Имеется в виду Чарльз Тэнсли, персонаж романа Вирджинии Вулф «На маяк» (1927).

мама тоже стала хворать. Кузины ее навещали, но поодиночке и, конечно, редко — не ближний свет. Почти в каждом письме они вспоминали, как чудесно провели у нас время, и под конец жизни мама сказала:

— Силы небесные, что мне вспомнилось, хочешь знать? Водяной пистолет. Помнишь тот концерт? Уинифред выскочила с водяным пистолетом! Все показывали свои номера. А я-то что делала?

— Ты стояла на голове.

— Ах да, точно.

Кузина Айрис, растолстевшая еще больше, побагровела под слоем пудры. Она прошлась в горку по улице и теперь не могла отдышаться. Мне не хотелось просить Ричарда заехать за ней в гостиницу. Не то чтобы я боялась к нему обратиться с просьбой, но просто понимала, что все пойдет наперекосяк, если заставить его делать то, чего он сам не предложил. Я убедила себя, что тетушка возьмет такси. Но она приехала на автобусе.

— Ричард был занят, — солгала я. — Но вообще, я сама виновата — не научилась водить машину.

— Ничего страшного, — героически ответила Айрис. — Ну, малость задохлась — сейчас пройдет. Столько жиру на себе волохать. Так мне и

надо.

Как только у нее с языка слетело «малость задохлась» и «столько жиру на себе волохать», я предугадала реакцию Ричарда. Нет, пожалуй, даже раньше — как только увидела тетю на пороге: волосы, которые запомнились мне каштановыми с проседью, теперь оказались золотистыми, высокий начес был залит лаком; пышное синепавлинье платье, на груди — сверкающая брошь с небольшой букет. Оглядываясь назад, я понимаю: выглядела она великолепно. Жаль, что я не пригласила ее в ресторан. Жаль, что не оценила ее по достоинству. Жаль, что все пошло наперекосяк.

— Так-так-так! — с ликованием воскликнула она. — Да ты, как я погляжу, процветаешь! — Она обвела взглядом меня, альпинарий, декоративные кустарники и ряды окон; дом наш стоял на склоне Граус-Маунтин в Капилано-Хайтс. — Слов нет. Бесподобное место, дорогуша.

Я провела ее в дом и познакомила с Ричардом; она сказала:

— Ага, вы, значит, муженек. Ну, можно не спрашивать, как у вас успехи в бизнесе, — и так вижу, что все отлично.

Ричард был адвокатом. Мужчины у них в роду становились либо адвокатами, либо брокера-

ми. В их среде не принято было называть свой род занятий бизнесом. Они вообще никогда не упоминали, чем занимаются по долгу службы. Говорить о работе считалось в какой-то мере плебейством, а говорить о своих успехах в работе — беспардонным плебейством. Если бы не моя беззащитность перед Ричардом, я бы, возможно, порадовалась, что его так огорошили.

Надеясь воздвигнуть внутри себя хоть какую-то преграду, я сразу предложила чего-нибудь выпить. Достала бутылку хереса — по моему опыту, именно его предлагали пожилым дамам и вообще людям непьющим. Но Айрис хохотнула:

— Нет уж, мне джин с тоником — чем я хуже вас, ребята?... А помнишь, — продолжила она, — как мы всем скопом нагрянули к вам в Далглиш? А у вас в доме сухой закон! Твоя мать еще провинциалкой была, спиртного дома не держала. Я-то всегда подозревала, что папаша твой может и выпить, если его подбить. Флора у нас тоже была сама умеренность. Зато Уинифред — чертовка еще та. Тебе известно, что она в чемодане бутылку привезла? Мы, бывало, забьемся в спальню да прикладываемся помаленьку, а потом рот одеколоном прополоскать — и все путем. Она ваш дом прозвала «Сахарой». Внимание, говорит, мы в

«Сахаре». Нет, лимонад и холодный чай, конечно, рекой лились, хоть канонерку спускай. Четыре канонерки, а?

Когда я открыла ей дверь, она, вероятно, что-то заметила: то ли некоторое удивление, то ли недостаток радушия. Вероятно, она смешалась, хотя в то же время искренне порадовалась, увидев такой дом и всю обстановку, скучно-элегантную и лишь отчасти выбранную Ричардом. Как бы то ни было, говоря о Далглише и моих родителях, Айрис напустила на себя снисходительный вид. Не думаю, что своими воспоминаниями она решила поставить меня на место; по-моему, ей просто захотелось самоутвердиться, довести до моего сведения, что здесь она своя, а там — не вполне.

— Ой, благодать у вас, а вид-то какой! Это что там — остров Ванкувер?

— Пойнт-Грей, — без энтузиазма ответил Ричард.

— Фу ты, не сообразила. Нас же туда вчера на автобусе возили. Университет показывали. Я тут с экскурсией, дорогуша, или я уже упоминала? Девять старых дев, семь вдовушек и трое вдовцов. Ни одной супружеской пары. Но, как я говорю, чем черт не шутит, какие наши годы.

Я улыбнулась, а Ричард сказал, что ему нужно

передвинуть дождевальную установку.

— Завтра мы на остров Ванкувер, там садимся на пароход — и прямиком на Аляску. Дома мне все твердили: с чего тебя на Аляску потянуло? Да ведь я, говорю им, никогда там не бывала, разве этого не достаточно? А холостяков у нас в группе нет, и знаешь почему? Они до таких лет не доживают! Медицинский факт. Расскажи своему. Скажи, что он правильно поступил. Но о болячках ни слова. На экскурсии только обмолвишься, что ты медсестра, — и все в очередь встают: позвоночник посмотри, миндалины посмотри, то, се. Печень пощупай. Бесплатный диагноз. Я им говорю: нет уж, избавьте. Я теперь на пенсии, хочу наслаждаться жизнью. Это получше будет, чем холодный чай, верно? А она так старалась. Бедняжка. Кромки стаканов в яичный белок макала, помнишь?

Я попыталась перевести разговор на мамину болезнь, новые методы лечения, больничные условия — не только потому, что это меня тревожило, но и потому, что тем самым я надеялась привести Айрис в чувство и заставить ее выражаться более осмысленно. Кто бы сомневался, что Ричард никуда не ушел, а маячит на кухне.

Но она стояла на своем: о работе — ни слова.

— В белковую пену, потом в сахарный песок. Ой, батюшки мои. Пить приходилось через соломинку. Но повеселились мы на славу. Один сортир в подвале чего стоил! Да, повеселились бесподобно.

Губная помада, взбитые блондинистые волосы, переливчатое платье с гигантской брошью, голос и разговоры кузины Айрис складывались в единый курс, причем не самый плохой: это был курс на движение, шум, перемены, яркость, веселье и кураж. Веселье. Полагая, что другие тоже должны следовать этим курсом, она поведала, какие развлечения придумывает что ни день для своих попутчиков.

— Не даю им закисать. Есть люди, которые в поездках вечно хандрят. Желудком страдают. Ни о чем не хотят говорить, кроме как о запорах. Я стараюсь их отвлечь. Всегда можно анекдоты по кругу рассказывать. Хором песни петь. Каждое утро я буквально слышу, как они про себя думают: какое еще безумство сегодня изобретет эта Шадделей?

Ей все было нипочем, говорила она. В экскурсионных поездках она уже бывала. Например, в Ирландии. Другие женщины побоялись перегнуться через парапет, чтобы поцеловать

бларнейский камень,[4] а она сказала: «Чтобы я, приехав за тридевять земель, да не поцеловала эту чертову глыбу!» — и тут же исполнила задуманное, предоставив сквернослову-ирландцу держать ее за щиколотки.

Мы пили спиртное; мы обедали; потом пришли дети и удостоились похвалы. Ричард то заходил, то выходил. Айрис не обманула: ей все было нипочем. Ничто не могло помешать ей говорить о себе; подолгу молчать она не умела. В который раз она поведала мне историю про вдову миллионера и ее саквояж. Рассказала про беспутного актера. Судя по всему, ей уже много раз удавалось таким способом оседлать любимого конька: смеяться, гнуть свою линию, уклоняться от темы, предаваться воспоминаниям. Мне стало любопытно: будет ли она впоследствии говорить, что в тот вечер ей было у нас весело? Во всяком случае, от подробностей она не удержится: дом, ковры, посуда, запах денег. Очевидно, ее не смутило

[4] Примечания: 4

Бларнейский камень — каменная плита на зубчатой стене Бларнейского замка, близ города Корк в Ирландии. Согласно преданию, тот, кто поцелует Бларнейский камень, становится искусным оратором, а также сладкоречивым и вместе с тем ироничным льстецом. Чтобы коснуться губами этого камня, необходимо подняться на крышу замка и спиной перегнуться через парапет. До того как на парапете были установлены заграждения, возле Бларнейского камня традиционно дежурил смотритель, который удерживал смельчаков за щиколотки.

высокомерие Ричарда. Очевидно, высокомерие богатых родственников было ей дороже гостеприимства бедных. Но такова всегда была ее натура: бесцеремонная, и ненасытная, и опасливая; присутствовала в ней и порядочность, и, вероятно, немалая доля других завидных качеств, но долго находиться рядом с такой личностью — хоть в автобусе, хоть в гостиной — тяжело. Я покривила душой, когда сказала, что предпочла бы встретиться с ней в ресторане, что, к сожалению, не оценила ее по достоинству, что вела себя с оглядкой на Ричарда. Ну, допустим, я бы оценила ее по достоинству, но это не прибавило бы мне желания провести целый вечер в ее обществе.

Поневоле задаюсь вопросом: неужели ее развеселый нрав, который мне запомнился, — это все, о чем можно поведать? Развеселый, открытый, земной нрав. Не стоит ли задуматься о том, что время заквасило, разбавило и опреснило искристый прежде настой, что нас обеих изменили, причем не в лучшую сторону, житейские перипетии. По всей видимости, наши поступки и суждения ожесточились под влиянием непреклонных обстоятельств и личностей. Когда-то мне нравилось разглядывать рекламные картинки в журналах, где дамы в воздушных шифоновых платьях с ме-

ховыми палантинами облокачивались на перила океанского лайнера или пили чай под комнатной пальмой. Любуясь ими, я постигала элегантный и тонкий стиль жизни. Они служили мне окном в мир, и мамины кузины тоже, но в ином смысле. Кстати сказать, своими цветастыми платьями тетушки, даром что тучные и немиловидные, одно время напоминали мне героинь тех картинок. Но если вдуматься, о чем беседовали те дамы, если судить по словам, вылетавшим из их прелестных головок? Они рассуждали о потных подмышках и благодарили судьбу, что тампоны избавили их от неудобств интимного свойства.

Айрис наконец-то засобиралась и спросила, когда идет последний автобус. Ричард опять исчез, но я пообещала отправить ее в гостиницу на такси. Она стала отказываться: нет, автобусом тоже хорошо, правда-правда, в автобусе хоть есть с кем поболтать. Сверившись с расписанием, я проводила ее до остановки. Айрис высказала надежду, что не слишком заговорила нас с Ричардом, и спросила, всегда ли Ричард так застенчив. Сказала, что у меня чудесный дом, чудесная семья и что она прямо окрылилась, увидев, как я преуспела в жизни. Когда она обняла меня на прощанье, у нее навернулись слезы.

— Что за убогая гусыня, — сказал Ричард, входя в гостиную, где я убирала посуду с кофейного столика.

Он пошел за мной на кухню, припоминая ее суждения, претенциозность, похвальбу. Не упустил случая отметить жеманные погрешности ее речи. Изобразил недоумение. Вполне возможно, что он и в самом деле недоумевал. А может, просто решил перейти в наступление, пока я не начала упрекать его за то, что он все время уходил, вел себя по-хамски, не предложил отвезти ее в гостиницу.

Он не умолкал, и я запустила ему в голову тарелкой из жаропрочного стекла. На ней еще оставался кусок лимонного торта. Но я промазала, и тарелка ударилась о холодильник, зато объедки торта на лету угодили ему в щеку, прямо как в немом кино или в сериале «Я люблю Люси». За этим последовала сцена крайнего изумления, точь-в-точь как на экране, и зрелище оскорбленной невинности; Ричард застыл с раскрытым ртом. А меня больше всего изумило то, что смешной, по всеобщему мнению, эпизод обернулся в реальности таким ужасающим приговором.

Плеск, плеск, плеск весла.

Лодку качнет на волне.
Речка бежит весела, весела.
Жизнь летит, как во сне.

Я лежу в постели рядом с младшей сестренкой и слушаю долетающую со двора песню. И от этих голосов, от их близости жизнь становится другой, а еще от приподнятого настроения тех певуний, от их непритворной гордости за всех вместе и за каждую в отдельности. У родителей отпуск, у нас каникулы. Голоса и слова соединяются такими сложными и причудливыми способами, что этому переплетению, этому веселому соперничеству не видно конца, но вскоре, к моему удивлению — а я и впрямь удивляюсь, хотя знаю назубок, как раскладываются эти повторы, — пение идет на убыль: остаются только два неистощимых голоса.

Речка бежит весела, весела
Жизнь летит, как во сне.

А потом — один-единственный, который стойко держится до конца. Один-единственный голос, в котором откуда ни возьмись появляются нотки мольбы и тревоги, чтобы развесить в воздухе последние пять слов. *Жизнь*. Пауза. *Летит*. Ш-ш-ш,

пауза. *Как во сне.*

2. Камень на лугу

Моя мама не относилась к тем, кто привычно декорирует края бокалов сахарным песком и претендует на аристократичность. По сути своей она была деловой женщиной: занималась торговлей и посредничеством. У нас в доме вечно громоздились разнообразные вещи, приобретенные не за деньги, а в результате каких-то сложных комбинаций и зачастую нам не принадлежавшие. Бывало, в течение некоторого времени мы бренчали на пианино, обедали за дубовым столом и при необходимости заглядывали в Британскую энциклопедию. Но в один прекрасный день я прибегала из школы и обнаруживала, что все это куда-то исчезло. С такой же легкостью могли уйти настенные зеркала, судки для специй и набитое конским волосом канапе, заменившее софу, которая прежде заменила диван. Мы жили как на складе.

Мама работала (или была на подхвате) у некоего Поппи Каллендера. По роду занятий тот был антикваром. Но лавки не имел. Весь товар держал дома. Что не умещалось — перекочевывало к нам. В комнатах стояли сдвинутые спинками шкафы,

к стенам прислонялись матрасы пружинами наружу. На фермах и в окрестных деревнях Поппи скупал всякую всячину — мебель, посуду, одеяла, дверные ручки и ручки насосов, утюги, маслобойки, а потом отвозил это в Торонто и сдавал в антикварные магазины. Золотой век антиквариата тогда еще не наступил. В ту пору люди спешно перекрашивали мебель белилами или пастелью, избавлялись от кроватей с бронзовыми стойками, чтобы освободить место для светлых спальных гарнитуров из клена, а лоскутные одеяла прятали под ворсистыми покрывалами. Скупка предметов старины, причем за сущие гроши, была делом нехитрым, но продажа шла ни шатко ни валко, потому-то чужие вещи и оседали у нас в доме, зачастую не на один месяц. И все же Поппи с моей мамой не сбивались с выбранного курса. Продержись они немного дольше, могли бы разбогатеть и окупить все свои старания. Однако Поппи едва сводил концы с концами, а мама, похоже, и вовсе ничего не выгадывала, так что на обоих косились как на чудаков.

Продержались они недолго. Мама заболела, а Поппи угодил в тюрягу за домогательства в поезде.

На отдаленных фермах, бывало, Поппи встре-

чали как родного. Ребятишки с гиканьем бежали ему навстречу, а хозяйки распахивали двери, когда он в засаленном черном комбинезоне плелся по двору, похотливо или дурашливо тараща глаза, и негромким умоляющим голосом выкликал: «Штарье б-берем!» Вдобавок ко всем своим злосчастьям Поппи и шепелявил, и заикался. Мой отец уморительно его передразнивал. В городе Поппи мог получить от ворот поворот, а мог (в менее респектабельных кварталах) найти радушный прием, и угощение, и ласку, подобно диковинному зверьку, что целым и невредимым свалился с неба, на удивление хозяевам. Когда его не пускали на порог, он не сдавался, а направлял туда мою маму. Похоже, в голове у него хранилась подробная карта местности, не упустившая ни одного дома. Если на обычных картах точечными контурами нанесены месторождения полезных ископаемых и особыми символами помечены достопримечательности, то на карте Поппи значились все известные и предполагаемые кресла-качалки, сосновые комоды, изделия из опалового стекла и чашки со щитком, специально для усачей. «Наведайся, глянь там, а?» — я не раз слышала эту фразу, обращенную к моей матери, когда они с ней сидели бок о бок

у нас в столовой и рассматривали, к примеру, фирменное клеймо на дне старинного горшка для маринада. Когда Поппи вел беседы с моей мамой, да и вообще любые деловые переговоры, он не заикался; а голос его, даром что тихий, звучал твердо и свидетельствовал о том, что этот человек живет в свое удовольствие и может за себя постоять. Заходившие ко мне после уроков подружки при виде его непременно спрашивали: «Это кто — Поппи Каллендер?» Каждой было в диковинку видеть его в знакомом доме и слышать, что он способен говорить по-человечески. Мне до того претила его связь с нашей семьей, что каждый раз хотелось ответить: «Ничего подобного!»

Об интимной жизни Поппи было известно немного. По слухам, таковой у него не было вовсе. Люди судачили, что он — не такой, как все, но в прямом смысле: просто не такой, как все, то есть необычный, нелепый, непонятный. Этим емким выражением покрывались и вытаращенные глаза вкупе с заиканием, и толстый зад, и захламленная хибара. Не знаю, что им двигало — отчаянная храбрость или нехватка здравомыслия, — когда он решил пустить корни в Далглише, где его уделом было сносить оскорбления и неуместную жалость. Впрочем,

здравомыслия у него и впрямь было чуть, раз он стал приставать к двум ехавшим в стрэтфордском поезде бейсболистам.

Для меня осталось загадкой, насколько хорошо моя мать знала Поппи и как истолковала для себя его роковой шаг. Несколько лет спустя в газете написали об аресте некоего преподавателя колледжа, где я училась: тот подрался в баре из-за своего партнера. Мама тогда спросила меня: он приятеля защищал, что ли? Пусть бы прямо так и написали. А то — «партнера».

В другой раз она сказала: «Бедняга Поппи. Затравили его. А ведь он по-своему очень башковитый был. В наших краях не всякого примут. Не положено. Вот так-то».

Для деловых разъездов моя мать пользовалась фургоном Поппи, а иногда садилась за руль и в выходные, когда Поппи уезжал в Торонто. Если не требовалось везти с собой партию товара, он предпочитал поезд — это, напомню, его и сгубило. Наша собственная машина пришла в такое плачевное состояние, что ездить на ней можно было разве что в Далглиш и обратно. До наступления Великой депрессии мои родители, как и многие их земляки, владели по меньшей мере одной полезной вещью, такой как автомобиль или

плавильная печь, но со временем их имущество обветшало и уже не подлежало ни ремонту, ни замене. Когда нам удавалось завести свою машину, мы ездили на озеро (конечно, только летом), а однажды добрались аж до Годрича. Изредка навещали папиных сестер, живших в сельской местности.

Мама всегда говорила, что у отца родня со странностями. Первая странность заключалась в том, что у его родителей было семь дочек и только один сын, а вторая странность — в том, что шестеро из восьмерых отпрысков до сих пор жили все вместе там, где появились на свет, — в родительском доме. Одна сестра умерла в юности от брюшного тифа; мой отец уехал из тех мест. А оставшиеся шестеро и сами по себе были не от мира сего, по крайней мере, так в ту пору виделось со стороны. Последыши, отзывалась о них моя мать, осколки ушедшего поколения.

Не помню, чтобы они приезжали к нам в гости. Их отпугивали дальние вылазки и вообще города, пусть даже такие скромные, как Далглиш. Это ведь миль четырнадцать или пятнадцать, а машины у них не было. У себя они на погляденье всем раскатывали в двуколке, запряженной лошадью, а зимой — в запряженных лошадью

санях. Время от времени им, наверное, все же приходилось бывать в городе: как-то раз я увидела на улице двуколку, которой правила одна из отцовских сестер. У двуколки был громоздкий откидной верх, похожий на черный капор, и моя тетка (которая — не знаю), примостившись боком на облучке, старалась не поднимать взгляд, насколько это возможно, когда у тебя в руках вожжи. Став объектом всеобщего внимания, тетка, похоже, невыносимо страдала, но крепилась — съеживалась, но крепилась — и при этом являла собой такое же диковинное в своем роде зрелище, как и Поппи Каллендер. Я скрывала, что это моя тетушка, — такое родство казалось немыслимым. Впрочем, приезжая в детстве на семейную ферму — вероятно, не раз и не два, по малолетству не запомнила, — я ничуть не смущалась: мне было невдомек, что родня у нас со странностями. Понимание пришло только с болезнью деда: кажется, он лежал при смерти, и у него над кроватью висел большой вентилятор из грубой бумаги. Лопасти приводились в движение системой веревочек, за которые мне разрешили подергать. Одна из теток стала показывать, как это делается, и тут снизу меня позвала мама. Мы с теткой переглянулись, точь-в-точь как дети,

которых застукали взрослые. Думаю, мне почудилась в этом какая-то несообразность: отсутствие чего-то привычного и даже необходимого — нормальной дистанции, а то и преграды, иначе я бы этого не запомнила.

И еще был один случай — по-моему, с той же самой тетушкой, но возможно, и с другой. Мы сидели на заднем крыльце фермерского дома; на ступеньке рядом с нами стояла большая корзина с бельевыми прищепками. Из этих закругленных прищепок тетя делала для меня игрушки — палочных человечков. Черным карандашом рисовала глаза, красным — губы, а потом выуживала из кармана передника обрывки шерстяной пряжи, из которых получались волосы и одежда. При этом она все время что-то приговаривала; я точно помню: она не молчала.

— Вот барыня. Парик нацепила, в церковь идет, видишь? Важная. А ну как ветер налетит? Парик-то мигом сдует. Видишь? Ну-ка, подуй.

— Вот служивый. На одной ноге, видишь? А другую ногу ему ядром оторвало в битве при Ватерлоо. Ты хоть знаешь, что такое ядро, каким из пушки стреляют? В битве? Бабах!

На колымаге Поппи мы отправились на ферму проведать родню. Отец заартачился: нет, мол,

неизвестно чьей колымагой он править не собирается, то есть колымагой Поппи управлять не будет и к водительскому месту, продавленному Поппи, ни в жизнь не приблизится, поэтому за руль села мама. Из-за этого вес распределился неправильно и вся поездка вышла рискованной, поскольку фургон заваливался на один бок.

Воскресный летний день выдался жарким. Мама нетвердо помнила дорогу, и отец давал ей указания, но в самый последний момент. Вроде как поддразнивал, но чувствовался в этом скрытый укор.

— Здесь будем сворачивать? Или дальше? Вот увижу мост, тогда скажу.

Маршрут был непростой. Вблизи Далглиша все дороги прямые, а здесь они петляли среди гор или увязали в болотах. Кое-где виднелись лишь две колеи, разделенные грядой одуванчиков и подорожника. Кое-где над дорогой плетями нависали побеги куманики. Эти высокие, густые заросли, плотные и колючие, с блестящими зелеными листьями, которые в солнечных лучах казались почти черными, напомнили мне море, что расступилось перед Моисеем.

Впереди показался однопутный мост, похожий на сцепку — точнее, на остов — пары желез-

нодорожных вагонов. Надпись гласила, что грузовикам на него заезжать опасно.

— Не доедем, — сказал отец, когда фургон запрыгал по настилу моста. — А вот и он. Старик Мейтленд.

Моя сестра заинтересовалась:

— Где? Кто? Откуда?

– *Река* Мейтленд, — пояснила мать.

Там, где перила моста обвалились, мы посмотрели вниз и увидели прозрачную коричневатую воду, которая подернулась солнечной рябью, обтекая большие, темные валуны и подступавший к руслу кедровник. Мне нестерпимо захотелось окунуться.

— А они ходят купаться? — спросила я, имея в виду теток: если сами ходят, то, может, и нас возьмут.

— Купаться? — переспросила мама. — Не могу себе такого представить. Или ходят? — обратилась она к отцу.

— Я и сам не могу представить.

Из мрачного прибрежного кедровника дорога пошла в гору. Я стала припоминать имена теток:

— Сьюзен. Клара. Лиззи. Мэгги. Дженнет умерла.

— Энни, — подсказал отец. — Не забудь Энни.

— Энни. Лиззи. Нет, я уже ее называла. Кто еще?

— Дороти, — пришла на помощь мама, сердитым рывком переключая передачу, и вот мы уже оказались на вершине, а темная от кустов лощина осталась позади.

Здесь, наверху, тянулись пастбища, поросшие лиловым цветущим молочаем, люпином и рудбекией. Деревьев почти не было, зато вдоль дороги пышно цвела бузина. Кусты будто замело снегом. Среди вершин возвышалась одна, совсем лысая.

— Гора Хеврон, — сообщил отец. — Самая высокая точка округа Гурон. По крайней мере, так я слышал.

— Вот теперь я сориентировалась, — сказала мама. — Буквально через минуту увидим, да?

И верно: вдали, на фоне цветущих бурых гор, появился большой деревянный дом без единого деревца поблизости, а при нем — сарай. Сложенная из бревен конюшня теперь была переоборудована под амбар. Дом, вопреки моим уверенным воспоминаниям, оказался выкрашен не белой, а желтой краской, да и та изрядно облупилась.

Перед домом, в тени, которая в это время дня сжалась до узкой полоски, на стульях с прямыми

спинками восседали какие-то фигуры. За спинами у них, на стене дома, висели надраенные подойники и разобранные веялки.

Нас не ждали. Телефона у тетушек не было, и мы не смогли предупредить о своем приезде. Они просто-напросто сидели в тени и смотрели на дорогу, по которой за день проезжали хорошо если два автомобиля.

Одна из фигур сорвалась с места и юркнула за дом.

— Не иначе как Сьюзен, — определил отец. — Она гостей стесняется.

— Увидит, что это мы, и вернется, — сказала мама. — Ее незнакомый фургон отпугнул.

— Возможно. Только я бы на это особо не рассчитывал.

Остальные поднялись с мест и, сцепив пальцы на передниках, напряженно выжидали. Когда мы, выбравшись из фургона, были опознаны, одна-две тетки сделали пару шажков вперед, но тут же остановились и предоставили нам самим идти на сближение.

— Вперед, — скомандовал отец и подвел нас к каждой по очереди, произнося только лишь имена, чтобы зафиксировать встречу. Ни объятий, ни рукопожатий, ни касания щеками. — Лиззи.

Дороти. Клара.

Все без толку — я ни одну не запомнила. По мне, все они были на одно лицо. Разница в возрасте между самой старшей и самой младшей составляла лет двенадцать-пятнадцать, но я бы дала им всем по пятьдесят. Не сказать, что старушки, но и не чета моим родителям. Все сухопарые, тонкие в кости, все, как видно, в прошлом довольно рослые, но сейчас согбенные тяжким трудом и смирением. У одних короткие, совсем детские стрижки, у других косицы, уложенные на макушке венчиком. Волосы уже не черные, но и не сказать, что седые как лунь. Кожа одинаково бледная, брови густые, мохнатые. Глаза, ясные, глубоко посаженные, сохранили отчетливый цвет: серо-голубой, серо-зеленый или просто серый. Все поразительно смахивали на моего отца, притом что он держался прямо, а открытое лицо придавало ему благородный вид.

Они поразительным образом смахивали и на меня тоже. В ту пору я этого не знала и знать не хотела. Но если бы я сейчас, допустим, ничего не делала со своими волосами, если бы перестала подкрашиваться и выщипывать брови, обрядилась в бесформенное ситцевое платье с фартуком, потупилась и обхватила себя за локти? То-то и

оно. Между прочим, когда мамины кузины, не без ее участия, принимались меня разглядывать и взволнованно разворачивать к свету, вопрошая: «Хоть что-нибудь в ней есть от шадделеевской породы? А?» — они видели перед собой только породу Флемингов, но мое лицо, если говорить без ложной скромности, с годами сохранилось лучше, чем у них. (Они вовсе не мнили себя красавицами: для них важнее всего было выглядеть Шадделеями.)

У одной из теток руки оказались красными, как тушка освежеванного кролика. Потом, в кухне, я заметила, что она, примостившись у поленницы за печью, все время поглаживает пальцы и сучит ими в складках фартука. Мне вспомнилось, что я и прежде такое замечала, приезжая сюда погостить, и мама объясняла, что тетя (все время одна и та же?) драит полы, стол и стулья щелоком, чтобы добиться белизны. А щелок разъедает кожу. На обратном пути мама и в этот раз выговорила с печальным осуждением и содроганием: «Вы видели эти руки? Не иначе как пресвитерианская церковь разрешила заниматься уборкой по воскресеньям».

Сосновые половицы и вправду сияли белизной, но при этом казались бархатистыми. Равно как

и стулья, и стол. Мы расселись на кухне, которая выглядела как отдельный флигель, пристроенный к жилому дому: парадная дверь, напротив — черный ход, окна на три стороны. Даже холодная черная печь сверкала зеркальным блеском. Никогда еще я не видела, чтобы в помещении было так чисто и голо. Никаких признаков легкомыслия, ни намека на тягу к развлечениям. Ни радио, ни газет, ни журналов; о книгах и говорить нечего. Наверное, в доме имелась Библия, наверное, где-то висел календарь, но не на виду. Сейчас здесь невозможно было представить фигурки из бельевых прищепок, цветные карандаши, обрывки шерстяной пряжи. Меня так и тянуло спросить, которая из теток мастерила те игрушки: неужели я взаправду видела и барыню в парике, и одноногого солдатика? Хоть я и не отличалась застенчивостью, меня будто сковало параличом: как видно, мне открылось, что любой вопрос может обернуться нахальством, а любое суждение таит в себе опасность.

Похоже, вся их жизнь проходила в трудах; из трудов складывались их дни. Только теперь я это поняла. Они дергали соски шершавого коровьего вымени, возили утюгом по гладильной доске, пропахшей горелым, выплескивали полукру-

жья щелочного раствора на сосновые половицы — и молчали, а быть может, и находили в этом удовлетворение. В отличие от нашей семьи, где каждый стремился побыстрее отделаться от работы по дому, здесь, по всей видимости, считалось, что хозяйственные дела могут — и должны — длиться вечно.

Разговор не клеился. Тетушки, как на приеме у коронованной особы, не смели задавать вопросы и только отвечали. Никакого угощения не подали. Видно было, что они лишь огромным усилием воли удерживаются от того, чтобы убежать и спрятаться, как сделала тетя Сьюзен, которая так и не вышла с нами поздороваться. В воздухе висела невыносимость человеческого общения. Меня она гипнотизировала. Таинственная невыносимость; унизительная необходимость.

Отец между тем нашел какой-никакой выход из положения. Он заговорил о погоде. Дождичка бы сейчас, а то в июле дожди сено загубили, а прошлый год весна сырая была, а паводки давно не случались, а осень то ли сырая будет, то ли сухая. Тетки успокоились; тогда отец начал расспрашивать о коровах, о ездовой лошади по кличке Нелли, о рабочих лошадках, которых звали Принц и Королева; об огороде — на поми-

дорах-то нет ли парши?

— Нету.

— Сколько банок закатали?

— Двадцать семь.

— А соус чили заготовили? А томатный сок?

— И сок, и соус. А как же.

— Стало быть, зимой с голоду не помрете. А там, глядишь, и жирку наедите.

Тут раздались два-три смешка, отец приободрился и стал поддразнивать дальше. Спросил, не разучились ли они плясать. Качая головой, сделал вид, будто припоминает, как они в молодости бегали в деревню на танцульки, покуривали, погуливали. Назвал их проказницами: мол, потому и замуж не вышли, что хвостами крутили; ох, прямо вспоминать неловко.

Тут вмешалась мама. Ей, наверное, захотелось прийти им на помощь, избавить от грубоватого подтрунивания, от намеков на то, что в их жизни было и чего не было.

— Чудесная вещь, — сказала она. — Вот этот шкаф. Каждый раз любуюсь.

Попрыгуньи были в молодости, не унимался отец.

Мама пошла осматривать кухонный шкаф, изготовленный из соснового теса: высокий,

непомерно тяжелый. Ручки дверец и ящиков оказались не круглыми, а слегка кривобокими — то ли с самого начала такими были, то ли стерлись под хозяйскими пальцами.

— Не удивлюсь, если к вам наведается антиквар и предложит за него сотню долларов, — завела мама. — Если такое случится, не соглашайтесь. Стол и стулья тоже цены немалой. Не дайте себя обмануть: сперва уточните настоящую стоимость. Я знаю, о чем говорю. — Не спросив разрешения, она принялась изучать шкаф, ощупывать ручки, заглядывать за спинку. — Я и сама догадываюсь, сколько за него можно выручить, но если надумаете продавать, я к вам привезу лучшего оценщика. И это еще не все. — Она рассудительно погладила сосновую дверцу. — Ваша мебель стоит целое состояние. За нее нужно держаться обеими руками. Это вещи местного производства, сейчас таких днем с огнем не сыщешь. На рубеже веков люди такое повыбрасывали, когда, разбогатев, начали скупать мебель Викторианской эпохи. То, что на сегодняшний день уцелело, стоит денег и будет только дорожать. Я знаю, о чем говорю.

Она действительно знала. Но тетки этого не воспринимали. Для них это был бред сумасшедшего. Возможно, они даже не имели представления, что

такое антиквариат. Казалось бы, шкаф и шкаф, но о нем говорилось какими-то мудреными словами. Какой такой антиквар, с чего это он будет предлагать им сотню? Продать кухонный шкаф было для них столь же немыслимо, как продать стену кухни. Тетки опустили глаза и рассматривали закрытые фартуками колени.

— Что ж, это будет удачно, если кто не умеет наживаться, — вставил отец, чтобы разрядить обстановку, но тоже не удостоился ответа.

Его сестры знали, что означает «наживаться», но вслух отродясь этого не произносили — язык не поворачивался, да и мыслей таких не было. Естественно, они замечали, что некоторые — взять хотя бы соседей — сорят деньгами: покупают тракторы, комбайны, доильные аппараты, меняют дома и машины; думаю, теткам виделось в этом нечто тревожное и отнюдь не завидное: утрата приличий и необузданность желаний. Они, наверное, даже сочувствовали таким людям, равно как и девушкам, которые бегали на танцульки, покуривали, крутили хвостами и выскакивали замуж. Возможно, тетки и маму жалели. Мама смотрела на них со стороны и придумывала, как бы их растормошить, как заставить открыться миру. Например, продать

кое-что из мебели, провести в дом воду, установить стиральную машину, настелить линолеум, купить автомобиль и научиться вождению. Почему бы и нет? — допытывалась мама, которая смотрела на жизнь исключительно с точки зрения перемен и возможностей. Она воображала, что им чего-то не хватает, причем не только материального достатка, но условий, способностей, а тетки об этом даже не помышляли и уж тем более не сокрушались, не подозревали, что в чем-то обделены, — они настолько вросли в свой быт и уклад, что иного для себя не желали.

Когда отец в последний раз лежал в больнице, его пичкали какими-то таблетками, от которых он сделался оживленным и говорливым; тогда-то он и завел со мной разговор о своей жизни и родительской семье. Рассказал, как сбежал из дому. На самом деле сбегал он дважды. Сначала — летом, когда ему стукнуло четырнадцать. Папаша велел ему наколоть дров. Рукоять топора сломалась, папаша пришел в бешенство и схватился за вилы. Нрава он был крутого, сам вкалывал не покладая рук. Сестры подняли визг, и мой папа, четырнадцатилетний подросток, пустился наутек.

— Разве они умели визжать?

— Что? О, еще как. В детстве-то. Да, голосили

будь здоров.

Мой папа собирался добежать до шоссе, потянуть время и вернуться, как только сестры просигнализируют, что путь свободен. Но вовремя остановиться не смог и пробежал полпути до Годрича, а там решил: не возвращаться же. Нанялся он на озерный пароход. Поработал до конца навигации, а там, когда Рождество было уже не за горами, устроился на мукомольню. С работой он справлялся, но годами не вышел; начальство боялось, как бы не нагрянула инспекция, вот папу и уволили. А он так или иначе хотел на Рождество вернуться домой. Соскучился. Купил папаше и сестрам подарки. Причем старику своему — не что-нибудь, а часы. Еще на билет потратился — и остался без гроша.

Минуло Рождество; через несколько дней, когда он ворошил сено в сарае, его разыскал папаша.

— У тебя деньги есть? — требовательно спросил он.

Мой папа ответил: нету.

— Ты что думаешь, мы с твоими сестрами лето и осень горбатились, коровьи зады нюхали, чтоб ты всю зиму за наш счет проедался?

Тогда папа ушел из дому во второй раз.

Сотрясаясь от смеха на больничной койке, он

поведал мне эту историю.

— «Коровьи зады нюхали»!

А потом заметил: любопытно, что его старик и сам в детстве сбежал из дому, рассорившись со своим отцом. Тот дал волю рукам, когда сын без спросу взял ручную тележку.

— Случилось вот что. У них было заведено носить лошадям фураж ведрами. Зимой, когда лошадей в конюшне держали. Вот мой папаша и надумал возить ведра на тележке. Конечно, так быстрее выходило. А ему порку задали. Чтоб не ленился. Раньше такие порядки были, сама понимаешь. Как заведено, так и делай. Проявил смекалку — стало быть, лентяй. Вот что значит крестьянский ум.

— Наверное, Лев Толстой рассуждал так же, — сказала я. — И Ганди.

— Ну их к шутам, Толстого и Ганди. Сами-то в молодости палец о палец не ударили.

— Возможно.

— Я одного не понимаю: каким образом такие люди, как мой дед, в свое время отважились сняться с насиженных мест и переселиться в эти края. Все бросили. Развернулись спиной ко всему, что имели, и перебрались сюда. Пересечь Атлантику — это ведь не шутка, а здесь дикая

местность. Как они вкалывали, сколько пережили. Когда твой прадед с женой, тещей, матерью и двумя малыми детьми приехал в Гуронское урочище, с ним был еще брат. Брата едва ли не в первый день задавило упавшим деревом. На второе лето дедова жена, теща и двое сыновей подхватили холеру; бабка и дети умерли. Остался дед вдвоем с женой; взялись, как прежде, расчищать землю под угодья, нарожали еще детей. Сдается мне, вся отвага в них перегорела. А доконала их вера. И воспитание. Ходили по струнке. И еще гордыня. Смекалку в себе задавили — одна гордыня осталась.

— Но ты не такой, — сказала я. — Ты убежал.

— Убежал, да не слишком далеко.

Под старость тетки сдали ферму в аренду, но остались там жить. Одни мучились катарактой, другие артритом, но худо-бедно держались и ухаживали друг за дружкой, а со временем поумирали — осталась только одна, тетя Лиззи, которой пришлось переселиться в дом престарелых. Прожили они долгую жизнь. Стержень у них оказался тверже, чем у Шадделеев — из тех никто не дотянул и до семидесяти. (Мамина кузина Айрис увидела Аляску и через полгода скончалась.) Раньше я непременно посылала на

ее адрес рождественскую открытку, в которой писала: «Всем моим тетушкам с любовью желаю счастливого Рождества». Это потому, что я никак не могла запомнить, которые из них умерли, а которые еще живы. Когда хоронили мою мать, я увидела их надгробье. Скромная плита с высеченными именами и датами рождения; у некоторых была проставлена и дата смерти (у Дженнет, естественно, и, кажется, у Сьюзен), но у большинства оставался пробел. Сейчас, наверное, пробелов не осталось.

От маминых сестер, кстати, тоже приходили открытки. Веночек со свечой и краткое сообщение:

Зима покуда мягкая, снега немного. Мы все здоровы, только у Клары глаза подводят. Поздравляем с Рождеством.

Я представляла, как они плелись в магазин, чтобы купить открытку, затем плелись на почту, чтобы купить марку. Для них было актом веры выводить эти слова и отсылать их в невообразимую даль — в Ванкувер, какой-то кровной родственнице, которая вела непонятную жизнь и читала те слова с чувством недоумения и смутной вины. А я и впрямь недоумевала и смутно терзалась от мысли, что тетки еще где-то есть, еще ко мне привязаны. Но в ту пору любая весть

из дому напоминала мне, что я предательница.

В больнице я спросила у отца, был ли когда-нибудь хоть у одной из тетушек кавалер.

— В твоем понимании — нет. Не было. Ходила у них шутка насчет мистера Блэка. Они твердили, что он сохнет по Сьюзен, вот и построил себе поблизости хибарку. Не думаю. Это был одноногий тип, который на лугу, в самом углу, действительно поставил себе домишко — там и умер. Еще до моего рождения. Ты же знаешь, Сьюзен была самой старшей: когда я появился на свет, ей уже стукнуло двадцать, а то и двадцать один.

— Значит, романа у нее не случилось?

— Думаю, нет. Просто болтали. Он австрияк был, что ли. Блэк — это вроде как прозвище; может, он сам и придумал так себя назвать. Кто бы ее к нему отпустил? Он там и похоронен, под большим камнем. Мой папаша его хижину снес, а доски к себе оттащил — курятник построил.

А ведь я это помнила: помнила тот валун. Помнила, как сидела на земле и наблюдала за отцом, который подправлял какую-то изгородь. Я поинтересовалась, насколько правдивы те воспоминания.

— Все может быть. Когда мой папаша слег, я и в самом деле ходил чинить заборы. Только ты была

совсем крохой.

— Я сидела и не сводила с тебя глаз, а ты сказал: «Видишь там большущий камень? Под ним могила». Не помню, чтобы я полюбопытствовала, кто там похоронен. Решила, наверное, что ты пошутил.

— Какие могли быть шутки? Чистая правда. А похоронен там мистер Блэк. Кстати, мне сейчас вот что пришло в голову. Помнишь, я рассказывал, как умерли моя бабка и двое малых детей? В доме одновременно лежали три мертвых тела. И не во что было их завернуть — разве что в кружевные занавески, еще из дому привезенные. А дело было летом, в жару, кругом холера бушевала, долго раздумывать не приходилось. Так их и схоронили.

— В кружевных занавесках.

Отец засмущался, как будто протягивал мне подарок, и резко сказал:

— Вот такая подробность. Я подумал, тебе будет интересно.

Через некоторое время после смерти отца я сидела в Центральной библиотеке Торонто и просматривала микропленки со старыми газетами, которые понадобились мне для работы над сценарием документального телефильма. В

глаза бросилось название Далглиш, которое я не вспоминала сто лет.

СМЕРТЬ
ОТШЕЛЬНИКА ВБЛИЗИ ДАЛГЛИША

Как стало известно, на ферме м-ра Томаса Флеминга в возрасте сорока пяти лет скончался мистер Блэк (полное имя неизвестно), проживший три года в хижине, построенной им с разрешения м-ра Флеминга на краю луга. При жизни он питался картошкой, которую выращивал в минимальных количествах, а также рыбой и мелкой дичью. Считаясь уроженцем одной из европейских стран, он тем не менее представлялся как Блэк и не разглашал свою историю. На каком-то этапе жизни м-р Блэк потерял ногу, из чего многие заключили, что он, очевидно, воевал. По некоторым сведениям, он порой негромко разговаривал сам с собой на иностранном языке.

Без малого три недели назад м-р Флеминг, заметив, что из трубы хижины не идет дым, решил проверить, в чем дело, и обнаружил, что отшельник совсем плох.

> У того был рак языка. М-р Флеминг вызвался перенести больного в свой дом, но м-р Блэк ответил категорическим отказом, хотя впоследствии позволил переместить себя в принадлежащий м-ру Флемингу сарай и, коль скоро погода стояла теплая, остался там, доверившись заботам барышень Флеминг, которые живут в родительском доме. В этом сарае больной и умер. Согласно его воле, он был похоронен вблизи своего скита и унес в могилу тайну своей жизни.

Мне подумалось, что надо бы съездить да посмотреть, уцелел ли этот валун. Никого из близких у меня в тех краях не осталось. Воскресным июньским утром я села за руль; мне даже не пришлось пересекать Далглиш — шоссе теперь идет в объезд города. Я опасалась, что не смогу найти ферму, но оказалась там на удивление быстро. Теперь это отнюдь не заброшенное место. Там спрямили проселочные дороги, построили двухрядный железобетонный мост, половину горы Хеврон пустили на гравий, а луга и выпасы засеяли пшеницей.

Бревенчатый амбар снесли. Фермерский дом

отделали нежно-зеленым алюминиевым сайдингом. Прорубили несколько дополнительных широких окон. Бетонная плита, где сиживали на стульях с прямыми спинками, глядя на дорогу, мои тетушки, превратилась в патио с вазонами герани и сальвии, с кованым столиком под тентом и яркой складной мебелью из пластика.

Я, конечно, терзалась сомнениями, но все же постучалась в дом. Мне открыла молоденькая беременная женщина. Она провела меня в светлую, радостную кухню: линолеум с рисунком, имитирующим кирпичную кладку, встроенные шкафы — вполне возможно, из клена. Перед телевизором сидели двое ребятишек, хотя экран при ярком свете дня казался совсем тусклым. Деловитый молодой отец семейства стучал на калькуляторе. Казалось, ему ничуть не мешает орущий телевизор, как детям не мешал дневной свет. Хозяйка, перешагнув через большую собаку, открыла водопроводный кран.

Вопреки моим опасениям, выслушали меня без явной досады. Наоборот, хозяева даже заинтересовались, стали подсказывать, — как выяснилось, они кое-что знали про тот камень. Муж сказал, что ферму приобрел у моих тетушек его отец, но участок через дорогу прикупить не смог — землю

уже кому-то продали. По его расчетам, валун лежал как раз на том участке. Да, отец ему рассказывал, что там, под большим камнем, кто-то похоронен; было дело — они ходили в ту сторону на прогулку, но в последние годы даже не вспоминали про этот валун. Сейчас молодой человек вызвался меня сопроводить — ему и самому стало любопытно.

Я думала, мы пойдем пешком, но он повез меня по переулку на своей машине. Мы остановились и, осторожно ступая, двинулись прямиком через пшеничное поле. Пшеница доходила мне до колен; это означало, что камень будет виден издалека. Я спросила, не сделает ли нам замечание хозяин, но мой провожатый ответил, что нет: хозяин тут даже не появлялся, он нанял каких-то людей для работы на земле.

— Этому человеку принадлежит тысяча акров пшеничных полей в одном только округе Гурон.

Я заметила: фермер в наше время должен быть бизнесменом, так ведь? Молодому фермеру, очевидно, понравилось, что я так считаю, и он пустился в объяснения. Действительно, приходится идти на определенный риск. Расходы непомерные. Я поинтересовалась, есть ли у него современный трактор с кондиционером в ка-

бине, и он сказал, что есть, да. Если с умом вести дела, продолжал он, то выигрыш, финансовый выигрыш, может оказаться вполне ощутимым, но надо понимать, что на этом пути существует множество препон, о которых люди даже не догадываются. Весной, если все сложится благополучно, они с женой собирались впервые поехать отдохнуть. В Испанию. Дети требовали, чтобы родители занялись сооружением бассейна, вместо того чтобы ехать неизвестно куда, но у него всегда была мечта — посмотреть мир. Сейчас он имел в собственности уже две фермы и подумывал купить третью. Когда я постучалась к ним в дом, он как раз прикидывал свои возможности. С одной стороны, он не мог в данный момент позволить себе такое приобретение. Но с другой стороны, и отказаться тоже не мог.

За этим разговором мы прочесывали пшеничное поле в поисках камня. Посмотрели в одном углу, в другом, но безуспешно. Фермер сказал, что угол тогдашнего луга может и не совпадать с углом нынешнего поля. Но истина, скорее всего, заключалась в том, что валун мешал обрабатывать посевы, а потому его вывернули из земли и увезли. Молодой человек предложил осмотреть груду камней близ дороги — вдруг да повезет?

Я попросила его не беспокоиться — у меня не было никакой уверенности, что я опознаю этот валун в общей куче.

— У меня тоже, — выговорил он.

В его голосе сквозило разочарование. Я не знала, что он хочет увидеть или прочувствовать.

Да и на свой счет могла бы сказать то же самое.

Будь я помоложе, тут же сплела бы целую историю. Как мистер Блэк полюбил одну из моих тетушек, а тетушка — не обязательно та же самая — полюбила его. Как он доверил одной из них свою тайну: что занесло его в округ Гурон, за сотни миль от дома. По прошествии времени я бы передумала и сказала так: он действительно хотел открыться, а в конечном счете унес в могилу и свою тайну, и свою любовь. Жутким, но достоверным способом я бы связала это молчание с причиной его смерти. Но теперь я больше не считаю, что людские тайны можно четко обозначить и передать другим, что чужие чувства могут открыться тебе в полной мере и стать понятными. Больше я в это не верю. Теперь могу сказать лишь одно: сестры моего отца драили полы щелоком, вручную провеивали овес и доили коров. Наверное, они принесли в сарай лоскутное

одеяло и подстелили его отшельнику, чтобы тот не лежал на голой земле; наверное, они капля за каплей цедили воду из жестяной кружки в его истерзанный рот. Такова была их жизнь. А жизнь маминых кузин была совсем иной: те любили наряжаться и фотографироваться, любили выходить в свет. Так или иначе, сейчас никого из них не осталось. Какая-то частица тех и других живет во мне. А валуна больше нет, гора Хеврон пошла на гравий, и нужно дважды подумать, прежде чем сокрушаться о захороненной здесь жизни.

Дульсе

В конце лета Лидия на пароме отправилась на островок у южного побережья Нью-Брансуика, где собиралась заночевать. У нее оставались считаные дни до возвращения в Онтарио. Работала она в Торонто, редактором одного издательства. Еще она писала стихи, но этого предмета обычно не касалась, разве что в разговорах с теми, кто и так был в курсе дела. Полтора года назад она сошлась в Кингстоне с одним человеком. Но, насколько она понимала, эти отношения закончились.

Во время нынешней поездки в Приморские провинции Лидия сделала одно наблюдение. Заключалось оно в том, что окружающие больше не проявляли к ней интереса. Не то чтобы раньше она производила фурор, но на определенное внимание всегда могла рассчитывать. В свои сорок пять она уже девять лет была в разводе. Ее дети — двое — начали жить самостоятельно, хотя порой в смятении возвращались к ней под крыло. Лидия не располнела и не похудела, не подурнела настолько, чтобы бить тревогу, но тем не менее из женщины одного типа превратилась в женщину

другого типа — и заметила это во время поездки. Перемена ее не удивила, поскольку она в ту пору пребывала в новом, непривычном состоянии. Раз за разом она совершала над собой усилие. Ставила кубики один на другой — и строила свой день. Но подчас и на такое оказывалась неспособна. А бывали моменты, когда сама неспешность, видимая произвольность ее действий, сам ход жизни поднимали ей настроение.

Она нашла семейную гостиницу с видом на загроможденный ловушками для омаров причал и на редкие лавчонки и домики, которые складывались в деревню. Хозяйка, примерно ее ровесница, готовила ужин. Эта женщина отвела ее наверх, в обшарпанную, старую мансарду. Других постояльцев там не оказалось, хотя соседняя комната стояла открытой и вроде бы выдавала человеческое присутствие — похоже, детское. Во всяком случае, у кровати валялись книжки комиксов.

Лидия пошла прогуляться по крутой тропке за домом. Она развлекала себя тем, что вспоминала названия дикорастущих цветов и кустов. Повсюду пестрели дикие астры и золотарник; вольготно чувствовал себя японский самшит (в Онтарио — большая редкость). Травы были

высокими и жесткими, а деревья — низкорослыми. Это побережье Атлантики, которое Лидия никогда раньше не видела, оказалось точь-в-точь таким, как она себе представляла. Кланяющийся ветру ковыль; голые дома; свет моря. Лидия задумалась: каково было бы здесь жить, сохранились ли низкие цены на недвижимость, скуплена ли часть домов горожанами. Во время этой поездки она не раз производила в уме всевозможные расчеты, а кроме того, прикидывала разные способы заработка на случай отказа от прежнего рода занятий. Прожить на мизерные гонорары от стихов нечего было и думать, да и вообще, она тысячу раз склонялась к тому, что с поэзией надо кончать. Готовила она, по собственным оценкам, неважно и не решилась бы встать к плите, но зато вполне могла бы делать уборку. По меньшей мере один дом рядом с тем, где она остановилась, тоже служил гостиницей, а кроме того, ей на глаза попалась реклама мотеля. Если устроиться в три места, сколько это будет часов в день и какова здесь ставка уборщицы?

В столовой было четыре столика, но только за одним из них сидел человек со стаканом томатного сока. В ее сторону он не посмотрел. Другой мужчина — наверное, муж хозяйки — вышел, по-

тупившись, из кухни. У него была светлая борода с проседью. Он попросил Лидию назвать свое имя и проводил ее к столику, за которым сидел постоялец. Тот чопорно встал для знакомства. Звали его мистер Стэнли; на вид Лидия дала ему лет шестьдесят. Из вежливости он предложил ей присоединиться к нему.

Потом пришли трое рабочих в спецовках и сели за соседний столик. Нельзя сказать, что они оказались назойливо или оскорбительно шумными; просто одно их присутствие создавало приятную суматоху. То есть приятную для них самих, но, судя по их виду, они рассчитывали, что другим тоже будет приятно. Мистер Стэнли приветствовал их поклоном, даже не поклоном, а легким кивком. Сказал «добрый вечер». Они спросили, что сегодня на ужин, и он ответил, что, по его сведениям, гребешки, а на десерт — тыквенный пирог.

— Это специалисты из Телефонной компании Нью-Брансуика, — сообщил он Лидии. — Тянут кабель на один из соседних островков и в будние дни базируются здесь.

Он был старше, чем ей показалось вначале. Это выдавали не движения рук и не голос (с отчетливо американскими интонациями), но мелкие,

редкие, потемневшие зубы и еще блекло-карие глаза, подернутые едва заметной, молочного цвета пеленой.

Муж хозяйки принес еду и заговорил с рабочими. Обязанности официанта он выполнял сноровисто, но без раскованности и с отсутствующим видом, как лунатик, никогда не занимавшийся этим делом наяву. Овощи он подал в больших мисках, из которых желающие сами накладывали себе в тарелки то, что хотели. Лидию порадовал такой выбор: и брокколи, и пюре из репы, и картофель, и кукуруза. Американец взял всего понемножку и обстоятельно принялся за ужин: создавалось впечатление, что он не случайно поддевает вилкой овощи именно в таком порядке (по какой-то причине репа должна была следовать за картошкой) и методично разрезает пополам совсем не крупные жареные гребешки. Пару раз он поднял взгляд от тарелки, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Рабочие, налегая на еду, затихли.

В конце концов мистер Стэнли все же нарушил молчание. Он спросил:

— Вам известна такая писательница — Уилла

Кэсер[5]?

— Конечно. — Лидия была поражена: за последние две недели она не видела ни одного человека с книгой в руках и даже не обнаружила в пределах видимости ни одной стойки со всякой макулатурой.

— В таком случае вы знаете, что она проводила здесь каждое лето?

— Здесь?

— На этом острове. Здесь сохранился ее летний домик. Не далее чем в миле от этого самого места. Восемнадцать лет она неизменно приезжала сюда на лето и создала здесь множество произведений. Работала она в комнате, выходящей окнами на море, но теперь перед домом разрослись деревья и загородили вид. При ней всегда находилась ее близкая подруга, Эдит Льюис. Вы читали «Погибшую леди»?

Лидия ответила, что читала.

— Из всего ее наследия это мой самый любимый роман. И написан он именно здесь. Во всяком случае, большей частью.

---

[5] Примечания: 5

Уилла Кэсер (Уилла Катер, 1873–1947) — американская писательница, известная своими романами из времен освоения Дикого Запада. В 1923 г. получила Пулицеровскую премию за роман о Первой мировой войне «Один из наших».

Лидия поняла, что рабочие прислушиваются к их разговору, хотя и не поднимают глаз от еды. Не глядя ни на мистера Стэнли, ни друг на друга, они — Лидия это чувствовала — всем своим видом выражали снисходительное презрение. Она решила, что ей безразлично, распространяется ли это презрение и на нее тоже, однако, по всей вероятности, именно оно помешало ей дать вразумительный ответ по поводу Уиллы Кэсер и рассказать мистеру Стэнли, что она сама работает в издательстве и даже в некотором роде что-то пописывает. Хотя по большому счету мистер Стэнли просто не оставил ей возможности вклиниться.

— Я перед ней преклоняюсь вот уже более шестидесяти лет, — продолжил он и, занеся нож и вилку над тарелкой, выдержал паузу. — Читаю и перечитываю ее книги, и восхищение мое только растет. Только крепнет. Здесь ее помнят. Сегодня у меня назначена встреча с женщиной, которая знала Уиллу, беседовала с ней. Говорят, в свои восемьдесят восемь лет она еще в здравом уме. Стоит только местным жителям узнать о моем увлечении, как они сами предлагают вывести меня на тех, кто готов поделиться воспоминаниями. Это не может не радовать, — торжественно

заключил он.

Пока он говорил, Лидия пыталась сообразить, какие ассоциации вызывает у нее такой стиль ведения беседы. Она даже не имела в виду какого-то конкретного человека, хотя в студенческие годы у них, наверное, была парочка преподавателей с похожей манерой речи. Лидия мысленно вернулась в ту эпоху, когда еще оставались люди, пусть немногие, позволявшие себе вести разговор без оглядки на пресловутый демократизм; они изъяснялись официальными, безупречными, чуть высокомерными фразами, хотя и жили в стране, где официальность и педантизм вызывали только насмешку. Нет, это не до конца верно. Такой стиль вызывал не только насмешку, но и смущенный восторг. На самом деле мистер Стэнли навел Лидию на мысль о старой культуре провинциальных городов (с которой она, конечно, не сталкивалась, но была знакома по книгам), где царили идеализм и благопристойность, где были концертные залы с жесткими стульями и тихие библиотеки. В ту обстановку хорошо вписывалось его восхищение этой писательницей — старомодное, как и его речь. Лидия подумала, что он, скорее всего, не учитель: учителям даже в преклонном возрасте не свойственна такая

восторженность.

— Вы преподаете литературу?

— О нет. Нет. Никогда не имел такой чести. Нет. Я даже не изучал литературу. В шестнадцать лет пошел работать. В мое время особого выбора не было. Я газетчик.

Лидия вспомнила, что в Новой Англии выходит одна газетенка, до смешного чопорная и консервативная, которая культивирует замшелый слог.

— Вот как? В какой же газете вы работаете? — спросила она и тут же поняла, что такому вдумчивому собеседнику ее любопытство может показаться наглостью.

— Вы о ней, скорее всего, не слышали. Ежедневная газета небольшого промышленного города. Раньше сотрудничал и с другими. В этом была вся моя жизнь.

— А теперь, вероятно, решили написать книгу про Уиллу Кэсер? — Постоянно общаясь с людьми, которые собираются о чем-нибудь написать, Лидия сочла свой вопрос вполне уместным.

— Нет, — строго проговорил он. — Зрение уже не позволяет мне читать и писать больше необходимого.

Вот почему он ел с такой осторожностью.

— Нет, — повторил он. — Признаюсь, было вре-

мя, когда я задумывался над такой книгой. Я бы сосредоточился на том этапе жизни Уиллы, который связан с этим островом. Хотя ее биографии публиковались не раз, островной период описан в них очень скупо. Но мне пришлось отказаться от этой затеи. Все изыскания провожу исключительно для себя. Время от времени беру складной парусиновый стул, иду к ее дому и сажусь под окном, за которым она писала, глядя на море. Это совершенно безлюдное место.

— Разве домом никто не занимается? Неужели там не создан мемориальный музей?

— Представьте, нет. За домом никто не следит. Видите ли, кое-кто из местных жителей очень почитал Уиллу, некоторые даже отдавали должное ее дарованию — я имею в виду дарование личности: вряд ли они смогли бы оценить ее литературный талант, — но в то же время многие считали ее заносчивой и относились к ней с неприязнью. Их обижала ее нелюдимость, но это была вынужденная черта характера: для творчества требуется уединение.

— Но можно организовать проект, — сказала Лидия. — Добиться финансирования. И от канадского правительства, и от американского. Хотя бы для того, чтобы сохранить дом.

— Не берусь судить. — Он улыбнулся и покачал головой. — Нет, вряд ли. Нет.

Он не хотел, чтобы сюда нагрянули другие почитатели таланта писательницы и согнали его с парусинового стула. Как же она сразу не догадалась. Грош цена была бы его паломничеству, если бы здесь толпились туристы, щетинились стрелки указателей, раздавались брошюры, а гостиничка, которая сейчас носила название «Морской вид», была бы переименована в «Тени на скале». Чем так — считал, вероятно, ее собеседник, — пусть уж лучше этот дом развалится и порастет бурьяном.

А перед тем, в последний раз набрав номер Дункана, с которым они сошлись в Кингстоне, Лидия брела по улице Торонто и понимала: сейчас придется тащиться в банк, придется покупать продукты, придется спускаться в метро. Придется вспоминать, что, где и как нужно делать: раскрыть чековую книжку, шагнуть, когда подойдет очередь, вперед, выбрать из множества сортов хлеба один, бросить жетон в прорезь турникета. Ей казалось, что ничего сложнее она в своей жизни не совершала. А чего стоило прочесть названия станций метро и выйти там, где надо, чтобы добраться до съемной квартиры. Ей было

бы очень сложно описать эти трудности. Она прекрасно знала, где находится, знала название своей остановки и предыдущей тоже. Но никак не могла соотнести себя с окружающей действительностью, а потому встать, выйти из вагона, подняться по ступенькам, пройти по улице — все это требовало немыслимых усилий. Впоследствии она решила, что в тот момент ее, наверное, заколодило, как машину. Но даже в тот момент у нее в голове был собственный образ. Она видела себя клетью для яиц, в которой вырезаны донца.

Добравшись до квартиры, Лидия опустилась на стул в прихожей. Час или около того сидела без движения, потом сходила в туалетную комнату, разделась, надела ночную рубашку и легла в постель. Теперь она вздохнула с облегчением и даже возликовала оттого, что сумела взять все препятствия, и оказалась там, где хотела, и не обязана больше ничего вспоминать.

Самоубийство она не рассматривала. Ей было бы не управиться с необходимыми инструментами или приспособлениями и даже не сообразить, что используется для этой цели. Удивительно, что она еще сумела выбрать хлеб и сыр, которые так и остались на полу в прихожей. Но как теперь это пережевывать, глотать?

После ужина Лидия посидела с хозяйкой на веранде. Муж хозяйки тем временем наводил порядок.

— А как же, есть у нас посудомоечная машина, — говорила женщина. — Две морозилки, холодильник объемистый. Все требует вложений. Коли у тебя останавливаются бригады, нужно их кормить. Деньги улетают, как в трубу. В следующем году задумали бассейн поставить. Чтоб отдыхающих привлекать. Хочешь на своем месте удержаться — беги вперед. А люди думают, у нас не жизнь, а малина. Ага.

Ее лицо, волевое, изборожденное морщинами, обрамляли длинные прямые волосы. Одета она была в джинсы, расшитую сорочку и мужской свитер.

— Десять лет назад я еще в Штатах жила, в коммуне. Теперь тут. Бывает, вкалываю по восемнадцать часов в сутки. Сегодня еще должна обед собрать для бригады, сухим пайком. С утра до ночи у плиты. И Джон весь день по хозяйству.

— А убирать кто-то со стороны приходит?

— Это нам не по средствам. Уборкой Джон занимается. И стирка на нем, и все. Пришлось купить гладильный каток для простыней. Отопительную систему подновить. Взяли кредит в банке. Смех,

да и только: у меня раньше муж был — управляющий банком. Потом я его бросила.

— Я сейчас тоже сама по себе.

— Правда? В одиночку жить тяжело. Я вот Джона повстречала — он в таком же положении оказался.

— У меня был близкий человек в Кингстоне — это в Онтарио.

— Правда? Мы с Джоном душа в душу живем. Он прежде священником был. Но когда мы познакомились, плотником подрабатывал. Короче, мы оба оказались не у дел. Вы пообщались с мистером Стэнли?

— Конечно.

— А раньше про Уиллу Кэсер слыхали?

— Да.

— Это ему как подарок. Сама-то я мало читаю, для меня ее имя — пустой звук. Мне картинку подавай. Но он, по-моему, замечательный, мистер Стэнли. Эрудит старого образца.

— Он давно сюда приезжает?

— Нет, не очень. Нынче — в третий раз. Говорит, всю жизнь мечтал здесь побывать. Да не мог. У него на попечении был кто-то из родственников, инвалид. Но не жена. Брат, что ли. Короче, не вырваться было. Как по-вашему, сколько ему лет?

— Семьдесят? Семьдесят пять?

— Восемьдесят один. Не верится, да? Меня восхищают такие люди. Правда. Восхищают люди, у которых есть стержень.

— Тот человек, с которым я жила… то есть раньше жила, в Кингстоне, — рассказывала Лидия, — однажды грузил в багажник коробки с бумагами, дело было за городом, на старой ферме; и чувствует — кто-то его толкает в ноги. Посмотрел вниз. А время шло к вечеру, день был сумрачный. Ну, думает, собака большая откуда-то прибежала, черная, носом ткнулась. Он даже не остановился. Иди, говорит, домой, собачка, ну же, иди домой, хорошая девочка. Сложил он коробки, оборачивается. И видит — медведь. Черный медведь.

Разговор происходил тем же вечером, но уже в кухне.

— И что было дальше? — спросил Лоренс, начальник рабочих телефонной компании.

Лоренс, Лидия, Юджин и Винсент играли в карты.

Лидия рассмеялась:

— Дальше он сказал: «Ой, извините». Если не врет, конечно.

— А в коробках у него только бумаги были?

Ничего съестного?

— Он писатель. Исторические книги пишет. В коробках у него были материалы для работы. За материалами ему иногда приходится обращаться к весьма странным людям. А медведь пришел не из леса. Он был ручной, и хозяева шутки ради спустили его с цепи. Двое стариков, родные братья, у которых мой друг как раз и забирал материалы; эти старики спустили своего любимца с цепи, чтобы пугнуть Дункана.

— Стало быть, он собирает всякую старую писанину, из которой можно книжку слепить? — уточнил Лоренс. — Интересное дело.

Лидия тут же пожалела, что разоткровенничалась. Она лишь потому вспомнила тот случай, что рабочие завели разговор о медведях. Но история эта теряла всякий смысл, если рассказывал ее не сам Дункан. Он ухитрялся в каждом слове показать себя: большого, вальяжного, светского — учтивого даже с медведем. Он ухитрялся показать и двух старых шутников, притаившихся за рваными занавесками.

«Вы просто не знаете Дункана», — чуть не сорвалось у нее с языка. Но не для того ли она рассказала эту историю, чтобы дать им понять: уж она-то знает Дункана… еще совсем недавно

у нее был мужчина, причем интересный, остроумный, рисковый. Она хотела убедить их, что не всегда была неприкаянной, не всегда пускалась в такие вот бесцельные одинокие поездки. Решила показать себя через отношения. И сделала ошибку. Эти люди вряд ли сочли бы рисковым того, кто выманивает документы у всяких сквалыг и чудиков, чтобы накропать книжку о событиях трехсотлетней давности. Зря она упомянула, что была близка с Дунканом. Для слушателей это означало только одно: что она спала с мужиком, не будучи ему женой.

Бригадиру Лоренсу не было и сорока, но он успел многого добиться. И охотно рассказывал о себе. Независимый подрядчик, имеет два дома в Сент-Стивене[6]. А еще два автомобиля, фургон и катер. Жена — учительница. У Лоренса уже заплывала талия, появилось водительское пузо, но все равно выглядел он бодрячком. Видно было, что человек себе на уме и, конечно, через любого перешагнет в угоду своим интересам. Если приоденется, в нем даже будет определенный шик. Но в иных ситуациях и компаниях может и замкнуться, и смешаться, и вспылить.

---

[6] Примечания: 6

Сент-Стивен — небольшой город в провинции Нью-Брансуик.

Лоренс заявил, что насчет Приморских провинций пишут много всякой чуши. Работы там — невпроворот, если кто готов работать. Не важно, мужчина или женщина. Он заявил, что ничего не имеет против эмансипации, хотя факт остается фактом: какая-то работа лучше удается мужчинам, а какая-то — женщинам, и если заинтересованные стороны сумеют на этот счет договориться, всем будет лучше.

Дети у них с женой, по его словам, выросли балованными. Привыкли к поблажкам. Ни в чем отказа не знали — так уж нынче повелось, что тут сделаешь? У других ведь тоже все есть. Шмотки, мотоциклы, любые пластинки, школы хорошие. Ему-то ничего на блюдечке не поднесли. Он работать пошел, фуры гонял. И в Онтарио, и в Саскачеван. Школу бросил после десятого класса, но это ему не помешало. Правда, иногда хотелось, чтобы образования чуток побольше было.

Юджин и Винсент, его подчиненные, признались, что дальше восьмого класса не продвинулись — в сельских школах это потолок. Юджину было двадцать пять, а Винсенту пятьдесят два. Юджин, канадец французского происхождения, родился на севере Нью-Брансуика. Выглядел он моложе своих лет. Румяный, с пушком на лице,

мечтательный — мужская красота сочеталась в нем с мягкостью, покладистостью и застенчивостью. В наши дни такой тип мужской и подростковой внешности — редкость. Да и то встречается главным образом на старых фотографиях — например, у какого-нибудь шафера или у баскетболиста: густые, смоченные водой, тщательно причесанные волосы, голова желторотого мальчонки — и туловище зрелого человека. В карты он проигрывал. Мужчины называли эту игру «скат». Лидия помнила ее с детства, только тогда она называлась «тридцать одно». Ставили по четвертачку за кон.

Юджин не возражал, когда Винсент и Лоренс подкалывали его за то, что он продулся в карты, заблудился в Сент-Джоне[7], родился франко-канадцем и питает слабость к определенному типу женщин. Подколы Лоренса были равносильны издевкам. Лоренс старательно изображал добродушие, но все равно выглядел так, будто внутри у него засело что-то тяжелое и твердое: самомнение, которое его не возвышало, а грузом придавливало к земле. У Винсента такого груза не было, и хотя он тоже безжалостно язвил —

[7] Примечания: 7

Сент-Джон — крупнейший город канадской провинции Нью-Брансуик и второй по величине в Приморских провинциях.

причем не только в адрес Юджина, но и в адрес Лоренса, — в его словах не чувствовалось ни жестокости, ни угрозы. Было видно, что по натуре он балагур. Острый на язык, насмешливый, но безобидный; даже самые пессимистичные прогнозы он изрекал как-то жизнерадостно.

У Винсента была своя ферма, точнее, семейная ферма, на которой он вырос, неподалеку от Сент-Стивена. Одним фермерством, рассказывал он, нынче не прокормишься. Вот он, к примеру, прошлый год картофельное поле засадил. Так в июне заморозки грянули, а в сентябре снег повалил. Где ж тут урожай вырастить? И никогда не знаешь, говорил он, что тебя ждет. А на рынок сейчас тоже непросто выйти — все прибрали у рукам большие шишки да большой бизнес. На землю рассчитывать не приходится, вот каждый и крутится как может. Жена тоже работать пошла. Парикмахерские курсы окончила. Сыновья — лодыри, им лишь бы на машинах гонять. А женятся — так молодым женам первым делом новую плиту подавай. Чтоб сама обед варила и на стол метала.

А ведь раньше как жили? У Винсента собственные ботинки — то бишь никем до него не ношенные — только в армии появились. Уж как

он был довольнехонек: специально по грязи прошлепал спиной вперед, чтоб следы разглядеть, свежие, четкие. А после войны отправился в Сент-Джон работу искать. Потому как армейское обмундирование на ферме поизносилось — одна пара целых штанов осталась. В Сент-Джоне разговорился он за кружкой пива с одним мужиком, а тот возьми да скажи: «Хочешь новыми штанами по дешевке разжиться? Айда со мной». Ну, Винсент упрашивать себя не заставил. И куда они пришли? В похоронную контору! Туда ведь родственники покойных лучшие костюмы приносят, а в гробу-то ниже пояса ничего не видать. Вот хозяин конторы и начал штанами приторговывать. Чистая правда. Первую пару ботинок Винс получил от военного ведомства, а первую пару брюк, о каких и не мечтал, — от покойника.

Винсент потерял все зубы. Это сразу бросалось в глаза, но не делало его отталкивающим, а только лишь добавляло его облику плутовства и комизма. Лицо у него было вытянутое, с приплюснутым подбородком, а взгляд говорил, что такой человек нарываться не станет, но и в обиду себя не даст. Фигура поджарая, мускулы, где надо, накачаны, черные волосы тронуты сединой. Годы тяжкого труда оставили на нем свой отпечаток, но не соби-

рались отступать, и тело готово было трудиться дальше, покуда он не превратится в сухонького старичка с узловатыми руками, не унывающего и даже не забывшего кое-какие свои шуточки.

За картами они без умолку трепались, вопили, со смехом грозились уйти спать. Но позже беседа приобрела иной, более серьезный и личный характер. Весь вечер они пили местное пиво под названием «Лось», но после игры Лоренс принес из фургона пиво, купленное в Онтарио, — оно считалось сортом повыше. Рабочие называли его «импортным». Хозяева гостинички давно ушли на боковую, но картежники сидели на кухне, как у себя дома, пили пиво и закусывали водорослями дульсе, которые Винсент принес из своей комнаты. Зеленовато-бурые, соленые, они отдавали рыбой. Винсент сказал, что всегда ест их на ночь, а также утром, натощак — самое то. Когда наука доказала, насколько они полезны, их стали продавать в супермаркетах: пакетики с гулькин нос, а цена грабительская.

На следующий день была пятница, и бригада готовилась уезжать на большую землю. Все трое считали, что надо бы успеть на паром в четырнадцать тридцать, а не ждать, как обычно, следующего, который отходит в семнадцать

тридцать, поскольку прогноз обещал штормовую погоду — до темноты на Фанди[8] грозил обрушиться шлейф какого-то тропического урагана.

— Но если будет шторм, паромы отменят, верно? — спросила Лидия. — Если будет опасность? — Она охотно пропустила бы завтрашний паром, чтобы еще пожить вдали от цивилизации.

— Понимаете, в пятницу вечером куча народу только и ждет, как бы отвалить с острова, — ответил Винсент.

— К женушкам торопятся, — язвительно бросил Лоренс. — На островах всегда работы идут, мужики от семьи оторваны.

И тут он завел неторопливый, но настырный разговор о сексе. На острове, по его словам, всегда процветала распущенность. Одно время власти даже хотели ввести карантин на въезд, чтобы не допустить распространения венерических заболеваний. Рабочие-вахтовики останавливались в мотеле «Океанская волна» и что ни вечер устраивали попойки, а молоденькие девчонки сами туда тянулись и предлагали свои услуги. Этим сопливкам лет четырнадцать-пятнадцать

[8] Примечания: 8

Фанди — залив, омывающий побережье Канады и США. Известен своими рекордными приливами (до 18 м).

было, а то и тринадцать. Вот и получалось, что на острове молодка в двадцать пять лет свободно могла стать бабушкой. О здешних местах шла дурная слава. Девчонки на все были готовы за небольшую мзду, а то и за пиво.

— А кое-кто и просто так, — заключил Лоренс. Он купался в своих рассказах.

Все услышали, как открывается входная дверь.

— Дружок ваш, — объявил Лоренс Лидии.

На мгновение она опешила, подумав о Дункане.

— Старикан, ваш сотрапезник, — пояснил Винсент.

Мистер Стэнли не стал заходить на кухню. Пройдя через гостиную, он начал взбираться по лестнице.

— Эй? Никак в «Океанскую волну» наведались? — задрав голову, вполголоса спросил Лоренс, как будто хотел поболтать сквозь потолок. — Старпер даже не знает, как это делается. И полвека назад не знал, а сейчас тем более. Я своих рабочих на пушечный выстрел туда не подпускаю. Скажи, Юджин?

Юджин вспыхнул и надулся, как будто его травил школьный учитель.

— Нет, нашему Юджину это не нужно, — сказал

Винсент.

— Я что, вру, что ли? — вскинулся Лоренс, как будто с ним заспорили. — Правду я говорю или нет?

Он уставился на Винсента, и тот подтвердил:

— Ну да, да. — Похоже, эта тема увлекала его куда меньше, чем Лоренса.

— А вы небось подумали, что здесь кругом невинность, — обратился Лоренс к Лидии. — Невинность! Как же!

Лидия поднялась к себе, чтобы взять двадцать пять центов, проигранных на последнем кону. Выходя из комнаты в темный холл, она заметила, что у окна стоит Юджин.

— Хоть бы не заштормило, — выдавил он.

Лидия остановилась рядом с ним и тоже посмотрела в окно. Луна пряталась за дымкой тумана.

— Ты не у моря вырос? — спросила она.

— Не-а.

— Но если успеть на четырнадцать тридцать, все будет нормально, да?

— Надеюсь. — Он, как ребенок, не стеснялся своего страха. — Только бы не утопнуть.

Лидия вспомнила, что в детстве тоже говорила «утопнуть». Почти все взрослые и определенно

все дети, кого она знала, говорили именно так.

— Не волнуйся, — сказала она убежденным материнским тоном. Спустилась в кухню и отдала карточный долг.

— А где Юджин? — спросил Лоренс. — Наверху, что ли?

— В окно смотрит. Беспокоится, как бы не начался шторм.

Лоренс хохотнул:

— Скажите ему — пусть спать ложится и не берет в голову. Он у вас за стенкой. Просто предупреждаю, а то он, бывает, орет во сне.

Лидия впервые увидела Дункана в книжном магазине, где работал ее приятель Уоррен. Она ждала Уоррена, чтобы вместе пообедать. Он побежал за курткой. И тут вошел покупатель, который попросил Ширли, тоже работавшую продавщицей, найти для него «Персидские письма»[9]. Это и был Дункан. Ширли повела его за собой к тому стеллажу, где стояла книга, и в тишине магазина Лидия услышала, как он говорит, что для «Персидских писем», наверное, трудно найти место. Куда

---

[9] Примечания: 9

«Персидские письма» — сатирический роман Шарля Луи де Монтескье (1689–1755), впервые опубликованный в 1721 г. анонимно. В нем персидский вельможа, живущий в Париже, в письмах друзьям рассказывает об устройстве западного общества, французской политике и нравах.

их отнести: к романам или же к политическим очеркам? Лидия почувствовала, что он, произнеся эти слова, обнажил в себе определенную черту. Он обнажил потребность, которую Лидия считала характерной для покупателей книжных магазинов, — потребность выделиться, показать себя эрудитом. Впоследствии, оглядываясь назад, она пыталась вновь представить его беспомощным, слегка заискивающим, неуверенным. Вернулся, надев куртку, Уоррен, поздоровался с Дунканом, а когда они с Лидией вышли на улицу, шепнул: «Железный Дровосек». Они с Ширли скрашивали себе рабочие будни, давая прозвища покупателям; Лидия уже знала, что существуют Полный Рот Дикции, Адвокат Горошек и Колониальная Герцогиня[10]. Дункана прозвали Железным Дровосеком. Она подумала, что причиной этому стало его гладкое серое пальто и серо-стальные волосы, хотя в юности он, вероятно, был блондином. В самом деле, он ведь не отличался ни худобой, ни угловатостью, не скрипел суставами. Наоборот, он был гладким и вальяжным, держался приветливо, с достоинством; кожа чистая,

[10] Примечания: 10

«Колониальными герцогинями» называли ирландских женщин, бежавших в Новый Южный Уэльс (Австралия) от «картофельного голода» в середине XIX в.

ухоженный, весь сияющий.

Прозвище она от него утаила. И не призналась, что видела его в книжном магазине. Дней через десять они познакомились на какой-то издательской вечеринке. Дункан ее не вспомнил, и она решила, что тогда, в магазине, он попросту ее не заметил, потому что был занят разговором с Ширли.

Лидия недоумевает: благодаря чему он забрал себе такую власть? Благодаря кому — и так ясно. Ей хочется понять, благодаря чему и в какой момент… когда произошла перемена, когда были отброшены и гордость, и здравый смысл?

Обычно Лидия доверяет своей интуиции. Доверяет своим суждениям, когда у нее в мыслях возникают приятель Уоррен, его подруга Ширли, случайные знакомые, как, например, хозяева семейной гостиницы, и мистер Стэнли, и работяги, с которыми она играла в карты. Ей представляется, что она видит чужие побудительные мотивы; даже самой себе она не признается, до какой степени полагается на собственные, ничем не подкрепленные теории, на беспочвенные подозрения. Но стоит ей только задуматься о коллизии с Дунканом, как она делается глупой и беспомощной. Представься ей такой случай, она многое

смогла бы объяснить, потому что способность объяснять у нее в крови, но она не доверяет этим объяснениям, они ей не помогают. С таким же успехом она могла бы, обхватив голову руками, с воем опуститься на землю.

Забравшись в кровать, она с полчаса почитала. Затем встала, чтобы сходить в туалет. Было уже за полночь. Свет нигде не горел. Она оставила дверь приоткрытой, чтобы на обратном пути не включать лампочку в коридоре. Дверь в комнату Юджина тоже была приоткрыта, и, проходя мимо, Лидия услышала тихие, осторожные звуки. То ли стон, то ли шепот. Лидия вспомнила слова Лоренса, что Юджин орет во сне, но эти звуки издавались не во сне. Она знала, что он не спит. Лежа на кровати в темной комнате, он наблюдал, он звал ее к себе. Это было любовное приглашение, такое же откровенное и беспомощное, как и его исповедь о страхе, которую Лидия выслышала у окна. Она прошла к себе в комнату, затворила дверь и заперлась на крючок. Но уже понимала, что в этом нет необходимости. Он бы никогда в жизни не попытался к ней войти; в нем не было настырности.

Потом она лежала без сна. Перемены были налицо: она стала чураться приключений. Но ведь

вполне могла бы пойти к Юджину, а еще раньше могла бы подать знак Лоренсу. В прошлом она бы так и сделала. А может, и нет — по настроению. Теперь такое казалось невозможным. Она была укутана, обернута в несколько защитных слоев скучного знания. Само по себе это неплохо: ум остается незамутненным. Когда размышления не подпитываются желанием, они могут сделаться более тонкими, более неспешными.

Она представила себе этих мужчин в постели. Если рассуждать логически, более других подошел бы ей Лоренс. Примерно одного с ней возраста, предсказуемый, явно с опытом тайных свиданий. Да, грубоват, но это не должно было ее оттолкнуть. Он бы действовал энергично, осторожно, немного самодовольно, деловито и внимательно, а в решающий момент сумел бы ее предупредить: хоть шуткой, хоть забавным оскорблением, хоть прямым сообщением о положении дел.

Юджин не увидел бы в этом необходимости, хотя его воспоминания испарились бы даже быстрее, чем у Лоренса (намного быстрее, потому что Лоренс, который своего не упустит, потом все же задумается о каких-нибудь нежелательных последствиях, против которых нужно бдительно

держать оборону). Опыта у парнишки, вероятно, не меньше, чем у Лоренса; наверняка девушки и женщины уже не один год откликались на зов, который услышала Лидия, на эти безыскусные исповеди. Юджин, вероятно, щедр на ласку, подумала она. Благодарный, самозабвенный любовник, окружающий женщину такой добротой, что она даже не пикнет, когда он уйдет. Не попытается его заарканить, не будет ныть. Это достанется тем мужчинам, которые что-то скрывают, противоречат себе, обещают, врут, издеваются. Забеременев от такого субъекта, женщина начнет засыпать его отчаянными письмами, признаваться в беззаветной любви, а то и мстить. А Юджин так и будет уходить свободным, наивным, счастливым чудом любви, пока не решит, что настало время жениться. Тогда он найдет себе неказистую девушку-мать, вероятно даже, чуть постарше, попрактичнее. Остепенившись и сохраняя верность, он предоставит жене заправлять всеми делами; у них будет большая католическая семья.

А Винсент? Лидия не могла представить его с такой же легкостью, как двух других: звуки и движения, и голые плечи, и приятно теплую кожу; мощь, напряжение — и миг беспомощности.

Думать о Винсенте в таком же ключе ей было неловко. Зато теперь он стал единственным, о ком она размышляла с неподдельным интересом. Ей вспоминалось, как он предупредителен, немногословен, остроумен, как безропотно принимает свою участь. Лидию привлекали как раз те черты, которые отличали его от Лоренса и свидетельствовали, что всю свою жизнь он будет работать на Лоренса (или ему подобных), а не наоборот. Нравилось ей и то, что отличало его от Юджина: ироничность, терпение, сдержанность. Таких мужчин она видела в свои детские годы на ферме, очень похожей на его ферму; такими из поколения в поколение были мужчины у нее в роду. Она понимала его жизнь. Чувствовала, что с ним откроются двери к тому, что она знала и забыла; откроются закутки и пейзажи *тех мест*. Дождливые вечера, бухты и кладбища, и черемуха в углах забора, и зяблики. Она спрашивала себя, не это ли чувство наступает после многих лет голода и неуемности — возвращение к нежным фантазиям?

Или же ей просто открылась истина о том, чего она хотела, в чем нуждалась; вероятно, ей следовало давным-давно найти такого, как Винсент, влюбиться и выйти замуж; вероятно, следовало

сосредоточиться на той частице себя, которая осталась бы довольна такой судьбой, и забыть про все остальное?

И быть может, ей следовало остаться в тех краях, где любовь ждет наготове, а не уезжать туда, где ее приходится изобретать снова и снова, не зная, достанет ли на это сил.

Дункан рассказывал ей о своих бывших подругах. Деловитая Рут, бойкая Джуди, живенькая Диана, элегантная Долорес, заботливая Максин. Лоррейн — златовласая, пышногрудая краса; полиглотка Мариан; неврастеничка Кэролайн; Розали — неугомонная, цыганистая; Лоис — талантливая, меланхоличная; безмятежная светская львица Джейн. Как бы он теперь описал Лидию? Лидия — поэт. Замкнутая, нелепая, посредственная Лидия. Да и поэт из нее посредственный.

Как-то раз в воскресенье, когда они ездили в дюны Питерборо, он стал живописать воздействие, которое оказывала красота Лоррейн. Не иначе как чувственная природа навеяла. Доходило почти до абсурда, говорил он. Просто до идиотизма. Как только в каком-то городишке Дункан свернул на заправку, Лидия перебежала через дорогу в работавший по воскресеньям магазинчик-дис-

каунтер и там набрала со стеллажей косметики в тюбиках. В холодном, грязном туалете на бензоколонке она сделала попытку преобразиться, намазывая лицо жижицей телесного цвета и натирая веки зеленой пастой.

— Что ты сделала с лицом? — спросил он, когда она вернулась в машину.

— Разрисовала. Захотела немного подкраситься, чтобы выглядеть повеселее.

— На шее граница видна.

В такие минуты ей казалось, будто ее душат. Впоследствии она говорила доктору: всему виной безысходность. Пропасть между желаемым и действительным. Любовь Дункана — его любовь к ней — таилась где-то у него внутри; вырвать или выманить ее наружу Лидия надеялась ценой огромного желания угодить, или же ценой скандалов, подрывающих все достигнутые успехи, или еще ценой напускного безразличия.

Откуда к ней пришли такие мысли? Да от него. Во всяком случае, он намекал, что сможет ее полюбить и они будут счастливы, если только она перестанет нарушать его личную сферу, если умерит свои требования, если попытается изменить в себе те качества и манеры, которые ему претят. Он перечислил их по пунктам. Некоторые тре-

бования носили столь интимный характер, что Лидия выла и зажимала уши, умоляя его забрать свои слова обратно или хотя бы не продолжать.

— Ну и как с тобой можно что-либо обсуждать? — возмутился он.

И добавил, что совершенно не выносит истерик и эмоциональных всплесков, но при этом, когда она в конце концов разрыдалась под тяжестью его хладнокровных и скрупулезных претензий, ей померещилось, что по его лицу пробежала тень удовлетворенности, глубокого и радостного облегчения.

— Может ли такое быть? — спросила Лидия у доктора. — Может ли такое быть, что он держит женщину на привязи, но сам до такой степени этого страшится, что хочет ее сломать? Или это примитивное понимание? — заволновалась она.

— А как насчет того, чтобы сначала разобраться в себе? — сказал ей доктор. — Чего хотите вы сами?

— Чтобы он меня любил.

— А не чтобы вы его любили?

Она мысленно вернулась в квартиру Дункана. Там не было занавесок: его этаж возвышался над всеми окрестными домами. Там никогда не предпринималось попыток хоть как-то про-

думать интерьер; повсюду царил полный хаос. Зато были удовлетворены весьма специфические потребности хозяина. В углу, за картотечными шкафами, стояла некая скульптура, потому что ему нравилось, лежа на полу, созерцать ее тень. У кровати, поставленной поперек спальни, чтобы получше обдувало из окна, высились стопки книг. Беспорядок, как выяснилось, считался порядком, тщательно спланированным и неприкосновенным. В торце коридора лежал симпатичный коврик, сидя на котором Дункан любил слушать музыку. Кресло было всего одно: необъятное и уродливое чудо техники, со всякими приспособлениями для головы, рук и ног. Лидия спросила: а как же, когда гости? Дункан ответил, что гостей у него не бывает. Квартира существует для него лично. Его, остроумного, представительного, охотно приглашают в компании, а сам он никого к себе не тащит и считает это вполне оправданным, поскольку званые вечера устраиваются исключительно в угоду вкусам и желаниям посторонних лиц.

Как-то Лидия принесла цветы, но оказалось, что поставить их некуда, кроме как в банку на пол возле кровати. Из поездок в Торонто она привозила подарки: книги, пластинки, сыры.

Изучила квартирные тропы и нашла пятачки, где можно присесть. Она отвадила своих друзей и вообще всех знакомых, чтобы те не приходили и не звонили, потому что не знала, как объяснить им некоторые вещи. Изредка они встречались с друзьями Дункана, и она всякий раз переживала, что ее вносят в общий список и разбирают по косточкам. Ее убивало, что он дарит им те же байки, пародии, искрометные комплименты, которыми развлекал и ее. Дункан не выносил скуки. Лидия догадывалась, что он презирает людей, не способных к остроумию. Чтобы быть с ним на равных, требовалась мгновенная реакция и неиссякаемая энергия. Лидия постоянно ходила на цыпочках, как балерина, и трепетала мелкой дрожью, боясь провала в очередной пикировке.

— По-вашему, я его не люблю? — спросила она доктора.

— А по каким признакам вы определяете, что любите?

— Мне невыносимо видеть, что я ему наскучила. Я готова сквозь землю провалиться. Это правда. Хочется куда-нибудь спрятаться. Выхожу на улицу — и в каждом лице читаю презрение: вот неудачница.

— Ваша неудача в том, что вы не смогли заста-

вить его вас любить.

Теперь Лидия и сама должна повиниться. Она так же поглощена собой, как и Дункан, но более искусно это скрывает. Они постоянно состязаются: кто лучше умеет любить. А вдобавок она состязается со своими предшественницами, даже когда это просто нелепо. Ей невыносимо слушать связанные с ними приятные воспоминания и любые похвалы. Как и многие женщины ее поколения, она представляет любовь как разрушительную силу, но в каком-то смысле относится к ней несерьезно, без уважения. Она слишком многого хочет для себя одной. За своей интеллигентной, ироничной манерой речи она скрывает неоправданные ожидания. Жертвы, на которые она пошла, живя с Дунканом (в плане быта, общения с друзьями, даже периодичности секса и тональности разговоров), — это промахи, пусть не роковые, но вопиющие. Вот в этом и состоит неуважение к любви, и это недопустимо. Она сама подарила ему власть — и сама же стала жаловаться себе, а потом и ему, что он пользуется этой властью. Она вознамерилась его сокрушить.

Так она говорит доктору. Но правда ли это?

— Самое плохое — не знать, сколько в этом

правды. Я постоянно пытаюсь разобраться в себе и в нем, но так ни к чему и не пришла. Загадываю желания. Даже молюсь. Бросаю монетки в фонтаны. Мне кажется, в нем есть какая-то невероятная отчужденность. В нем засело желание от меня избавиться, и он только ищет благовидный предлог. Но он говорит, что это чушь, что у меня болезненная реакция и, как только я ее переборю, все у нас будет хорошо. Наверное, он прав; наверное, дело во мне.

— А когда вы испытываете счастье?

— Когда он мною доволен. Когда шутит и веселится. Нет. Нет. Я никогда не испытываю счастья. Бывает, что я испытываю облегчение, как будто преодолела какое-то препятствие, но и тогда это скорее торжество, чем счастье. Он в любую минуту может выбить почву у меня из-под ног.

— Тогда по какой причине вы держитесь за человека, способного выбить почву у вас из-под ног?

— Но такой человек есть всегда, разве нет? В период замужества таким человеком была я. По-вашему, от подобных вопросов есть польза? А если причиной окажется гордыня? Я не хочу быть одна, я хочу, чтобы все думали: какой у нее завидный мужчина! А если причиной окажется

унижение — мое желание быть униженной? Какая мне польза от таких открытий?

— Не знаю. А вы как считаете?

— Я считаю, что от этих разговоров может быть прок лишь в тех случаях, когда у человека появились мелкие неприятности и умеренное любопытство, но не тогда, когда человек в полном отчаянии.

— А вы сейчас в полном отчаянии?

На нее вдруг обрушилась усталость, такая сильная, что продолжать разговор не осталось почти никакой возможности. В кабинете, где она беседовала с врачом, был темно-синий ковер и синий в зеленую полосу мебельный штоф. На стене висела картина с изображением рыбаков и лодок. Тайный сговор, почувствовала Лидия. Ложное утешение, временная подпорка, узаконенный обман.

— Нет.

В ту пору ей казалось, что они с Дунканом — многоглавые чудища. Одна голова изливает оскорбления и обвинения, горячие и холодные, другая — неискренние извинения и скользкие просьбы, а третья — житейские, разумные доводы в пользу правоты или неправоты, подобные тем, к которым прибегали они с доктором. И ни

одна голова не способна сказать ничего путного или прикусить язык. Иногда Лидия верила, сама того не осознавая, что эти кошмарные головы со своими жестокими, глупыми, бесполезными речами могут опять спрятаться, сжаться в комок и уснуть. Мало ли что они наговорили — зачем обращать внимание? И тогда они с Дунканом, исполнившись надежд и доверия, очистив свою память, познакомятся заново и пойдут вперед с тем же незамутненным восторгом, какой сопровождал их на первых порах, пока они не стали использовать друг друга каждый в своих целях.

Проведя в Торонто всего один день, Лидия попыталась вернуть себе Дункана по телефону, но, как оказалось, тот не терял времени даром. Он поменял и засекретил свой номер. И написал ей письмо на адрес издательства, сообщив, что упакует и перешлет все ее вещи.

Лидия завтракала с мистером Стэнли. Рабочие поели и еще до рассвета ушли на объект.

Она спросила у мистера Стэнли, как прошла встреча с женщиной, знавшей Уиллу Кэсер.

— Э, — начал мистер Стэнли, прожевав яйцо пашот, и вытер уголок рта. — У нее раньше был ресторанчик на пристани. По ее словам, она отменно готовила. Не сомневаюсь, что это правда,

поскольку Уилла и Эдит заказывали ей ужины. А ее брат доставлял заказы на своей машине. Но иногда Уилла высказывала недовольство — когда она получала не совсем то, что хотела, или когда еда оказывалась приготовлена не на самом высоком уровне — и отсылала ужин обратно. В таких случаях она требовала замены всех блюд. — Он улыбнулся и продолжил заговорщическим тоном: — Уилла проявляла деспотизм. Да еще какой. Характер ее был далек от идеала. Люди незаурядных способностей зачастую бывают нетерпимы в бытовых вопросах.

«Глупости, — хотела сказать Лидия, — просто она, судя по всему, была порядочной стервой».

Иногда пробуждение оказывалось сносным, а иногда — невыносимым. Этим утром она проснулась с ледяной уверенностью, что совершила ошибку, причем глупую и непоправимую.

— А иной раз они с Эдит сами приходили в этот ресторанчик, — продолжал мистер Стэнли. — Если им хотелось побыть на людях, они ужинали прямо там. В один из таких вечеров Уилла и познакомилась с моей вчерашней собеседницей. Их разговор длился более часа. Та женщина подумывала о замужестве. Ей требовалось обмозговать возможность брака по расчету, своего рода де-

ловое предложение, как она дала мне понять. Сугубо практические отношения. Ни о какой романтике речи не было — и она, и ее избранник уже миновали пору молодости и глупости. Уилла беседовала с нею больше часа. Конечно, никаких прямых указаний поступить так, а не иначе она не давала, но рассуждала общими категориями, очень разумно и по-доброму. Эта женщина до сих пор живо вспоминает тот случай. Меня это порадовало, но не удивило.

— Да что Уилла могла в этом понимать? — вырвалось у Лидии.

Оторвав взгляд от тарелки, мистер Стэнли посмотрел на нее со скорбным изумлением.

— Уилла Кэсер сама жила с женщиной, — объяснила Лидия.

Ответ мистера Стэнли прозвучал взволнованно и с некоторым укором.

— Их преданность друг другу была безраздельной, — произнес он.

— И тем не менее: она никогда не жила с мужчиной.

— Она знала жизнь, как знает ее художник. Не обязательно по собственному опыту.

— А вдруг не знала? — упорствовала Лидия. — Что, если не знала?

Мистер Стэнли вновь занялся яйцом пашот, будто ничего не слышал. В конце концов он сказал:

— Моя собеседница посчитала, что разговор с Уиллой оказался для нее чрезвычайно полезным.

Лидия фыркнула, выражая согласие, не лишенное сомнения. Она знала, что повела себя невежливо, а то и жестоко. Знала, что за такое положено извиняться. Подойдя к серванту, она налила себе еще кофе.

Из кухни появилась хозяйка:

— Не остыл? Я тоже, пожалуй, чашечку выпью. Неужели вам сегодня уезжать? Я тоже иногда подумываю: вот сяду на паром да уплыву. Здесь у нас хорошо, мне нравится, но сами знаете, как это бывает.

Они пили кофе, стоя у серванта. Лидии не хотелось возвращаться за стол, но она понимала, что этого не избежать. Мистер Стэнли, узкоплечий, с аккуратной лысой головой, выглядел уязвимым и одиноким; коричневый клетчатый пиджак спортивного покроя был ему великоват. Этот старичок потрудился выйти на люди чистым и опрятным, и это, по-видимому, в самом деле стоило ему немалых трудов — при таком слабом

зрении. Он ничем не заслужил хамского отношения.

— Ой, чуть не забыла, — спохватилась хозяйка.

Она сходила на кухню и принесла большой бумажный пакет.

— Винсент просил передать. Сказал, что вам понравилось. Неужели правда?

Лидия заглянула в пакет и увидела длинные, темные, рваные полоски водорослей дульсе с маслянистым блеском даже в сухом виде.

— Так-так, — сказала она.

Хозяйка рассмеялась:

— Понимаю. Нужно родиться в здешних местах, чтоб оценить этот вкус.

— Нет, мне в самом деле понравилось, — запротестовала Лидия. — Я почти пристрастилась.

— Чем-то вы его зацепили.

Вернувшись к столу, Лидия продемонстрировала содержимое пакета мистеру Стэнли и сказала примирительно-шутливым тоном:

— Интересно, Уилла Кэсер пробовала дульсе?

— Дульсе, — задумчиво повторил мистер Стэнли. Он пошарил в пакете, достал несколько водорослей и стал изучать. Лидия знала: он смотрит на них глазами Уиллы Кэсер. — Она, безусловно, знала об этом растении. Знала.

Но знала ли она, что такое везенье, было ли ей хорошо с той женщиной? Как вообще она жила? Эти вопросы вертелись у Лидии на языке. Мог ли понять их мистер Стэнли? Спроси она, как жила Уилла Кэсер, он бы, вероятно, ответил, что ей, в отличие от других, не приходилось задумываться о хлебе насущном — не зря же она была Уиллой Кэсер.

Что за чудесный, прочный панцирь создал он для себя. Ходи в нем повсюду — и никто тебя не тронет. Быть может, настанет день, когда и Лидия сочтет для себя удачей создать нечто подобное. А пока будет жить ни шатко ни валко. «Ни шатко ни валко» — так отвечали в дни ее детства на вопрос о здоровье неизлечимо больного. «Эх. Ни шатко ни валко».

Но надо же, как этот подарок согрел ей душу, исподволь, с расстояния.

Сезон индейки

Джо Рэдфорду

В четырнадцать лет я устроилась на небольшую птицефабрику «Индюшкин двор», чтобы подработать к Рождеству. Ни продавщицей, ни официанткой меня не брали по малолетству; к тому я же была слишком дерганой.

Поставили меня потрошить индейку. Потрошением занимались также Лили, Марджори и Глэдис; на ощипе работали Айрин и Генри; бригадир Герб Эббот держал под контролем весь процесс и в случае необходимости мог подменить любого. Владельцем и полновластным хозяином птицефабрики был Морган Эллиотт. Они с сыном по имени Морджи взяли на себя убой птицы.

Мы с Морджи учились в одной школе. В моих глазах он был мерзким, тупым мальчишкой, и поначалу я испытывала неловкость, видя его в новой и, можно сказать, заоблачной роли хозяйского сына. Но отец гонял его хуже, чем последнего работягу: орал, по-всякому обзывался. К слову сказать, Глэдис тоже состояла в родстве с хозяином — приходилась ему сестрой. Если кто

и был на особом положении, так это она. Работала спустя рукава, могла, сказавшись больной, в любое время уйти, не церемонилась с Лили и Марджори, притом что меня еще как-то терпела. Жила она в семье Моргана: поселилась у него в доме, вернувшись из Торонто, где несколько лет служила в каком-то банке. Нынешняя работа ей претила. За ее спиной Лили и Марджори поговаривали, будто у нее случился нервный срыв. А на птицефабрику якобы ее привел Морган, чтобы отрабатывала свой хлеб. Болтали они (ничуть не смущаясь очевидным противоречием) еще и про то, что на эту работу привело ее желание оказаться поближе к одному мужчине, а именно к Гербу Эбботу.

В первые дни, ложась спать, я видела только тушки индеек — подвешенные за ноги, окоченелые, бледные и холодные, с болтающимися шеями и головами, с темными сгустками крови в глазах и ноздрях. Ждущие ощипа перья, тоже темные, окровавленные, топорщились наподобие короны. Это зрелище не вызывало у меня отвращения; оно лишь напоминало о работе, которой не видно конца и края.

Герб Эббот учил меня потрошить птицу. Кладешь индейку на рабочий стол, отсекаешь голову

мясницким ножом. Потом берешься за дряблую кожу вокруг шеи, оттягиваешь вниз и обнажаешь зоб, который крепится в разветвлении между пищеводом и трахеей.

— Пощупай камешки, — советовал мне Герб.

Он заставил меня сомкнуть пальцы вокруг зоба. А потом объяснил, как тремя пальцами скользнуть позади зоба вниз, чтобы прежде удалить сам зоб, а потом также пищевод и трахею. Шейные позвонки Герб отсек большими ножницами.

— Хрусть-хрусть, — весело приговаривал он. — Запускай пятерню.

Я подчинилась. В темном индюшачьем чреве был смертельный холод.

— Не напорись на осколки костей.

С осторожностью шуруя внутри, я должна была отделить соединительные ткани.

— Опля! — Герб перевернул птицу и согнул индюшачьи ножки. — Выше коленки, пляши, мама Браун[11]. — Взяв тяжелый тесак, он примерился к коленным суставам и отрубил ножки с лапами и когтями.

— Гляди, червяки.

---

[11] Примечания: 11

Выше коленки, пляши, мама Браун. — «Knees Up Mother Brown» — английская песня, получившая известность в среде кокни в начале XX в. Неоднократно записывалась известными исполнителями.

Перламутрово-белые жгуты, вытянутые из головешки, извивались сами по себе.

— Это просто сухожилия сокращаются. А теперь самое интересное!

Он сделал треугольный надрез вокруг клоаки, выпуская наружу зловонные газы.

— Ты у нас образованная?

Я растерялась.

— Угадай: чем пахнет?

— Сернистым водородом.

— Образованная, — вздохнул Герб. — Ладно, захватывай кишки. Аккуратно, аккуратно. Пальцы не растопыривай. Ладонями внутрь. Тыльной стороной руки веди по ребрам. Кишечник сам в ладошку ляжет. Нащупала? Тяни к себе. Рви жилы — сколько получится. Давай дальше. Чувствуешь твердый ком? Это второй желудок. Чувствуешь мягкий ком? Это сердце. Нашла? Нашла. Пальцами обхватываешь желудок. Аккуратно. Начинай тянуть вот в таком направлении. Молодец. Молодец. Выдирай.

Работа требовала большой сноровки. У меня даже не было уверенности, что я захватила именно желудок, второй или еще какой. В руке оказалось холодное месиво.

— Тяни, — скомандовал он, и я вытащила по-

блескивающую, ливероподобную массу.

— Ну вот. Это потроха. Разбираешься? Легкие. А вот сердце. Вот пупок. Вот желчный пузырь. Смотри не повреди желчный пузырь, пока не вытащила, а то всю тушку на выброс. — Герб ненавязчиво извлек то, с чем я не справилась, — в частности, семенники, похожие на пару виноградин.

— Для милого дружка — и сережку из ушка, — сказал он.

Герб Эббот был рослым и плотным. Редкие темные волосы он зачесывал от мыска назад, отчего глаза становились немного раскосыми, так что смахивал он на белокожего китайца, а то и на дьявола, каким его изображают на картинках, только гладкого и добродушного. На фабрике он мог взяться за любую работу — хоть потрошение, вот как сейчас, хоть отгрузку продукции, хоть подвешивание тушек, — и все у него выходило споро, но без суеты, ловко и весело. «Обрати внимание, — говорила Марджори, — Герб двигается так, будто под ним лодка на плаву». Она смотрела в корень: летом Герб служил коком на озерных пароходах. К Моргану он нанимался только под Рождество. А в другое время был на подхвате в бильярдной: делал гамбургеры, подметал полы,

разводил в разные стороны задиристых выпивох, чтобы не допустить мордобоя. Кстати, там он и жил — в каморке над бильярдной, на главной улице.

Казалось, не кто иной, как Герб, неусыпно следил за тем, чтобы в «Индюшкином дворе» все рабочие операции выполнялись с умом и на совесть. Завидишь его во дворе рядом с Морганом, краснолицым, крутого нрава коротышкой, — и непременно подумаешь, что хозяин тут Герб, а Морган у него наемный работник. Но нет.

Если бы не уроки Герба, я бы нипочем не научилась потрошению индейки. У меня были руки-крюки, я так часто получала выволочки за свою неуклюжесть, что малейшее раздражение со стороны любого наставника повергало меня в ступор. Я не выносила, когда за моей работой наблюдали посторонние, но Герб оказался исключением. А самыми зловредными показали себя Лили и Марджори, немолодые сестры, которые потрошили птицу ловко и тщательно, да притом наперегонки. За работой они пели и частенько разговаривали с индюшачьими тушками, не стесняясь в выражениях:

— Ишь, сучка драная, упирается!

— Ах ты, засранка!

Никогда мне не доводилось слышать такого от женщин.

Глэдис работала не быстро, но, по-видимому, добросовестно, иначе Герб не стал бы молчать. Она не пела и уж тем более не выражалась. Я считала ее очень пожилой — ну, не такой, конечно, как Лили и Марджори; ей, вероятно, было слегка за тридцать. Выглядела Глэдис так, словно обижена на весь белый свет, но делиться своими горькими раздумьями ни с кем не намерена. У меня и в мыслях не было с ней заговаривать, но как-то раз Глэдис сама обратилась ко мне в холодной, тесной помывочной возле нашего цеха. Она накладывала на лицо косметическую маску. Цвет маски настолько отличался от цвета лица Глэдис, что создавалось впечатление, словно бугристую побелку заляпали суриком.

Глэдис поинтересовалась, вьются ли у меня волосы от природы.

Я сказала, что да.

— И перманент не делаешь?

— Нет.

— Везет же некоторым. Я свои каждый вечер на бигуди накручиваю. У меня такой обмен веществ, что химия мне противопоказана.

Женщины по-разному говорят об уходе за сво-

ей внешностью. Одни намекают, что следят за собой ради успеха у мужчин, то есть ради секса. Другие, вроде Глэдис, создают впечатление, что занимаются своей внешностью, как домашним хозяйством: работа тяжелая, но результат того стоит. Глэдис была аристократкой. Мне не составляло труда представить, как она приходит на службу в банк, одетая в темно-синее форменное платье с белым пристежным воротничком, который положено ежедневно стирать и гладить. С клиентами, наверное, общалась поджав губки, но предупредительно.

В другой раз Глэдис заговорила со мной о своих месячных, обильных и болезненных. Она поинтересовалась, как это проходит у меня. На ее чопорном лице отразилось напряженное волнение. Мне на помощь пришла Айрин, которая откликнулась из туалетной кабинки: «Бери пример с меня — все проблемы как рукой снимет, хотя бы на девять месяцев». Считай, моя ровесница, на пару лет старше, Айрин недавно (с большим запозданием) вышла замуж и была уже на сносях.

Пропустив ее совет мимо ушей, Глэдис подставила руки под холодную струю. У всех у нас руки от работы стали красными и воспаленными.

— Даже не могу руки с мылом вымыть: от этого мыла у меня раздражение начинается, — посетовала Глэдис. — И свое принести не могу, потому как другие начнут пользоваться, а оно дорогое — я себе особое покупаю, антиаллергенное.

Если Марджори и Лили распускали слухи, что Глэдис имеет виды на Герба Эллиота, то, по-моему, делали это из убеждения, что одиночек нужно при каждом удобном случае подкалывать и вгонять в краску; кроме того, они сами заглядывались на Герба, а потому считали, что и другие должны иметь на него виды. Он не давал им покоя. Сестры недоумевали: как это у мужчины могут быть настолько скромные потребности? Ни жены, ни родных, ни дома. Их любопытство вызывали подробности его быта, мелкие пристрастия. Где он вырос? (Везде помаленьку.) До какого класса доучился в школе? (Ну, до какого-то.) Где его подруга? (Не скажу.) Что он больше любит: чай или кофе? (Кофе.)

Заговаривая с ним о Глэдис, они, вероятно, хотели прощупать вопрос о сексе: что ему нравится и что перепадает. Их просто снедало любопытство — и меня тоже. Он вызывал к себе интерес тем, что всегда изъяснялся уклончиво и, в отличие от других мужчин, не позволял себе скабрезных

шуточек, но в то же время не строил из себя привередника или джентльмена. Некоторые парни, будь у них возможность продемонстрировать мне семенники индюка, вели бы себя так, будто само наличие семенников — уже непристойность, способная вогнать девчонку в краску. Другие могли бы сами испытать неловкость и сделать попытку защитить от неловкости меня. Мужчина, отличный от тех и других, был, наверное, в диковинку для женщин постарше, а уж для меня — определенно. Но то, что привлекало меня, могло насторожить Марджори и Лили. Им не терпелось его растормошить. Они даже согласились бы, чтобы его растормошила Глэдис, если у той хватит духу.

В конце сороковых такие городки, как Логан, что в провинции Онтарио, пребывали в убеждении, что гомосексуализм существует где-то далеко и обособленно. Женщины и вовсе считали это явление экзотикой, ограниченной известными пределами. Да, в Логане было несколько гомосексуалистов, причем всем известных: изящный, сладкоголосый, кудрявый обойщик, называвший себя дизайнером; раскормленный, избалованный сынок вдовы проповедника, не гнушавшийся даже участием в конкурсах пиро-

гов и самолично связавший крючком скатерть; унылый церковный органист, он же учитель музыки, который держал в страхе учеников и хористов, закатывая визгливые истерики. Когда на такого мужчину был прочно навешен ярлык, все становились к нему весьма терпимы, а его способности к музыке, дизайну интерьеров, выпечке сдобы или вязанию крючком начинали цениться, особенно женщинами. «Бедняга, — говорили они. — Пусть себе, вреда от него нет». Они, похоже, искренне верили, что его ориентация определяется прежде всего интересом к выпечке или музыке, а не какими-то иными отклонениями, которые он проявляет или жаждет проявить. Желание пиликать на скрипке воспринималось как более серьезное отступление от мужественности, нежели отсутствие интереса к женщинам. Более того, в ту пору бытовало мнение, что мужественный мужчина и не должен выказывать интереса к женщинам, а если даст слабину, так его тут же захомутают, и на всю жизнь.

Не хочу мусолить вопрос, был ли Герб гомосексуалистом, — это определение для меня бессмысленно. Наверное, да, а может, и нет. (Даже в свете того, что случилось потом, я бы ответила точно так же.) Человек — не вопрос на смекалку,

допускающий произвольный ответ.

Вместе с Айрин на ощипе трудился еще один работник, наш сосед Генри Стритс. Человек неприметный, он отличался лишь тем, что было ему восемьдесят шесть лет и, по его выражению, любая работа у него в руках горела. Он приносил на фабрику термос виски и прикладывался к нему не раз и не два на протяжении всей смены. Не кто иной, как Генри, сидя у нас на кухне, както сказал мне: «Приходи работать в „Индюшкин двор“. На потрошение как раз люди требуются». Тут вмешался мой отец: «Это не для нее, Генри. Она же у нас безрукая», а Генри воспринял это как высказанный в шутливой форме запрет: уж больно грязная работа. Но я сразу решила попытать счастья; мне не терпелось проявить себя хотя бы в таком деле. Я уже начала себя стыдиться, прямо как взрослый человек, не осиливший грамоту, — настолько остро я переживала свою неуклюжесть. Все, кого я знала, на работе применяли недоступные мне навыки; работа была также мерилом, показывающим, может ли человек собой гордиться и соперничать с другими. (Излишне говорить, что те занятия, в которых я преуспевала, например учеба, вызывали настороженность, а то и явное презрение.) Поэтому я

радовалась и даже торжествовала, когда меня не выгнали и не отругали за медлительность в потрошении птицы. Производительность нашего цеха держалась на Гербе Эбботе, а он время от времени меня хвалил: «Вот умница» — или поглаживал по спине со словами: «Скоро лучшей работницей станешь… ты в этой жизни далеко пойдешь», а я, ощущая его прикосновение через толстый свитер и мокрую от пота рубашку, вспыхивала румянцем и готова была обернуться, чтобы прильнуть к его груди. Мне хотелось положить голову на его широкое, массивное плечо. Вечером, ложась спать, я терлась щекой о подушку и воображала, будто это плечо Герба.

Мне было интересно, как он разговаривает с Глэдис, как смотрит на нее, что подмечает. Этот интерес не имел ничего общего с ревностью. Думаю, мне просто хотелось какого-то развития событий. Совсем как Лили и Марджори, я дрожала в нетерпеливом ожидании. Мы все жаждали уловить в его взгляде огонек, а в голосе — жар. Не то чтобы мы желали ему стать больше похожим на других мужчин, но просто знали: чувственность у него проявится совершенно особым образом. Он был добрее и терпимее большинства женщин, а суровостью и сдержанностью не уступал

никому из мужчин. Мы хотели увидеть, как он переменится.

Если Глэдис и стремилась к тому же, то виду не подавала. Глядя на таких женщин, я не могу определить: неужели они в душе столь же толстокожи и унылы, как внешне, и только ищут повода выплеснуть презрение и досаду, или же их терзают мрачные костры и пустые страсти.

Лили и Марджори были не прочь поговорить о замужестве. Ничего хорошего они на эту тему сказать не могли, хотя полагали, что уклонение от брачных уз должно преследоваться по закону. Марджори рассказывала, как вскоре после свадьбы забилась в дровяной сарай, чтобы наглотаться крысиного яду.

— И непременно бы наглоталась, — добавила она. — Да только аккурат в это время автолавка подъехала, и мне пришлось выйти, кое-чего прикупить. Мы тогда на ферме жили.

Муж в ту пору обращался с ней очень жестоко, но позднее с ним случилась беда: он перевернулся на тракторе и от полученных травм остался калекой. Они переехали в город, и теперь хозяйкой положения оказалась Марджори.

— Тут как-то вечером разобиделся и говорит, дескать, ужин твой есть не буду. Ну, я ему запястье

стиснула и держу. Он испугался, что я ему руку выверну. Понял, что с меня станется. Я ему: «Что ты сказал?» А он сразу: «Нет-нет, ничего».

Рассказывали сестры и о своем отце. Был он человеком старой закалки. В сарае держал аркан (не в том сарае, где крысиный яд, — тот был на другой ферме, гораздо позже) и, когда дочери действовали ему на нервы, мог отходить их этим арканом и грозился на нем же повесить. Лили, младшую из сестер, трясло так, что ноги не держали. Не кто иной, как отец, отдал Марджори, когда той едва стукнуло шестнадцать, в жены своему дружку. Тот и довел ее до крысиного яда. А отец потому так поступил, что боялся, как бы она по рукам не пошла.

— Крутого нрава был, — заключила Лили.

Я в ужасе спросила:

— Но почему же вы не убежали из дому?

— Его слово было законом, — ответила Марджори.

Они еще добавили, что сегодня все беды происходят оттого, что молодежь больно много о себе понимать стала. Слово отца и должно быть законом. Своих детей обе воспитывали в строгости, и это всем на пользу шло. Когда сынишка Марджори обмочился в постели, она пригрозила

отрубить ему писюн тесаком. И недержание как рукой сняло.

Сестры утверждали, что девяносто процентов юных девушек выпивают, сквернословят и не хранят девичью честь. Им самим Господь дочек не дал, а кабы дал, так девчонкам бы не поздоровилось, попадись они с поличным. А взять Айрин, говорили они: на хоккей с парнями ходила в лыжных брюках с разрезом между штанин, а под брюками — ничего, чтоб сподручнее потом на морозе кувыркаться. Вот ужас-то.

Меня так и тянуло указать им на явные противоречия. Лили и Марджори сами выпивали и сыпали бранью; да и чем так уж замечателен отец, который обрек тебя на мучения? (До меня не доходила одна простая истина: Лили и Марджори были вполне довольны жизнью, а иначе и быть не могло, с их-то логикой, кичливостью и семейным укладом.) В то время логика взрослых зачастую приводила меня в бешенство — их было не сдвинуть с места никакими разумными доводами. Ну, как объяснить, что у этих сестер были золотые руки, способные к тонкой и умной работе (я не сомневалась, что со множеством других дел они бы справились не хуже, чем с потрошением птицы: взять хотя бы лоскутное шитье, штопку,

домашний ремонт, выпечку, проращивание семян), — и при этом такой нелепый, корявый образ мыслей, доводивший меня до белого каления?

Лили похвалилась, что никогда не подпускает к себе мужа, если тот выпивши. Марджори похвалилась, что с тех пор, как едва не окочурилась от потери крови, не подпускает к себе мужа — и точка. Лили тут же уточнила, что ее муж на трезвую голову и не делает никаких поползновений. Я понимала, что не подпускать к себе мужа — это предмет гордости, но не догадывалась, что «подпускать к себе» означало «иметь соитие». Мне и в голову не приходило, что Марджори и Лили могут рассматриваться как объекты желания. У обеих были гнилые зубы, отвислые животы, унылые, прыщавые физиономии. Выражение «не подпускать к себе» я истолковала буквально.

За две недели до Рождества «Индюшкин двор» стало лихорадить. Мне пришлось забегать в цех на час перед школой и после уроков, а также проводить там все выходные. По утрам на улицах еще горели фонари, а в небе светили звезды. «Индюшкин двор» стоял на краю заснеженного поля, отгороженного шеренгой старых сосен, которые даже в отсутствие ветра и холодов с усилием воздевали свои ветви к небу и тяжко вздыхали.

Трудно поверить, но я летела в «Индюшкин двор» (пусть только для того, чтобы отдать час своего времени потрошению птицы) с надеждой и с ощущением непостижимости тайн мироздания. Причиной тому отчасти был Герб, а отчасти — кратковременное похолодание, череда ясных морозных рассветов. Если честно, такие ощущения возникали у меня довольно часто. Я их у себя замечала, но никак не связывала с событиями реальной жизни.

Однажды утром в цехе потрошения объявился новый работник. Он был не из наших: парень лет восемнадцати-девятнадцати по имени Брайан. У меня создалось впечатление, что это, скорее всего, родственник или просто знакомый Герба Эббота. Герб приютил его у себя. Прошлым летом новичок работал на озерном пароходе. Но продолжать, по его словам, не захотел и списался на берег.

На самом деле выразился он так:

— Да ну их на фиг, эти пароходы, затрахали уже.

В «Индюшкином дворе» изъяснялись грубо и без оглядки, но это было единственное слово, которого никто и никогда не произносил вслух. У Брайана оно, судя по всему, слетело с языка не

случайно: парень явно бравировал, замыслив оскорбление и провокацию. Пожалуй, это впечатление усугубляла его внешность. От него было не оторвать глаз: медового цвета волосы, ярко-синие глаза, румяные щеки, стройная фигура — не подкопаешься. Но единственная беспощадная прихоть держала его мертвой хваткой, и оттого все его достоинства оборачивались пародией. Его слюнявый рот вечно был приоткрыт, веки полуопущены, лицо выражало похотливость, а жесты выглядели ленивыми, утрированными, призывными. Дай такому гитару и выпусти на подмостки, он бы, вероятно, извивался, стонал и ревел перед микрофоном, как положено настоящему кумиру публики. Но вне сцены он выглядел неубедительно. А по прошествии недолгого времени начинало казаться, что его назойливая похотливость сродни икоте: однообразна и бессмысленна.

Поумерь он свою спесь, Марджори и Лили, вероятно, пришли бы от него в восторг. Могли бы завести свою обычную игру: требовать, чтобы он не делал им гнусных предложений и держал руки при себе. А так сестры приговаривали, что видеть его не могут, и ничуть не кривили душой. А однажды Марджори схватилась за мясницкий нож.

— Держись подальше, — прошипела она. — И от нас с сестрой, и от этой девочки.

Держаться подальше от Глэдис она не потребовала, потому что Глэдис в тот момент на рабочем месте не оказалось, да и вряд ли Марджори встала бы грудью на ее защиту. А Брайан, как на грех, особенно донимал Глэдис. Та бросала нож, скрывалась минут на десять в помывочной и возвращалась с каменным лицом. Она уже давно не отговаривалась болезнью, чтобы, как прежде, смыться с работы пораньше. Марджори считала, что такие номера у нее больше не проходят, потому что Морган попрекает ее куском хлеба.

Глэдис мне сказала:

— Терпеть этого не могу. Ненавижу такие разговоры и такие… жесты. Меня прямо тошнит.

Я поверила. Ее лицо побелело как мел. Но почему она не пожаловалась Моргану? То ли отношения между нею и братом стали чересчур напряженными, то ли она не решалась повторить или описать увиденное и услышанное. А почему не пожаловался никто из нас — если не Моргану, то хотя бы Гербу? Об этом я не задумывалась. Брайан казался мне просто неизбежным злом, как холод в цехе, как запах крови и отбросов. Когда же Марджори и Лили надумали пожало-

ваться, то всего лишь на его лень.

С потрошением он не справлялся. Говорил, что у него слишком большие руки. Поэтому Герб стал давать ему другие поручения: подмести пол, обмыть и упаковать потрошеные тушки, помочь в отгрузке продукции. Теперь ему не приходилось торчать у всех на виду и заниматься общим делом, поэтому большую часть рабочего дня он филонил. Брался за швабру и тут же бросал, начинал протирать рабочие поверхности и убегал покурить, облокачивался на столешницу и надоедал нам своими глупостями, пока Герб не звал его на отгрузку. Герб сбился с ног — на него легла еще и доставка заказов; очевидно, ему и в самом деле было невдомек, насколько ленив Брайан.

— Не понимаю, почему Герб тебя до сих пор не уволил, — сказала Марджори. — Видать, не хочет, чтоб ты дома проедался, — к делу-то ты не приспособлен.

— Смотря к какому, — ухмыльнулся Брайан.

— Язык свой поганый прикуси, — потребовала Марджори. — Жалко мне Герба. Кого у себя пригрел?

В последний учебный день перед Рождеством нас отпустили пораньше. Я побежала домой, переоделась и к трем часам уже была на птице-

фабрике. Там никто не работал. Все топтались в нашем цехе, а Морган Эллиотт орал что есть мочи, размахивая тесаком над разделочной поверхностью. Я не поняла, в чем дело, и решила, что у кого-то в работе обнаружился серьезный брак — скорее всего, у меня. И тут я заметила Брайана: угрюмый и некрасивый, он стоял по другую сторону стола, не рискуя подойти ближе. На лице у него играло подобие все той же похотливости, но его заслоняло и перевешивало выражение бессильной злобы и даже страха. Ну вот, подумала я, Брайана все же увольняют за небрежность и лень. Даже когда я разобрала слова Моргана — «извращенец», «развратник», «маньяк», — это не навело меня ни на какие другие мысли. Марджори, Лили и даже дерзкая Айрин стояли тут же, благочестиво потупившись, как школьницы, присутствующие при экзекуции одноклассника. Только старичок Генри позволил себе осторожную ухмылку. Глэдис поблизости не было. Ближе всех к Моргану стоял Герб. Он не вмешивался, но следил глазами за тесаком. Морджи ревел белугой, хотя ему, как я поняла, не угрожала прямая опасность.

Морган орал, чтобы Брайан убирался вон.

— Прочь из города… со мной шутки плохи… не

вздумай ждать до завтра, если не хочешь, чтобы я тебе задницу раскроил! Вот отсюда! — Тесак красноречиво указал на дверь.

Устремившись к выходу, Брайан то ли нарочно, то ли случайно дразняще вильнул бедрами. От такого зрелища Морган взвыл и ринулся за ним, картинно размахивая тесаком. Брайан побежал, Морган следом, Айрин заверещала и схватилась за живот. Морган не смог далеко убежать — для этого он был слишком грузен, да и для метания тесака тоже. Герб наблюдал с порога. Очень скоро Морган вернулся и швырнул тесак на стол.

— Живо за работу! Нечего таращиться! Вам не за это деньги платят! А ты чего развопилась? — Он пристально посмотрел на Айрин.

— Я ничего, — оробела Айрин.

— Если рожать собралась — выметайся.

— Нет, нет.

— Смотри у меня!

Мы вернулись к работе. Герб снял забрызганный кровью рабочий халат, надел пиджак и ушел — видно, хотел проследить, чтобы Брайан сел на вечерний автобус. Герб не проронил ни слова. Морган с сыном вышли во двор, а Генри и Айрин вернулись в соседний цех, где ощипывали тушки, стоя по колено в перьях из-за нерадивости

Брайана.

— А Глэдис где? — вполголоса спросила я.

— Силы восстанавливает, — сказала Марджори.

Она тоже говорила тише обычного, а выражение «силы восстанавливает» было не из разряда тех, что употребляли они с сестрой. Оно было с издевкой выбрано специально для Глэдис.

Сестры не желали рассказывать, что произошло, опасаясь возвращения Моргана и неминуемого увольнения за сплетни. Хорошие работницы, они все равно этого боялись. А кроме того, они ничего и не видели. И наверное, злились, что не сумели подглядеть. Мне удалось вытянуть из них лишь то, что Брайан, подкараулив Глэдис при выходе из помывочной, то ли сделал, то ли показал ей нечто такое, от чего она взвизгнула и закатила истерику.

Теперь у нее, видать, снова нервишки сдадут, сказали они. А этот из города уберется. Скатертью дорожка обоим.

У меня сохранилась фотография, сделанная в «Индюшкином дворе» в сочельник. Снимали камерой со вспышкой — кто-то позволил себе такую дорогущую штуку в честь скорого Рождества. Думаю, Айрин. А фотографировал, по всей

вероятности, Герб Эббот. Ему не страшно было доверить любое новшество — он либо знал, как им пользоваться, либо схватывал на лету, а камеры со вспышкой появились совсем недавно. Снимок сделали часов в десять вечера, когда Герб и Морджи доставили клиентам последний заказ, а мы уже вымыли столешницы и отдраили щетками и ветошью бетонный пол. Вслед за тем, сняв задрызганные кровью халаты и толстые свитера, все переместились в каморку под названием «закусочная», где были стол и обогреватель. Конечно, мы оставались в рабочей одежде: в комбинезонах и рубашках. Мужчины — в кепках, женщины — в повязанных на манер военного времени косынках. Я на этом снимке получилась радостной и приветливой толстушкой — сейчас узнаю себя с трудом: не помню, чтобы я такой была или притворялась; нипочем не скажешь, что мне всего четырнадцать. Айрин, единственная из всех, сняла косынку, распустив длинные рыжие волосы. Она выглядывает из-за этой гривы с кротким, доступным, зазывным видом, который, возможно, соответствовал ее репутации, но, по моим воспоминаниям, не имел ничего общего с действительностью. Да, фотокамера принадлежала ей: Айрин позирует старательней, чем другие.

Марджори и Лили, как положено, улыбаются в объектив, но улыбки у них кислые и натянутые. В косынках, скрывающих волосы, да еще с такими фигурами, в бесформенной спецодежде, они смахивают на разбитных, но запальчивых мастеровых. Даже косынки смотрятся на них нелепо: кепки подошли бы лучше. Генри в прекрасном расположении духа, счастлив, что работает в бригаде, улыбается и выглядит лет на двадцать моложе своего возраста. Следующий — Морджи с видом побитой собачонки, не проникшийся радостью момента, и, наконец, Морган: краснолицый, важный и довольный. Только что каждый из нас получил от него премию: индейку. У всех этих тушек не хватает ноги или крылышка, да к тому же у некоторых заметно какое-нибудь уродство, так что вид не товарный, за полную стоимость такое не продать. Но Морган долго нас убеждал, что именно у бракованной птицы зачастую бывает самое нежное мясо, и показал, что сам несет домой именно такую.

У каждого из нас в руках кружка или большая, грубая фаянсовая чашка, в которой вовсе не чай, а виски. Морган и Генри прикладывались с обеда. Лили и Марджори попросили совсем капельку, только сочельник отметить, да и потом, они с

утра на ногах. Айрин говорит, что у нее тоже ноги зудят, но ей можно и не капельку. Герб плеснул щедрую порцию не только себе, но и обеим сестрам, и те не возражают. Нам с Морджи он налил совсем чуть-чуть да еще разбавил кока-колой. Я впервые в жизни пробую алкоголь; в результате у меня складывается стойкое убеждение, что ржаной виски с кока-колой — это стандартный напиток, который я потом заказывала для себя много лет, пока не заметила, что другим он нисколько не интересен, а меня от него тошнит. Правда, в тот раз меня не затошнило: Герб знал меру. Если бы не странный привкус и ощущение особенной значимости, я бы сказала, что пью кока-колу.

Мне не нужно видеть на снимке Герба, чтобы вспомнить, как он выглядел. Если, конечно, он выглядел как обычно, именно так, как на работе в «Индюшкином дворе» или во время наших редких встреч на улице, то есть во всех случаях, кроме одного.

Он был сам не свой, когда Морган напустился на Брайана, и после, когда Брайан бежал по дороге. Что в нем изменилось? Пытаюсь вспомнить, ведь я не сводила с него глаз. Разница была невелика. Лицо как-то смягчилось и отяжелело; если

бы от меня потребовалось точное описание, я бы сказала, что лицо Герба исказилось стыдом. Но за что ему могло быть стыдно? За Брайана с его выходками? Не поздновато ли — разве Брайан хоть когда-нибудь вел себя иначе? За Моргана, который лютовал, как в фарсе? Или за себя, который славился умением пресекать любые стычки, а тут спасовал? Или за то, что он не вступился за Брайана? Но рассчитывал ли хоть кто-нибудь из нас, что Герб кинется его защищать?

Меня и в то время мучили эти вопросы. Впоследствии, получше узнав жизнь или по крайней мере ее интимную сторону, я решила, что Брайан с Гербом все же были любовниками, а Глэдис претендовала на внимание Герба, потому-то Брайан и решил ее проучить — возможно даже, при попустительстве и с молчаливого согласия Герба. Неужели правда, что такие люди, как Герб, достойные, сдержанные, уважаемые люди, зачастую выбирают для себя таких, как Брайан, и растрачивают свою беспомощную любовь на какое-нибудь злобное, глупое ничтожество, которое даже не назовешь исчадьем ада или чудовищем, а скажешь — назойливая муха? Я пришла к выводу, что Герб, мягкий и заботливый, на самом деле решил нам отомстить руками Брайна, отомстить

не только Глэдис, но всем нам, и лицо его — а я не сводила с него глаз — выражало первобытное злорадное презрение. Но и стыд тоже, стыд за Брайана, и за себя, и за Глэдис, и в какой-то мере за каждую из нас. Стыд за каждую из нас, но это пришло мне в голову не сразу.

А еще позже я отмела и этот вывод. Я дошла до того этапа, на котором отметаются все выводы, не основанные на знании. Сейчас мне достаточно вспоминать лицо Герба, исказившееся тем особым выражением; достаточно вспоминать, как паясничал Брайан в тени достоинства Герба, как я сама сверлила Герба изумленным взглядом, надеясь, если получится, поймать его на удочку, а потом съехаться с ним и остаться рядом. Какой же привлекательной, какой манящей видится перспектива близости с тем, кто непременно откажет. Для меня до сих пор не утратили притягательности мужчины такого типа, от которых многого ждешь, а потом неизбежно упираешься в глухую стену. Мне до сих пор хочется кое-что для себя уяснить. Не факты, нет. И не теории.

А тогда, после некоторых раздумий, у меня возникло желание что-нибудь сказать Гербу. Подсев к нему, пока общая беседа еще не заглушала слов, я улучила момент, когда он не говорил сам и не

слушал другого.

— Жаль, что вашему другу пришлось уехать.

— Ничего страшного.

Герб ответил с добродушной насмешкой, которая отбила у меня всякую охоту соваться в его личную жизнь. Он видел меня насквозь. Наверняка он не был обделен женским вниманием. И умел ставить заслон.

Лили еще немного подпила и стала рассказывать, как они с лучшей подругой (та давно от печени померла) однажды переоделись мужиками и отправились в пивную, чтобы проникнуть на мужскую половину, за дверь с надписью «Только для мужчин», — хотели поглядеть, как там и что. Сели в уголке, по сторонам зыркают, ушки на макушке — никто ничего не заподозрил, да только вскоре возникла небольшая загвоздка.

— Куда, спрашивается, нам было по нужде сходить? Пойдешь на другую половину и прямиком в женскую уборную — мало не покажется. Пойдешь в мужскую — кто-нибудь, неровен час, заметит, что мы не так оправляемся. Но пиво-то наружу просится, черт бы его подрал!

— Чего только по молодости лет не бывает! — сказала Марджори.

Тут нам с Морджи со всех сторон начали давать

советы. Говорили, чтобы мы своего не упускали, пока молоды. Говорили, чтобы держались от греха подальше. Говорили, что все когда-то были молоды. А Герб сказал, что мы тут здорово сработались и потрудились на славу, но он рискует навлечь на себя гнев мужей, если сейчас же не отправит женщин по домам. Марджори и Лили выразили равнодушие к мнениям своих мужей; Айрин заявила, что она-то своего любит и пусть никто не верит, будто его на аркане приволокли из Детройта, чтоб на ней женить, — это просто злые языки болтают. Генри сказал: покуда силы есть — живи да радуйся. Морган с чувством пожелал всем счастливого Рождества.

Когда мы вышли из «Индюшкина двора», на улице валил снег. Точь-в-точь рождественская открытка, заметила Лили, и впрямь: вокруг уличных фонарей и цветных гирлянд, которыми жители украсили дома, плясали снежинки. Морган усадил в свой грузовик Генри и Айрин, чтобы развезти их по домам и тем самым уважить возраст первого и беременность второй, а также близкое Рождество. Морджи побрел напрямик через поле, а Герб зашагал по дороге, склонив голову, сунув руки в карманы и слегка раскачиваясь, будто под ногами у него была палуба

озерного парохода. Тогда мы с Марджори и Лили, как давние приятельницы, взялись под руки.

— Душа песен просит, — сказала Лили. — Что споем?

— Может, «Мы, три короля»? — подсказала Марджори. — «Мы, три потрошительницы»?

— «Мечтаю я о снежном Рождестве».

— А чего о нем мечтать? Вот же оно!

И мы запели.

Катастрофа

Декабрьским днем Франсес медлит у окна второго этажа средней школы в Ханратти. Идет 1943 год. Одета Франсес по последней моде: темная клетчатая юбка, на плечах — такая же, только окаймленная бахромой шаль с убранными за поясок юбки углами; атласная блуза кремового цвета — из настоящего атласа, материала на грани исчезновения — со множеством перламутровых пуговок спереди и на манжетах. Поначалу, когда Франсес только-только пришла в эту школу музыкальным руководителем, она так не одевалась: тогда мог сгодиться старый свитер с юбкой. Перемены не остались незамеченными.

На втором этаже у нее нет никаких дел. Ее хор поет внизу. Готовя девочек к рождественскому концерту, она не давала им спуску. Вначале — самый трудный номер — «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое»[12]. Потом идут «Хорал

---

[12] Примечания: 12

«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое» — хорал из пятой сцены оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия» (1741).

гуронов»[13] (кто-то из родителей настрочил жалобу: хорал, по его разумению, сочинил католик), «Сердца дуба»[14] (потому что требовалось что-нибудь патриотическое, в духе времени) и «Пустынная песня»[15] — выбор учениц. Сейчас они поют «Священный город»[16]. Да, это любимая песня, как у фигуристых мечтательных девочек, так и у дамочек из церковного хора. Школьницы иногда доводили Франсес до белого каления. То закрой им все окна, то открой. То им сквозняк, то дурно от жары. Они с нежностью относились к своим телам, двигались в сумрачном трансе самолюбования, прислушивались к сердечному трепету, обсуждали свои страдания. Первые шаги на пути превращения в женщин. А дальше что? Пышные груди и зады, глупая заносчивость,

---

[13] Примечания: 13

«Хорал гуронов» — старейшая канадская рождественская песня, написанная предположительно в 1642 г. французским миссионером Жаном де Бребефом. Хорал написан на ныне мертвом языке гуронов — североамериканского племени, проживавшего в том числе и на территории современной Канады.

[14] Примечания: 14

«Сердца дуба» — официальный марш Королевского военно-морского флота Великобритании, Канады и Новой Зеландии, написанный в XVIII в. известным британским актером Дэвидом Гарриком на музыку композитора Уильяма Бойса.

[15] Примечания: 15

«Пустынная песня» — песня из одноименного мюзикла Карла Ромберга на либретто Оскара Хаммерстайна II, Отто Харбаха и Фрэнка

Манделя. Мюзикл был впервые поставлен на Бродвее в 1926 г. и неоднократно экранизировался (1929, 1943, 1953), в том числе для телевидения (1955).

[16] Примечания: 16

«Священный город» — религиозная песня конца XIX — начала XX в. Упоминается в романе Джеймса Джойса «Улисс».

молочно-восковая спелость, сонливость, упрямство. Запах корсетов, тошнотворные откровения. Жертвенные физиономии в хоре. Все это — унылая замена эротики. *Он ведет меня, говорит со мной и называет Своей.*[17]

Она оставила их без присмотра, сделав вид, что идет в учительский туалет. Но там она только щелкает выключателем и с облегчением смотрит на свое лишенное восторженности, лишенное припухлостей лицо, удлиненное, эффектное лицо с довольно крупным носом и ясными карими глазами, обрамленное короткими темно-бронзовыми, бесконтрольно вьющимися волосами. Франсес нравится, как она выглядит, и обычно она с радостью смотрится в зеркало. Большинство женщин, по крайней мере в книгах, похоже, недооценивают собственную внешность, не видят своей красоты. Франсес допускает, что у нее проблема обратного свойства. Не считая себя красавицей, она находит, что лицо у нее интересное, оно поднимает ей настроение. Иногда она вспоминает девушку из консерватории — скрипачку Натали как-то там. Франсес с неудовольствием узнала, что ее иногда путают с этой Натали —

[17] Примечания: 17

Он ведет меня, говорит со мной и называет Своей. — Строки из христианского гимна «В саду», написанного в 1912 г. Остином Майлсом.

бледной, кучерявой, скуластой; еще сильнее она удивилась, когда через друзей-приятелей до нее дошли слухи, что Натали из-за этого переживает так же сильно. И когда Франсес разорвала помолвку с Полом, тоже студентом консерватории, тот высказался грубо и категорично, забыв о своей непременной сентиментальной обходительности:

— Рассчитываешь найти кого-нибудь получше? Тоже мне королева красоты.

Она выключает свет и вместо того, чтобы вернуться в зал, идет наверх. Зимой, особенно по утрам, в школе бывает тоскливо: холодина, все дрожат и зевают, а живущие за городом ученики, которые встают затемно, трут глаза, разгоняя остатки сна. Но к этому времени — к середине дня — в здании воцаряется приятный убаюкивающий гул; темная деревянная обшивка стен впитывает в себя свет, в безмолвных гардеробах, заставленных ботинками, коньками и хоккейными клюшками, сушатся шерстяные пальто и шарфы. Сквозь открытые фрамуги долетают методичные учительские наставления, диктант по французскому, непреложные истины. А на фоне общего согласия и порядка у тебя внутри возникает знакомая тяжесть, некое томление, а

то и дурное предчувствие; какой-то сгусток, сродни тому, что создается музыкой или природой: он рвется наружу, грозит лопнуть и обнажить свою суть, но в конце концов растворяется и пропадает.

Франсес топчется прямо напротив кабинета естествознания. Фрамуга и здесь открыта, поэтому в коридоре слышно, как звякают пробирки, ведутся приглушенные разговоры, отодвигаются стулья. По всей вероятности, его ученики ставят опыты. Как ни абсурдно, она со смущением отмечает, что у нее потеют ладони и бешено колотится сердце — прямо как перед экзаменом по фортепиано или сольным выступлением. Это ощущение критической точки, близкой возможности триумфа или провала, которое Франсес всегда умела внушать и себе, и другим, сейчас кажется надуманным, глупым, искусственным. Неужели это относится и к ее роману с Тедом Маккавалой? Она не настолько оторвалась от реальности, чтобы не понимать, какой глупостью это выглядит со стороны. Ну и пускай. Если под глупостью подразумевается риск и безрассудство, ее это не волнует. Наверное, ей всегда хотелось риска.

Впрочем, порой закрадывается подозрение,

что и любовная история может обернуться… нет, не фальшивкой, но какой-то просчитанной, надуманной инсценировкой, как эти дурацкие выступления — шаткие конструкции. Нет, это слишком уж рискованная мысль; Франсес задвигает ее подальше.

Голос какой-то ученицы, недоуменный и капризный (вот вам еще одно свойство девочек: чего-то не понимая, они начинают капризничать; презрительное бурчание мальчишек и то лучше). Низкий голос Теда отвечает, поясняет. Из коридора слов не разобрать. Можно лишь вообразить, как он внимательно склоняется над партой и совершает какое-то незамысловатое действие, например убавляет пламя в газовой горелке. Франсес с готовностью представляет его в образе человека ответственного, терпеливого, собранного. Но для нее не секрет (слухи дошли), что на уроках он совсем не такой, каким выступает перед ней и остальными. О своей работе и учениках он отзывается пренебрежительно. Если спросить, какими средствами он предпочитает поддерживать дисциплину, ответ будет примерно такой: «Да как сказать… одному подзатыльник дашь, другому шлепок пониже спины»… Но зато он умеет привлечь внимание класса разными

трюками и хитростями: использует реквизит — шутовские колпаки для неуспевающих, забавные свистульки; из любой детской глупости разыгрывает целый спектакль, а однажды сжег в раковине одну за другой все контрольные работы. «Совсем ку-ку!» — Франсес своими ушами слышала, как о нем отзываются ученики. Ей это неприятно. Наверняка о ней говорят точно так же; когда хор фальшивит, она и сама подчас не гнушается драматическими эффектами: запускает пальцы в волосы и страдальчески повторяет «нет-нет-нет-нет». Но ему лучше бы воздержаться от экстравагантных выходок. Порой она вся съеживается, когда другие заводят о нем разговоры. Он такой доброжелательный, говорят коллеги, но Франсес слышится в этом и недоумение, и насмешка: зачем так уж выкладываться? Она и сама недоумевает, зная его отношение к этому городу и горожанам. Конечно, с его слов.

Дверь открывается, и Франсес вздрагивает. Меньше всего ей хочется, чтобы Тед застукал ее под дверью, как сплетницу или шпионку. Но это, слава богу, не Тед, это секретарь директора школы, пухлая серьезная женщина, которая пришла сюда работать сто лет назад — когда Франсес сама была школьницей, а то и раньше. Она безраздель-

но предана школе и толкованию Библии, которое преподает в Объединенной церкви[18].

— Привет, дорогуша. Подышать вышла?

Окно, конечно же, закрыто и даже заклеено. Но Франсес изображает комическое согласие и говорит: «Прогуливаю» — тем самым признавая, что должна быть на уроке; секретарша преспокойно идет вниз, а до Франсес долетает ее добродушный голос:

— Хор у тебя сегодня чудесно поет. До чего же я люблю рождественскую музыку.

Франсес возвращается в музыкальный зал, садится на стол и улыбается поющим лицам. Они разобрались со «Священным городом» и сами перешли к «Вестминстерскому хоралу». Да, вид у них глупый, но что поделать? Пение вообще глупое занятие. Ей невдомек, что они отметят про себя ее улыбку и потом будут сплетничать в полной уверенности, что она выбегала в коридор повидаться с Тедом. Полагая, что их роман остается тайной, Франсес с головой выдает полное отсутствие чутья, присущего жителям провинциальных городков, а также свою наивность и

---

[18] Примечания: 18

Объединенная церковь — канадская протестантская церковь. По количеству последователей занимает в Канаде второе место после католической.

беспечность, о которых даже не подозревает; именно эти ее качества люди имеют в виду, когда говорят: сразу видно — отрезанный ломоть. Отсутствовала она всего четыре года — пока училась в консерватории; но суть в том, что ей всегда недоставало осмотрительности. Высокая, хрупкая, узкоплечая, для провинциалки она слишком порывиста в движениях, слишком деловита, слишком тонкоголоса, слишком ненаблюдательна — считает, что другие не замечают, как она бегает по городу, навьюченная нотными тетрадями, как выкрикивает через дорогу разные подробности своих изменчивых и, на посторонний взгляд, неосуществимых планов.

Передай Бонни — пусть приходит не раньше половины четвертого!

Ключи взяла? Я их забыла в кабинете!

Те же самые качества проявлялись у нее и в детстве, когда она решила во что бы то ни стало научиться играть на пианино, хотя в квартирке над скобяной лавкой, где жили они с овдовевшей матерью и братом, инструмента не было (мать работала за гроши в той самой скобяной лавке). Они кое-как наскребали тридцать пять центов в неделю, но фортепиано она видела только учительское. Дома ей для упражнений нарисовали

клавиатуру на подоконнике. Был композитор — Гендель, кажется? — который осваивал клавесин, запершись на чердаке, чтобы отец не заподозрил у него страсть к музыке. (Как он затащил туда клавесин — вот это интересный вопрос.) Если бы Франсес прославилась как пианистка, клавиатура на подоконнике, с которого видно тупик и крышу стадиона для керлинга, тоже вошла бы в историю.

— Не думай, что у тебя талант, — сказал ей все тот же Пол. — У тебя его нет.

Могла ли она с этим согласиться? Будущее, по ее мнению, уготовило ей нечто выдающееся. Отчетливых мыслей на сей счет у нее не было, хотя держалась она так, будто ни минуты в этом не сомневалась. По возвращении в родной город Франсес начала преподавать. По понедельникам — в средней школе, по средам — в гимназии, по вторникам и четвергам — в маленьких школах за городом. Суббота отводилась занятиям на органе и частным урокам, а по воскресеньям она играла в Объединенной церкви.

«Пока еще болтаюсь по этой великой культурной столице», — писала она в рождественских открытках друзьям из консерватории, намекая, что после смерти матери получит свободу и

начнет совсем другую, смутно представляемую, но куда более приятную жизнь, которая все еще маячила впереди. В ответ она получала весточки, написанные с тем же смущенным недоверием. «Родился второй ребенок. К пеленкам, как ты понимаешь, прикасаюсь чаще, чем к роялю». Им всем было чуть за тридцать. В этом возрасте порой трудно признать, что то, как ты живешь, — это и есть твоя жизнь.

На улице ветер гнет деревья; их тут же заметает снегом. Налетела небольшая пурга, но в здешних местах такое даже не замечают. На подоконнике стоит жестяная чернильница с длинным горлышком — знакомый предмет, который напоминает Франсес «Тысячу и одну ночь» или что-то в этом духе; нечто, скрывающее в себе посулы или даже гарантии неизведанности, мистики, очарования.

— Привет, как дела? — сказал ей Тед, когда они после четырех встретились в коридоре. А потом, чуть потише, добавил: — Лаборантская. Скоро подойду.

— Хорошо, — ответила Франсес. — *Хорошо*.

Она вернулась в музыкальный класс, чтобы убрать ноты и закрыть пианино. Стала копаться и тянуть время, чтобы разошлись все ученики, а потом побежала наверх, в кабинет естествознания,

при котором имелось просторное помещение без окон, служившее Теду лаборантской. Он еще не пришел.

Это была, скорее, кладовая, со стеллажами по периметру, на которых стояли склянки с реактивами (сульфат меди был единственным, который Франсес узнала бы и без этикетки, просто по великолепному цвету), горелки, колбы, пробирки; в том же помещении хранились человеческий и кошачий скелеты, заспиртованные органы, а может, и организмы — Франсес не хотела приглядываться, тем более в потемках.

Она боялась, что туда зайдет уборщик, а то и стайка учеников, работающих под руководством Теда над каким-нибудь проектом, для которого требуется плесень или лягушачья икра (впрочем, для икры сейчас не сезон). Вдруг они прибегут что-нибудь проверить? От стука шагов у нее зашлось сердце; Франсес уже поняла, что это Тед, а сердце все равно не успокоилось — оно как бы переключило передачу и теперь колотилось не от страха, а от сильного, неудержимого томления, с которым, при всей его пленительности, физически было так же сложно справиться, как со страхом; казалось, от этого томления недолго задохнуться.

Тут она услышала, как он запер дверь.

Франсес, как всегда, увидела два облика, причем в одно мгновение — как только Тед появился на пороге лаборантской и тут же притворил дверь, почти перекрыв доступ свету. Прежде всего она увидела его таким, как год назад, когда они еще были совсем чужими. Тед Маккавала, учитель естествознания, освобожденный от военного призыва, хоть и моложе сорока; женат, трое детей; наверное, шумы в сердце или что-то в этом роде; вид усталый. Высокий смуглый брюнет, чуть сутулый, на лице вечная насмешка, в глазах одновременно изможденность и огонек. А Тед, возможно, так же оценивающе смотрел на нее: стоит нерешительная, настороженная, в руках пальто и сапожки, которые она не решилась оставить в учительском гардеробе. Существовала ничтожная вероятность, что они оба не смогут перестроиться, посмотреть друг на друга иначе; что внутри не щелкнет какой-то переключатель, что им не выпадет этот дар; но в таком случае, что их сюда привело?

Когда он притворял дверь, она увидела и другой облик: щеки, очертания скул, великолепный, изящный, чуть азиатский разрез глаз; в ее представлении, дверь закрылась исподтишка,

беспощадно, и Франсес поняла, что переключатель не мог не щелкнуть — он уже щелкнул.

Потом — как обычно. Лизнуть, стиснуть; два языка, два тела; раздразнить, сделать больно, утешить. Побудить, прислушаться. Раньше, когда она еще была с Полом, ее не покидали сомнения: а вдруг это все обман, как новый наряд короля, вдруг это притворство — они-то с Полом точно притворялись. У них все получалось донельзя виновато, смущенно, неловко; а хуже всего были натужные стоны, нежности и заверения. Но нет, теперь это не обман, это взаправду, это выше всего остального, и признаки того, что это случится, — глаза в глаза, мурашки по спине, всякие первобытные глупости — тоже взаправду.

— Многие про такое знают? — спросила она у Теда.

— Да нет, человек, наверное, десять.

— Думаю, это не привьется.

— Пожалуй. В массы не пойдет.

Между стеллажами было не повернуться. Того и гляди смахнешь что-нибудь бьющееся. Почему она не догадалась хотя бы положить сапожки и пальто? Если честно — потому, что не ожидала таких страстных, таких целенаправленных объятий. Она думала, он хочет ей что-то сказать.

Тед немного приоткрыл дверь, чтобы впустить в каморку свет. Принял у нее сапожки и выставил за порог. Потом взял ее пальто. Но не стал вешать снаружи, а расстелил на голых половицах. Прошлой весной он впервые у нее на глазах сделал нечто подобное. В стылом, еще не зазеленевшем лесу он снял флисовую куртку и неловко разложил ее на земле. Франсес тронула эта простая забота: то, как он расправил и примял куртку, безо всяких вопросов, сомнений и суеты. До того момента Франсес не могла с уверенностью сказать, что будет дальше. Уж очень у него был нежный, стойкий и обреченный вид. На нее нахлынули эти воспоминания, когда он, стоя на коленях в этой тесноте, расстилал пальто. Но в то же время ей подумалось: если он хочет заняться этим сейчас, значит не сможет прийти в среду? В среду вечером они регулярно встречались в церкви, когда Франсес заканчивала репетиции с хором. Она продолжала упражняться на органе, дожидаясь, когда все разойдутся. А около одиннадцати спускалась по лестнице, выключала свет и поджидала его у черного хода, откуда можно было попасть в воскресную школу. Они придумали такую схему, когда стало холодать. Что он говорил жене, она не имела представления.

— Снимай все.

— Тут нельзя, — сказала Франсес, хотя уже знала, что этого не миновать. Они всегда раздевались полностью, даже в тот первый раз в лесу; могла ли она подумать, что окажется столь нечувствительной к холоду?

Здесь, в школе, это было у них только один раз — в этой же комнатушке, во время летних каникул, когда стемнело. Тогда все деревянные поверхности в кабинете естествознания оказались свежевыкрашенными, но повесить предупредительные надписи никто не подумал — да и зачем, никаких заходов туда не планировалось. Запах шибал в нос, но они учуяли его не сразу. Им удалось кое-как примоститься в лаборантской, высунув ноги за порог; оба они перепачкались о дверной косяк. К счастью, в тот вечер Тед надел шорты (редкое по тем временам зрелище у них в городке) и дома сказал Грете правду: что запачкался, когда по делам зашел в кабинет; по крайней мере, ему не пришлось объяснять, почему он оказался там с голыми ногами. Франсес не пришлось объяснять вообще ничего, потому что ее мать уже мало что замечала. Не смывая пятно в форме полумесяца (которое было чуть выше лодыжки), Франсес дала ему

потускнеть и в конце концов исчезнуть, но до той поры ей нравилось его разглядывать и знать, что оно там есть, — точно так же, как ей нравились темные гематомы и засосы на предплечьях и плечах, которые она могла прикрыть рукавами, но не всегда это делала. И когда ее спрашивали: «Откуда такой ужасный синяк?» — она отвечала: «Ой, даже не знаю! У меня они постоянно. Как на себя ни посмотрю, вечно синяк найду!»

Невестка Франсес, Аделаида, жена брата, единственная понимала, что это за синяки, и не упускала возможности ее поддеть.

— Ого, опять гуляла со своим котом. Гуляла, да? Гуляла, скажи? — смеялась она и порой дотрагивалась до следа пальцем.

Франсес поделилась только с Аделаидой. Тед клялся, что держит язык за зубами, и она ему верила. О том, что она открылась Аделаиде, он не знал. Франсес и сама пожалела. Не так уж она была близка с Аделаидой, чтобы доверять ей свои тайны. Причины были низменными, постыдными; ей просто хотелось перед кем-нибудь похвалиться. Когда Аделаида резко, ядовито, возбужденно и с неосознанной завистью произносила «кот», Франсес испытывала удовлетворение, радость, но, конечно, и стыд. Узнай она, что Тед точно так

же поделился с кем-то из своих, ее злости не было бы границ.

В тот вечер, когда они перепачкались краской, стояла такая жара, что весь город захандрил и поник в ожидании дождя, который пришел за полночь, с грозой. Вспоминая ту встречу, Франсес всегда представляла себе молнию — безумную, сокрушительную, мучительную похоть. Каждое их свидание она вспоминала по отдельности, мысленно переживая заново все подробности. С каждым был связан отдельный код, особый настрой. Знаками первого свидания в лаборантской стали молния и невысохшая краска. Свидание в машине под дневным дождем было томным, размеренным, да и сами они погрузились в такую блаженную истому, что, казалось, даже не найдут в себе сил продолжать. С тем свиданием связано ощущение мягких изгибов; его навеяли потоки дождевой воды, струившиеся по лобовому стеклу, как волнистые занавески.

Когда они начали постоянно встречаться в церкви, схема особо не менялась — каждый раз все совершалось примерно одинаково.

— Все, — уверенно повторил Тед. — Давай.

— А уборщик?

— Не волнуйся. Он больше не появится.

— Откуда ты знаешь?

— Я попросил его закончить пораньше, чтобы я мог поработать.

— Поработать, — хихикнула она, сражаясь в этой тесноте с блузкой и бюстгальтером: Тед расстегнул пуговицы у нее на груди, но оставалось еще по шесть на манжетах.

Ей приятно было думать, что он все спланировал заранее, нравилось представлять, как нарастало в нем это неукротимое желание, пока он вел уроки. А с другой стороны, все это ей совсем не нравилось; и хихикала она лишь для того, чтобы заглушить смятение или расстройство, которое не хотела слышать. Она целовала прямую линию волос, которая, как стебель, поднималась у него по животу, от грядки лобка до пышных, симметричных зарослей на груди. С его телом, несмотря ни на что, Франсес крепко сдружилась. Полюбила темную плоскую родинку в форме слезы, наверное лучше знакомую ей (и Грете?), чем ему самому. Аккуратный пупок, длинный шрам после язвы желудка, шрам после аппендицита. Жесткие лобковые завитки и бодрый, румяный пенис, прямостоячий, неутомимый трудяга. Короткие упрямые волоски у нее во рту.

И тут раздался стук в дверь.

— Тс-с-с. Все нормально. Сейчас уйдут.

— Мистер Маккавала!

Секретарша.

— Тс-с-с. Она уйдет.

Женщина топталась в коридоре, не понимая, как быть. Она не сомневалась, что Тед у себя в кабинете и Франсес с ним. Как и почти весь городок, она знала о них не первый день. (Среди тех немногих, кто, похоже, оставался в неведении, были жена Теда и мать Франсес. Грета вела себя настолько нелюдимо, что ей так никто и не насплетничал. Многие разными способами пытались просветить старую миссис Райт, но та не реагировала.)

— Мистер Маккавала!

На глазах у Франсес неутомимый трудяга побледнел, обмяк и приобрел совсем жалкий одинокий вид.

— Мистер Маккавала! Беда! Ваш сын погиб!

Бобби, двенадцатилетний сын Теда, не погиб, но секретарша этого не знала. Ей сообщили, что у почты произошла авария, жуткая катастрофа, в которой погибли двое мальчиков: О'Хэйр и Маккавала.

В действительности Бобби получил серьезные

травмы, и его тотчас же отправили в Лондон[19] на машине «скорой помощи». Из-за снежных заносов транспортировка заняла почти четыре часа. Тед и Грета следовали за «скорой» на своем автомобиле.

Они сидели в приемной больницы Королевы Виктории. Старую королеву, ворчливую вдову, Тед узнал в мозаичном витраже. Как святая — но весьма сомнительная. Может составить конкуренцию, подумал он, гипсовому Иосифу, который стоял, раскинув руки, в другой больнице и разве что на тебя не падал. Оба хороши. Тед решил непременно поделиться этими наблюдениями с Франсес. Когда его что-то веселило или злило — зачастую одновременно, — он думал, что надо рассказать Франсес. Наверное, ему требовалось излить душу, как другие изливают душу, строча письма в редакцию.

Он подумывал ей позвонить — не сейчас и не для того, чтобы обсудить королеву Викторию, а чтобы рассказать о катастрофе и сообщить, что он в Лондоне. Кстати, он ее не предупредил, что не сможет прийти в среду. Отложил на потом. На потом. Сейчас это потеряло смысл. Все измени-

---

[19] Примечания: 19
Лондон — город в юго-западной части провинции Онтарио.

лось. Да и позвонить отсюда он не мог: телефоны стояли у всех на виду.

Грета сказала, что видела кафетерий, точнее, указатель. Шел десятый час, а они еще не ужинали.

— Нужно есть, — сказала Грета, но не обращаясь к Теду, а просто извлекая на свет один из своих жизненных принципов.

Наверное, в этот миг ей было бы легче перейти на финский. Но с Тедом она по-фински не разговаривала. Он знал всего лишь несколько слов, потому что его родители настаивали на английском. А родители Греты — наоборот. В Ханратти ей не с кем было говорить по-фински; для нее это стало серьезной преградой. Их счета за телефон переходили границы разумного, но Тед, по собственному убеждению, не мог запрещать жене долгие, унылые, но вроде бы ободряющие ее разговоры с матерью и сестрами.

Они взяли кофе и сэндвичи с ветчиной и сыром. Грета захотела еще кусок пирога с изюмом. Рука ее зависла над подносом: видимо, Грета не могла выбрать, с какой начинкой. А может, просто стеснялась есть пирог в такой момент, да еще и на глазах у мужа. Когда они садились за столик, Тед подумал, что сейчас самое время извиниться,

дойти до телефона, позвонить Франсес.

Грета ела истово и, вероятно, с надеждой, а он смотрел на ее тяжеловесное белое лицо с блеклыми глазами. Она ела, чтобы унять панику; Тед с этой же целью размышлял о святом Иосифе и королеве Виктории. Он совсем уже было собрался извиниться и встать, но тут из ниоткуда возникла мысль, что в его отсутствие их сын умрет. А если не звонить Франсес и даже не думать о ней, если вычеркнуть ее из своей жизни, то можно повысить шансы Бобби, отогнать от него смерть. Какие потоки бредовых фантазий, какие предрассудки обрушились на него, когда он меньше всего этого ожидал. Но прекратить их, выбросить из головы не было никакой возможности. Что еще его осенит — какой-нибудь бессмысленный торг? Уверуй в Бога, в лютеранского Бога, поклянись вернуться в лоно церкви, прямо сейчас, *немедленно*, — и Бобби не умрет. Откажись от Франсес, откажись навсегда — и Бобби не умрет.

Откажись от Франсес.

До чего же это было глупо и несправедливо, но зато как просто: на одной чаше весов — развратная Франсес, на другой — его страдающий сын, бедный, израненный ребенок, чьи глаза, открывшиеся только единожды, выражали его

замутненный вопрос, его желание продолжить свою двенадцатилетнюю жизнь. Невинность и порок; Бобби; Франсес; какое упрощение; какой бред. Какой чудовищный бред.

Бобби умер. Сломанные ребра проткнули ему легкое. Для врачей самой большой загадкой было, почему он не умер раньше. Но еще до полуночи его не стало.

Намного позже Тед рассказал Франсес не только об идиотской королеве, но и об ужине в кафетерии, о том, как он порывался сбегать к телефону и почему этого не сделал; поделился своими мыслями о торге; обо всем. Это была не исповедь, а, скорее, серия интересных наблюдений, иллюстрация того, как даже самый рациональный ум может дать сбой и начать пресмыкаться. Ему и в голову не пришло, что рассказ этот может стать для нее потрясением, — ведь в конечном итоге он же выбрал ее.

Франсес постояла несколько секунд одна, одетая, застегнутая, в пальто и сапожках. Она ни о чем не думала. Просто смотрела на скелеты. Человеческий выглядел меньше человека, а кошачий — больше, длиннее, чем кошка.

Из школы она вышла, никого не встретив. Села в машину. Зачем она забрала из гардероба пальто

и сапожки, якобы ушла домой, если все видели, что ее машина стоит, где всегда?

Машина у Франсес была старенькая — «плимут» 1936 года. После того как она уехала, у многих в голове остался образ того, как она сидит за рулем замерзшей машины, дергает разные ручки (она уже куда-то опаздывала), а машина кашляет, дребезжит и отказывается работать. Или же — более свежая картинка — как «плимут» пробуксовывает в сугробе, а Франсес из окна высунула под падающий снег непокрытую голову, словно давая понять, что не ожидала от автомобиля ничего другого, кроме разочарований и расстройства, но все равно будет бороться с ним до последнего вздоха.

В итоге она все же выбралась и поехала вниз по склону в сторону главной улицы. Она не знала, что случилось с Бобби, что это была за авария. Не слышала, о чем все говорили после того, как Тед ее оставил. На главной улице все магазины светились теплыми огнями. Можно было увидеть не только машины, но и лошадей (в то время дороги еще не расчищались); они выдыхали облачка пара, и это успокаивало. Франсес показалось, что больше, чем обычно, людей стоят и разговаривают — ну или не разговаривают, а просто

не хотят расставаться. Некоторые владельцы магазинов вышли на улицу и стояли под снегом без пиджаков. Перекресток у почты, кажется, заблокировали, но все смотрели именно туда.

Она припарковалась у хозяйственного магазина, пробежала по длинному крыльцу, которое утром сама очистила от снега и льда и которое придется чистить снова. Ей казалось, что она бежит в укрытие. Но это было не так; там ее ждала Аделаида.

— Франсес, это ты?

В коридоре Франсес сняла пальто, проверила пуговицы блузки. Поставила сапожки на резиновый коврик.

— А я как раз говорила бабушке. Она ничего и не знала. Даже не слышала, как «скорая» примчалась.

На кухонном столе стояла корзина с выстиранным бельем, накрытая от снега наволочкой. Франсес вошла на кухню, готовая оборвать Аделаиду, но, как только увидела белье, поняла, что не сможет. В те моменты, когда у Франсес было больше всего дел, в рождественские недели или весной, Аделаида приходила к ним, забирала грязные вещи и возвращалась с корзиной поглаженного, белоснежного и накрахмаленного

белья. У нее было четверо детей, но она всегда помогала другим — пекла, ходила по магазинам, приглядывала за чужими детьми, бегала туда-сюда, когда у кого-то возникали проблемы. Чистая щедрость. Чистый шантаж.

— Машина Фреда Бичера вся в крови, — сказала Аделаида, поворачиваясь к Франсес. — Багажник был открыт, в нем стояла коляска, которую он вез невестке, — и весь кузов в крови. Весь в крови.

— Это Фред Бичер сделал? — спросила Франсес, потому что теперь это было неизбежно, ей обязательно нужно знать. — Фред Бичер сбил… сына Маккавалы?

Она, конечно, знала, как зовут Бобби, — она знала всех детей Теда по именам и в лицо, но научилась говорить о них — как и о Теде — с напускной неопределенностью; поэтому даже сейчас ей пришлось сказать «сына Маккавалы».

— Ты тоже ничего не знаешь? — сказала Аделаида. — Где ты была? В школе, где же еще? Туда ведь, наверное, за ним и пришли?

— Я слышала, что пришли, — ответила Франсес. Она увидела, что Аделаида заварила чай. Ей очень хотелось чашечку, но у нее так тряслись руки, что она побоялась прикасаться к посуде. — Я слышала, что его сын умер.

— Умер не он, а другой мальчик. О'Хэйр. Их было двое. О'Хэйр погиб на месте. Это было ужасно. Маккавала тоже не жилец. Его на «скорой» увезли в Лондон. Он не выживет.

— Ох, ох, — запричитала мама Франсес, сидевшая за столом с открытой книгой. — Ох, ох. Подумайте об их бедной матери. — У нее в голове все смешалось.

— Но Фред Бичер их не сбил, вовсе нет, — сказала или даже провозгласила Аделаида. — Мальчики привязали к заднему бамперу санки. Фред и не заметил. Наверное, они прицепились, когда он остановился у школы, а потом на склоне ехавшая сзади машина не успела затормозить и врезалась в их санки. В итоге они улетели прямо под машину Фреда.

Старая миссис Райт понимающе застонала.

— Их наверняка предупреждали. Детей предупреждали, а им хоть бы что — когда-то это должно было произойти. Ужас, — сказала Аделаида, всматриваясь в лицо Франсес и будто пытаясь выжать из нее какой-нибудь более активный отклик. — Очевидцы говорят, что никогда этого не забудут. Фреда Бичера стошнило в снег. Прямо перед почтой. Ох, а крови-то, крови…

— Кошмар, — вставила мама Франсес.

Интерес ее потихоньку затухал. Наверное, она уже думала об ужине. Примерно с трех часов дня у нее возрастал интерес к ужину. Когда Франсес задерживалась, как сегодня, или кто-нибудь заглядывал ближе к вечеру, в полной уверенности, что гостям здесь рады, она все сильнее и сильнее заводилась от мысли, что ужин придется откладывать. Она пыталась сдерживаться, становилась очень любезной, общительной, начинала тщательно копаться в своей коллекции этикетных фраз и отпускала их одну за одной в надежде, что гость удовлетворится и скоро уйдет.

— Ты купила свиные отбивные? — спросила мать.

Конечно, Франсес забыла. Она пообещала купить панированные отбивные, но не зашла в мясной магазин — совсем из головы вылетело.

— Сейчас сбегаю.

— О, не стоит.

— Конечно, ей было не до этого, — вступилась Аделаида.

— Ты вчера отбивные в духовке запекла, с кукурузным пюре, и получилось очень вкусно.

— Хм. Франсес жарит отбивные в сухарях.

— Да я и сама так делаю. Тоже хорошо выходит. Но иногда хочется разнообразия. Между прочим,

я видела, как О'Хэйр, отец, выходил из похоронной конторы. Вот ужас-то. Он выглядел на все шестьдесят. После осмотра тела, — сказала мама Франсес. — Омлет тоже сойдет.

— Правда? — обрадовалась Франсес, которая даже боялась подумать, что ей придется снова идти на улицу.

— Конечно. И талоны не придется тратить.

— Ох уж эти талоны, да? Нет, вряд ли он уже тело осматривал. Сперва ведь над ним нужно серьезно поработать. Наверное, гроб выбирал.

— Да, скорее всего.

— Нет, с телом еще не закончили. Оно пока на столе.

Аделаида сказала эти слова, «на столе», с таким чувством, с такой энергией, как будто шлепнула перед ними большую мокрую рыбину. Ее дядя работал в похоронном бюро, в другом городе, и она так гордилась этой связью, своими уникальными познаниями. Конечно же, она заговорила о том, как ее дядя работал над жертвами всяких аварий, над мальчиком, с которого содрало скальп, и как он восстановил его облик при помощи волос, которые специально собрал в мусорной корзине у парикмахера и смешал, чтобы получить нужный оттенок, — трудился всю ночь. Семья мальчика

не поверила своим глазам — он выглядел как живой. Аделаида заключила, что это настоящее искусство.

Франсес подумала, что просто обязана рассказать об этом Теду. Она часто пересказывала Теду то, что слышала от Аделаиды. Но потом вспомнила.

— При желании они, конечно, могут хоронить в закрытом гробу, — добавила Аделаида, объяснив, что местный специалист в подметки не годится ее дяде. — Это их единственный сын? — спросила она у Франсес.

— По-моему, да.

— Жалко их. Родни тут у них тоже нет. Жена у него даже по-английски плохо говорит, да? Конечно, О'Хэйры — семья католическая, у них еще четверо или пятеро. Священник приходил и соборовал его, пусть даже и мертвого.

— Ох, ох, — неодобрительно выдохнула мама Франсес. В этом неодобрении не было особой враждебности к католикам, а было, скорее, сочувствие, какое должны выказывать протестанты. — Мне же не придется ехать на похороны? — От перспективы соприкосновения с больным или покойным у матери Франсес всегда делалось беспокойное, упрямое лицо. — Как их звать-то?

— О’Хэйр.
— Ах да. Католики.
— И Маккавала.
— Этих я не знаю. Да? Приезжие?
— Финны. Из Северного Онтарио.
— Так я и думала. По фамилии ясно. Нет, мне там делать нечего.

Франсес все же не избежала выхода на улицу. Вечером пришлось пойти в библиотеку, чтобы взять матери книг. Каждую неделю она приносила ей три новые библиотечные книги. Матери нравилось держать в руках толстый, солидный том. «Читать не перечитать», — говорила она, точно так же, как говорила, что пальто или плед можно носить не сносить. И в самом деле, книга была точь-в-точь как плотное одеяло, которым она могла накрыться, укутаться. Когда чтение близилось к концу и одеяло становилось все тоньше и тоньше, она считала оставшиеся страницы и спрашивала:
— Ты мне новую книгу принесла? Ага. Вот и она. Да, эту я помню. Ну ничего, перечитаю еще раз.

Но всегда наступал момент, когда она заканчивала последнюю книгу и вынуждена была ждать, пока Франсес не сходит в библиотеку за тремя новыми. (К счастью, после недолгого промежутка

времени книги могли повторяться — месяца через три-четыре; мать окуналась в них заново и даже описывала, например, место действия и героев, как будто впервые с ними познакомилась.) Франсес предлагала матери в ожидании новых книг слушать радио, но та, обычно покладистая, говорила, что радио ей не на пользу. Пока мать была, образно говоря, «не обеспечена», она могла пойти в гостиную, достать с полки старую книгу — «Приключения Якова Верного»[20] или «Лорну Дун» — и сидеть на стульчике, скрючившись и вцепившись в переплет. А могла и просто бродить из комнаты в комнату. Не отрывая подошвы от пола — точнее, отрывая подошвы от пола только для того, чтобы переступить через порог, — она подслеповато держалась за мебель и стены, потому что не включала свет, едва ковыляла, потому что теперь почти не ходила, и шаркала дальше, переполняемая опасливым беспокойством, замедленным неистовством, которое накатывало на нее в отсутствие книг, съестного или же снотворного, помогавшего бороться с нехваткой

[20] Примечания: 20

«Приключения Якова Верного» — приключенческий роман английского писателя Фредерика Марриета (1792–1848), выпущенный в 1834 г. История мальчика, который родился на барже и до 11 лет не выходил на сушу.

первого и второго.

Вечером Франсес внутренне закипела, услышав от матери:

— Так что там насчет моих книг?

Ей была ненавистна эта черствость, эгоистичность, немощь, это цеплянье за жизнь, равно как и эти кривые, тощие ноги и руки, на которых кожа висела мятыми тряпками. Но ее мать была не черствей ее самой. Франсес прошла мимо почты, где уже не осталось никаких следов происшествия, только свежий снег, который намело с юга — с той стороны, где Лондон (он должен вернуться, независимо ни от чего, он должен вернуться). Она злилась на этого ребенка, на его тупость, на эту рискованную выходку, браваду, на это вмешательство в чужую жизнь, в ее жизнь. Ей было тошно думать о ком-нибудь другом. Об Аделаиде, например. Перед уходом Аделаида зашла в комнату к Франсес, когда та снимала атласную блузку — не готовить же в ней ужин. Франсес уже расстегнула ее спереди и возилась с пуговицами на рукавах; она стояла перед Аделаидой так же, как недавно стояла перед Тедом.

— Франсес, — начала Аделаида напряженным шепотом, — у тебя все нормально?

— Да.

— Ты не думаешь, что это вам — кара?

— Что?

— Бог его карает.

Аделаида так и светилась восторгом, удовлетворением, самодовольством. До брака с упрямым и невинным младшим братом Франсес она успела за пару лет насладиться своими успехами и скандальной славой на любовном фронте; даже имя ее неприлично переиначивали разные шутники. В ее приземистой фигуре было что-то материнское, один глаз слегка косил. Франсес не могла понять, зачем ввязалась в такую дружбу или союз, как ни назови. Они сидели у Аделаиды на кухне, пока Кларк тренировал детскую хоккейную команду, разбавляли кофе его драгоценным виски (а остатки виски разбавляли водой), над плитой сушились пеленки, а на столе валялись какой-то дешевый металлический паровозик и страшная безглазая, безрукая кукла, а они говорили о сексе и мужчинах. Стыдливое облегчение, виноватое потворство, большая ошибка. Тогда Аделаида даже не заикалась о Боге. Она никогда не слышала слово «пенис», попробовала его произнести, но не смогла. Аделаида называла это «хрен». «Он достал свой хрен», — говорила она с той же неприятной значительностью, с какой говорила «на столе».

— А по тебе и не скажешь, что все нормально, — продолжила она. — Кажется, тебе совсем голову снесло. Тебя будто тошнит.

— Иди домой, — ответила Франсес.

Как ей за это расплатиться?

Перед почтой двое мужчин украшали гирляндами красивые голубые ели. Почему именно сейчас? Наверное, начали еще до аварии, но вынуждены были прерваться. Не иначе как за это время напились — один-то уж точно. Кэл Каллахан запутался в проводах. Другой, Босс Крир, получивший такое прозвище за свою полную неспособность стать боссом, топтался на месте и ждал, пока Кэл сам не выпутается. Босс Крир не умел ни читать, ни писать, но зато умел жить припеваючи. В кузове их пикапа громоздились искусственные ветки остролиста, а также красные и зеленые гирлянды, которые еще предстояло развесить. Франсес, благодаря своему участию в торжественных концертах, празднествах и, по сути, во всех мыслимых и немыслимых городских мероприятиях, знала, где из года в год, всеми забытые, хранятся эти украшения: на чердаке ратуши. Когда кто-нибудь из членов муниципального совета говорил: «Что ж. Пора бы уже задуматься насчет Рожде-

ства», гирлянды вытаскивались на свет. Оставив этих идиотов развешивать украшения, Франсес презрительно отвернулась и зашагала прочь. Неумелость, убогие огоньки и ветки, нудный рутинный труд — все это пришло в движение под воздействием бессмысленных праздничных обязательств. В другое время она могла бы посчитать это трогательным, даже восхитительным. Могла бы сделать попытку объяснить Теду свою привязанность к Ханратти, которой он никогда не понимал. Он говорил, что готов жить хоть в городе, хоть в лесу, хоть в диком поселении, откуда приехал, но только не в такой дыре, как Ханратти, не в этом ограниченном пространстве, где безыскусность не компенсируется дикой природой, где нет и намека на разнообразие городской жизни.

Но все же он и сам там застрял.

Она вспомнила, как прошлым летом испытала такое же всеохватное отвращение. Тед и Грета с детьми на три недели уехали к родственникам, на север Онтарио. Франсес на первые две недели сама уехала в коттедж, который каждое лето снимала на озере Гурон. Она взяла с собой мать, которая целыми днями сидела под коммифорой и читала. Там было вполне сносно. В коттедже нашлось старое издание Британской энцикло-

педии, и Франсес раз за разом перечитывала устаревшую статью о Финляндии. Вечерами она лежала на веранде, слушала шум озера и думала о Северном Онтарио, где никогда не бывала. Опять же, дикая природа. Но когда пришлось возвращаться в город, а Теда там не оказалось, ей стало очень тоскливо. Каждое утро она ходила на почту, но все напрасно. Из окна почты она смотрела на ратушу, возле которой стоял огромный красно-белый градусник, показывавший рост облигаций Победы[21]. Она уже не могла представить Теда на севере Онтарио, где он напивается и объедается у своих родственников. Он исчез. За пределами этого городка он мог находиться где угодно; для нее он перестал существовать, оставив по себе лишь нелепую агонию ее памяти. Вот тогда-то она и возненавидела всех и с трудом выдавливала из себя вежливые фразы. Она ненавидела людей, жару, муниципалитет, облигации Победы, тротуары, здания, голоса. Впоследствии она боялась — или просто не хотела — вспоминать, как безобидные внушительные фасады домов или

[21] Примечания: 21

Облигации Победы — военные облигации, выпущенные канадским правительством. Первый выпуск облигаций на 20 миллионов долларов был распродан в феврале 1940 г. за два дня, второй выпуск — на 30 миллионов — примерно так же быстро был распродан в сентябре.

обыкновенные приветствия могут измениться из-за отсутствия одного человека, которого год назад она еще не знала; как его нахождение в одном с ней городке, даже в те моменты, когда они не могли повидаться, было необходимо для ее внутреннего равновесия.

В первый же вечер после его возвращения они пошли в школу и запачкались свежей краской. И она подумала, что разлука того стоила — это была всего лишь необходимая плата. Она уже забыла, каково ей пришлось; говорят, женщины точно так же забывают родовые муки.

Теперь она вспомнила. То была всего лишь репетиция; ее собственная выдумка, чтобы себя помучить. А теперь все будет взаправду. Он вернется в город, но к ней не вернется. Поскольку в минуты трагедии он был с ней, у него зародится ненависть; по крайней мере, мысль о ней навсегда будет связана с мыслью о катастрофе. А если бы ребенок выжил, но остался инвалидом? От этого было бы не легче, ей — уж точно. Они бы захотели отсюда уехать. Тед говорил, что Грете тут не нравится, — это была одна из редких подробностей, которые он сообщил ей о Грете. В Ханратти ей одиноко, она здесь не в своей тарелке. А что же она скажет теперь? То,

что Франсес представляла себе прошлым летом, этим летом станет реальностью. Он будет где-то в запредельной дали, снова с женой, которую, наверное, сейчас обнимает, утешает на своем языке. Правда, он упоминал, что не говорит с ней по-фински. Франсес сама спросила. И Теду этот вопрос явно не понравился. Он ответил, что по-фински говорить почти разучился. Она ему не поверила.

Происхождение финно-угорских племен окутано тайной, прочитала Франсес. Это утверждение ее порадовало; она не думала, что энциклопедия способна такое признать. Финнов называли тавастами и карелами, и еще в середине тринадцатого века они исповедовали язычество. Поклонялись богам воздуха, леса, воды. Франсес узнала имена этих богов и удивила Теда. Укко. Тапио. Ахти. Эти имена оказались для него в новинку. Известные ему предки их семьи не были мирными язычниками, бродившими по лесам (согласно энциклопедии, в некоторых местностях люди до сих пор приносят жертвы духам); они были националистами, социалистами, радикалами девятнадцатого века. Его семью изгнали из Финляндии. И Теда научили ностальгировать не по северным лесам, соснам и березам, а по

кабинетам и редакциям газет в Хельсинки, по аудиториям и читальным залам. Не языческие церемонии маячили у него в мозгу (когда Франсес рассказала ему о жертвоприношениях духам, он сказал, что это чушь), а времена тайных типографий, подпольных листовок, обреченных демонстраций и почетных приговоров. Они вели борьбу и пропаганду против шведов, против русских.

— Но если твои родные были коммунистами, они же, наверное, стояли за русских? — задала идиотский вопрос Франсес, перепутав даты; он же говорил о дореволюционных временах.

Хотя сейчас мало что изменилось. Россия попыталась захватить Финляндию; Финляндия официально сотрудничала с Германией. Тед не находил, кому отдать свою верность. Определенно не Канаде, где, как он рассказывал, его сочли пособником врага и устроили за ним слежку. Франсес не верила своим ушам. А он говорил об этом с гордостью.

Во время их осенних прогулок по сухому лесу он поведал ей множество фактов, не знать которые было стыдно: о гражданской войне в Испании, о политических репрессиях в России. Она слушала, но внимание все время ускользало от разумных

вопросов и ответов к стойкам забора и сурковым норам. Она улавливала только суть. Он верил в неизбежность всеобщего развала и в то, что война, которая считалась гигантским, но временным кризисом, на самом деле является естественным преддверием этого состояния. Стоило ей с надеждой указать вариант разрешения какой-нибудь из проблем, как он объяснял, почему она не права, почему система обречена и одна катастрофа будет следовать за другой, пока…

— Что?

— Пока все не рухнет.

Как он был доволен, когда произносил эти слова. Как она могла спорить с точкой зрения, которая приносила ему такую успокоенность и удовлетворенность?

— Ты смуглый, — говорила она, поворачивая его ладонь в своей. — Не знала, что северные европейцы бывают такими смуглыми.

Он сказал, что в Финляндии распространены два типа внешности — венгерская и скандинавская, смуглая и светлая, и они не смешиваются, а существуют отдельно и проявляются из поколения в поколение в одних и тех же местностях, в одних и тех же семьях.

— Идеальный пример — это семья Греты.

Типичные скандинавы. У нее тоже широкая длинная кость, она долихоцефал…

— Кто-кто?

— У нее удлиненный череп. Бледная кожа, голубые глаза, светлые волосы. А ее сестра Картруд смуглая, немного раскосая, очень темненькая. То же самое — в нашей семье. Бобби похож на Грету. Маргарет — на меня. Рут-Энн — на Грету.

Франсес было одновременно боязно и любопытно слушать, как он рассказывает о Грете, о «нашей семье». Она никогда не спрашивала и не заговаривала о его близких. Поначалу он тоже. У нее в голове остались две сказанные им вещи. Первая — то, что они с Гретой поженились, когда он еще учился в университете; она жила с родней на севере, пока он не получил диплом и не нашел работу. Франсес тогда подумала: не была ли Грета беременна; не потому ли он на ней женился? А еще он сказал — никак не акцентируя, пока они с Франсес обсуждали, где им встретиться, — что всегда был верен. Франсес так и предполагала — по невинности или заносчивости; она ни секунды не думала, что может быть всего лишь частью целого ряда. Но это слово — «верен» (он даже не сказал «верен Грете») — подразумевало связь. Оно высветило для них Грету, показало,

как она сидит и ждет — спокойная, терпеливая, честная, обманутая. Оно отдавало ей должное; и муж отдавал ей должное.

Поначалу это было все. Но теперь в их разговорах приоткрывались двери — и тут же захлопывались. Франсес ловила картинки, которых одновременно чуралась и ждала. Грете нужна машина, чтобы отвезти Рут-Энн к врачу; у Рут-Энн болело ухо, малышка всю ночь плакала. Тед и Грета вместе клеили обои. Вся семья слегла с отравлением, поев каких-то сомнительных сосисок. Франсес ловила больше чем проблески. Она ловила простуды семьи Маккавала. Она начала жить с ними в причудливой, похожей на сон близости.

Но она задала один вопрос:

— А что это были за обои? Которые клеили вы с женой?

Ему пришлось подумать.

— В полоску. В белую и серебряную полоску.

Такой выбор добавил в образ Греты жесткости, резкости, амбициозности, которых не было видно, когда она ходила по улице или делала покупки в магазине, в платочке на голове и в мягких безвкусных платьях в цветочек или просторных клетчатых брюках. Эта крупная, светлая,

веснушчатая домохозяйка однажды задела руку Франсес корзиной для покупок и сказала: «Извините». Это было единственное слово, которое Франсес услышала из ее уст. Холодный, робкий голос с заметным акцентом. Голос, который Тед слышал каждый день; тело, рядом с которым он спал каждую ночь. У Франсес задрожали коленки, прямо там, в магазине, напротив полки с готовыми обедами, свининой и бобами. От одной лишь близости к этой большой загадочной женщине, такой невинной и сильной, у нее помутилось в голове и начался озноб.

В субботу утром Франсес нашла в почтовом ящике записку с просьбой вечером впустить Теда в церковь. Целый день она нервничала, как в первый раз. Она ждала в темноте у дверей воскресной школы. Субботний вечер — неудачное время, потому что в церкви должен находиться священник или уборщик, и оба они там были, пока Франсес рассеянно играла на органе. А потом ушли домой, чтобы, как надеялась Франсес, уже не возвращаться.

Обычно Франсес и Тед занимались любовью прямо там, в темноте, но в этот раз Франсес подумала, что им нужно поговорить, а для этого понадобится свет. Она повела его в класс,

расположенный за хорами. Это было длинное, узкое, тесное помещение без окон на улицу. В углу громоздились составленные стулья. А на учительском столе ждало странное зрелище: пепельница с двумя окурками. Франсес взяла ее в руки.

— Тут явно кто-то был.

Ей нужно было говорить о чем-то, кроме трагедии, потому что она боялась сказать что-нибудь не то.

— Прямо эстафета любовников, — сказал, к ее облегчению, Тед. — Я не удивлюсь, если… — и назвал несколько возможных пар. Директор школы со своей секретаршей. Невестка Франсес и священник. Но в его голосе звучала тоска.

— Нужно расписание составить.

Они даже не потрудились взять стулья и сели на пол, прислонившись к стене, под картиной, на которой Иисус шел берегом Галилейского моря.

— Ну и неделя была, — проговорил Тед. — Не знаю, с чего начать. Вернулись мы из Лондона во вторник, а в среду на нас обрушилось семейство Греты. Всю ночь ехали… две ночи. Не знаю, как им удалось добраться. Они потребовали, чтобы на одном участке дороги, миль в пятьдесят, перед ними пустили снегоуборочную машину. Эти

женщины на все способны. Отец — просто тень. Женщины — кошмар. Хуже всех Картруд. У нее своих детей восемь голов, но она готова командовать и сестрами, и их семьями, и всеми, кто позволит. Грета против нее вообще пустое место.

Он сказал, что проблемы начались уже с похорон. Тед настаивал на гражданской церемонии. У него давно созрело решение в случае смерти кого-нибудь из близких не привлекать церковь. Распорядитель похорон со скрипом согласился. Грета тоже сказала, что это нормально. Тед написал речь в пару абзацев, которую собирался прочесть сам. На этом все. Никаких гимнов, никаких молитв. В этом не было ничего нового. Все давно знали о его убеждениях. Грета знала. Ее родня знала. Тем не менее они все повели себя так, будто услышали новое, ужасающее откровение. Держались так, будто атеизм — это неслыханная позиция. Пытались убедить его, что такие похороны незаконны, что его могут посадить в тюрьму.

— Они привезли с собой какого-то старичка — я подумал, что это дядя или чей-нибудь двоюродный брат, да мало ли кто. Всех не упомнить — семья-то огромная. И когда я поставил их в известность, как распланировал похороны, они

объявили, что это их священник. Финский лютеранский священник, которого они притащили за четыреста миль, чтобы меня застращать. Бедному старикашке тоже пришлось несладко. В дороге подхватил простуду. Уж как они вокруг него прыгали, ставили ему горчичники, ноги парили, чтобы только привести в норму. Помер бы он там — было бы им поделом.

Тед уже вскочил и мерил шагами класс воскресной школы. Он заявил, что им его не сломить. Пусть бы приволокли с собой целый приход и лютеранскую кирху на тележке. Прямо так и сказал. А своего сына он похоронит по-своему. К тому времени Грета не выдержала, переметнулась на их сторону. Не то чтобы у нее были какие-то религиозные чувства — только слезы, обвинения да извечная слабость перед лицом родни. Более того, эта проблема не осталась личным делом семьи. К ним полезли разные личности — в каждой бочке затычки. Священник из Объединенной церкви, священник этой самой церкви, как-то раз пришел проконсультироваться с лютеранином. Тед его выставил. Позже он узнал, что священник, в общем-то, и не виноват, приходил он не совсем по своей воле. Его призвала Картруд, сказав, что положение отчаянное, что у ее сестры нервный

срыв.

— Правда? — спросила Франсес.

— Что?

— У нее… у твоей жены… правда был нервный срыв?

— Эта стая психов кого хочешь доведет до нервного срыва.

Гроб он распорядился не открывать, но прийти на похороны мог кто угодно. Тед лично стоял рядом с гробом, готовый вырубить любого, кто позволит себе самоуправство. Свояченицу — с радостью, или ее союзника, старика-священника, или даже Грету, если они и ее в это втянут.

— О нет, — вырвалось у Франсес.

— Я знал, что она сама на это не пойдет. Но Картруд может. Или старуха-мать. Я не знал, что будет дальше. Но понимал, что сомнения нельзя показывать ни на секунду. Это был какой-то кошмар. Я стал говорить, а старуха завыла и начала раскачиваться. Пришлось ее перекрикивать. Чем громче она по-фински, тем громче я по-английски. Безумие.

Рассказывая, он переложил окурки из пепельницы себе в ладонь и обратно — так и гонял их туда-сюда.

Немного помолчав, Франсес сказала:

— Но Грета же его мать.

— То есть?

— Может, она хотела устроить обычные похороны.

— Да нет же.

— Почему ты так уверен?

— Я ее знаю. У нее вообще нет своего мнения. Она просто спасовала перед Картруд — как всегда.

Все это он сделал для себя, подумала Франсес. Ни на секунду не задумался о Грете. Или о Бобби. Он думал только о себе, о своих убеждениях и о том, чтобы не склониться перед неприятелем. Вот что было ему важно. Франсес отмечала это против своей воли и была не рада. Это не значило, что он ей разонравился; по крайней мере, она его не разлюбила. Но перемены были налицо. Когда позже она об этом размышляла, ей показалось, что до этого момента она была замешана в чем-то детском и постыдном. Она сошлась с ним для своего удовольствия, видела его таким, каким хотела, обращала внимание на то, на что хотела, не воспринимала его всерьез, хоть и считала иначе; раньше она бы сказала, что он — это самое важное, что есть в ее жизни.

Теперь это стало ей недоступно — эта празд-

ность и самообман.

Впервые она удивилась, когда он захотел заняться любовью. Она не была готова, она еще многого не могла осознать, но он был слишком настойчив, чтобы это заметить.

На следующий день, в воскресенье, Франсес играла во время службы, и это был последний раз, когда она играла в Объединенной церкви.

В понедельник Теда вызвали в кабинет директора. Оказалось, что Картруд, сестра Греты, за пять дней перезнакомилась с женщинами Ханратти ближе, чем Грета за полтора года, и кто-то насплетничал ей про Теда и Франсес. Впоследствии Франсес заподозрила, что проболталась именно Аделаида, но нет. Аделаида действительно побывала в доме семьи Маккавала, но рассказала не она — кто-то успел сделать это раньше. Разъяренная борьбой вокруг похорон и своим поражением, Картруд пошла и к директору средней школы, и к священнику Объединенной церкви. И расспросила, какие шаги они планируют предпринять. Ни священник, ни директор не хотели предпринимать никаких шагов. Оба знали про этот роман, оба переживали и надеялись, что вопрос разрешится сам собой. Тед и Франсес были ценны им обоим. Оба сказали

Картруд, что теперь, после смерти ребенка, муж с женой, конечно, снова сблизятся, а все остальное будет забыто. Не стоит поднимать шумиху прямо сейчас, когда семья пережила такую потерю, да и вообще проблем можно избежать, поскольку жена ничего не знает. Но Картруд заявила, что она-то знает. И перед отъездом собирается открыть глаза своей сестре, а если не будут приняты меры, то и убедить Грету уехать вместе. Картруд — женщина сильная, физически и демагогически. Мужчины перед ней оробели.

Директор сказал Теду, что узнал (ему рассказали) о неприглядной истории. Он извинился, что поднял этот вопрос, пока еще не зарубцевались раны, но добавил, что ему не оставили выбора. Сказал, что надеется на понимание: в этой истории замешана и одна дама, которая раньше пользовалась всеобщим уважением и, надо думать, сумеет его себе вернуть. Он предположил, что Тед и сам уже решил поставить точку. Директор ожидал от Теда каких-нибудь стыдливых и обтекаемых слов о том, что правильные выводы уже сделаны или вот-вот будут сделаны, и готов был принять эти слова, убедительные или не очень. А пригласив Теда для разговора, он просто выполнял данное обещание, с тем чтобы Картруд

уехала, не создавая им еще более серьезных осложнений.

К удивлению директора, Тед вскочил и заявил, что это травля. Сказал, что знает, кто за этим стоит. Сказал, что не потерпит постороннего вмешательства, что его личная жизнь — это его дело, а брак — это не что иное, как устаревший обычай, продвигаемый церковными иерархами вместе со всем остальным, чем они пичкают народ. Потом он ни с того ни с сего добавил, что все равно собирался уйти от Греты, из школы, бросить работу, Ханратти и жениться на Франсес.

Что вы, что вы, повторял директор, выпейте водички. Это же несерьезно, что за глупости. Такие ответственные решения нельзя принимать сгоряча.

— Это решение я принял давно, — отрезал Тед. И сам себе поверил.

— Мне надо было для начала тебя спросить, — сказал он Франсес.

Вечерело; они сидели в гостиной ее квартиры. В этот понедельник Франсес не пошла в школу; вместо этого собрала свой хор в ратуше, чтобы девочки смогли там порепетировать и привыкнуть к сцене. Домой она пришла довольно поздно, и ее мать сказала:

— К тебе какой-то мужчина. Он представился, но я забыла.

Еще она забыла сказать, что звонил священник и просил Франсес с ним связаться. Об этом Франсес так и не узнала.

Франсес подумала, что к ней, наверное, пришел страховой агент. У них возникли какие-то сложности со страховкой на случай пожара. Агент звонил на прошлой неделе и спрашивал, когда можно зайти. Идя по коридору, она пыталась собраться с мыслями для разговора и задавалась вопросом, не придется ли ей подыскивать новое жилье. А потом увидела, что у окна, не снимая пальто, сидит Тед. Он даже не включил света. Но в комнату проникал свет с улицы — за окном мельтешили красные и зеленые рождественские огоньки.

Увидев Теда, она сразу поняла, что случилось. Не зная деталей, ухватила суть. С чего бы ему сидеть в гостиной ее матери, где на фоне старых обоев красуется «Анжелюс»[22]?

— Старомодная комната, — сказал он нежно,

[22] Примечания: 22

«Анжелюс» (1859) — картина французского художника Жана-Франсуа Милле (1814–1875). Получила свое название по первым словам католической молитвы «Ангел Господень». Сальвадор Дали был большим поклонником этого полотна.

как будто читая мысли Франсес. Он прибежал сюда в странном ослабленном, сонном состоянии, которое всегда следует за страшными ссорами и необратимыми решениями. — На тебя совсем не похожа.

— Комната мамина, — ответила Франсес и хотела спросить — но это было не к месту, — какая комната была бы на нее похожа. Какой он ее видел, что он успел заметить?

Она задернула шторы и включила две настенные лампы.

— Это твой уголок? — вежливо спросил Тед, пока она закрывала ноты на пианино.

Она сделала это, чтобы они его не отвлекали или чтобы защитить их от него; он совсем не интересовался музыкой.

— В каком-то смысле. Это Моцарт, — торопливо сказала она, прикасаясь к дешевому бюстику, стоявшему на столе. — Мой любимый композитор.

Какая глупая, фальшивая фраза. Она чувствовала, что извиняться надо не перед Тедом, а перед этим уголком, пианино, Моцартом и потемнев-

шей репродукцией «Вида Толедо»[23], которую она очень любила, но теперь была готова опошлить и предать.

Тед начал рассказывать, насколько запомнил, что произошло в тот день, что сказал директор, что он ему ответил. В пересказе его собственные ответы были спокойнее, сдержаннее и глубокомысленнее, чем на самом деле.

— И я сказал, что на тебе женюсь, а потом подумал: какая самонадеянность. Вдруг она откажется?

— А, понятно. Но ты же знал, — ответила Франсес, — что я не откажусь.

Конечно, он знал. Они в самом деле на это пойдут, и никто их не остановит. Ни мать Франсес, сидевшая на кухне с книгой и не подозревавшая, что ей вынесен смертный приговор (ведь для нее произошедшее было равносильно как раз этому: она переедет к Кларку и Аделаиде, и суета их дома ее прикончит; они будут постоянно забывать про книги, и она просто ляжет в кровать и умрет). Ни дочки Теда, в этот день кружившие на открытом

[23] Примечания: 23

«Вид Толедо» (1596–1600) — знаменитая картина испанского художника Эль Греко (Доменикос Теотокопулос, 1541–1614), также известная под названием «Толедо в грозу». Одна из двух сохранившихся пейзажных работ мастера.

катке под далекие звуки «Сказок Венского леса» и наслаждавшиеся, скрытно и виновато, тем вниманием, которое к ним привлекла смерть брата.

— Хочешь кофе? — спросила Франсес. — Хотя не знаю, есть ли у нас. Мы все талоны тратим на чай. Хочешь чаю?

— А мы тратим их на кофе. Нет. Ничего не надо.

— Извини.

— На самом деле я ничего не хочу.

— У нас с тобой сейчас шок, — сказала Франсес. — У нас обоих просто шок.

— Так или иначе, все к этому шло. Рано или поздно мы бы решились.

— Ты так считаешь?

— Конечно, — нетерпеливо сказал Тед. — Конечно решились бы.

Но у Франсес не было такой уверенности, и она задалась вопросом: не потому ли он произнес эти слова, что некоторые процессы были запущены не им (причем так жестоко, так грубо — он просто не мог с этим смириться) и теперь ему приходится от нее скрывать, насколько мала ее роль во всем происходящем? Нет, не мала — двусмысленна. Цепь событий, в большинстве своем ей неизвестных, привела к тому, что он сделал ей

предложение, и в самом подходящем месте — в гостиной ее матери. Франсес просто оказалась необходимым звеном. И бесполезно было гадать: а подошла бы другая на эту роль, если бы звенья цепи соединились иначе? Ведь они соединились, как соединились, и других претенденток на эту роль не было. Была только Франсес, которая всегда верила, что ее ждет нечто особенное, что настанет решающий момент, который определит ее будущее. Она это предвидела и вполне могла бы предвидеть какой-нибудь скандал, но не тяжкое бремя, разлад и отчаяние, лежавшие в его основе.

— Нам придется соблюдать осторожность, — заметила она.

Он подумал, она говорит о том, что им не стоит заводить детей, по крайней мере на первых порах, и выразил согласие, хоть и посчитал, что она выбрала неподходящий момент для этой реплики. Но она имела в виду совсем другое.

Без малого тридцать лет спустя Франсес встречает приходящих в ритуальный зал Ханратти, стоя с братом, Кларком, у гроба своей невестки Аделаиды. Ритуальный зал Ханратти находится в расширенном помещении бывшего мебельного магазина, соседствовавшего со скобяной лавкой.

Скобяная лавка сгорела. Получается, что Франсес стоит — если дать волю воображению — прямо под квартирой, где раньше проживала их семья. Франсес не дает волю воображению.

Волосы у нее странного цвета. Темные пряди поседели, а рыжие нет — получилась пестрятина, которую дочери потребовали закрасить. Но выбор цвета стал ошибкой. Впрочем, неудачный оттенок, как и броская помада, и сшитый на заказ клетчатый костюм, и вечная худоба, и рассеянная, но энергичная манера держаться только делают ее больше похожей на себя, и многие рады ее видеть.

Она, конечно, наезжала сюда и раньше, хотя и не слишком часто. Теда не брала с собой никогда. Зато привозила детей, которые сочли Ханратти диковатым, анекдотическим захолустьем и не смогли представить, как их родители тут жили. У нее две дочери. У Теда в итоге четыре, а сына нет. В родильной палате Франсес оба раза вздыхала с облегчением.

Франсес по-прежнему считала, что выдала ее Аделаида, и злилась на невестку, хотя и понимала, что с равным основанием могла бы ее благодарить. Тем более что Аделаиды теперь нет в живых. Она неимоверно растолстела; заработа-

ла проблемы с сердцем.

Люди, пришедшие на похороны, не спрашивают Франсес про Теда, но ей кажется, что причиной тому давняя неловкость, а не враждебное отношение. Спрашивают про дочек. Тогда Франсес сама упоминает Теда: рассказывает, что младшая, студентка, вернулась домой из Монреаля, чтобы побыть с отцом, пока мать в отъезде. Тед в больнице, у него эмфизема. Когда становится совсем плохо, он ложится в стационар, подлечится — и снова домой. Пока так.

Тут уж все начинают обсуждать Теда, вспоминать его педагогические причуды, говорить, что таких, как он, больше не было, хотя такие учителя очень нужны; признают, что школа без него стала совсем другой. Франсес смеется, соглашается и думает, что нужно будет все это пересказать Теду, но без нажима, чтобы он не подумал, будто она пытается его взбодрить. После Ханратти он уже не преподавал. Нашел место биолога в Оттаве, в какой-то правительственной структуре. Во время войны для устройства на такую работу не требовалось ученой степени. Франсес работала учительницей музыки, чтобы они могли отправлять алименты Грете, вернувшейся на север Онтарио к своим родителям. Она считает,

что Теду нравится его работа. Он то и дело ввязывается в серьезные перепалки и битвы, отпускает циничные замечания, но все это, как понимает Франсес, неотъемлемая часть жизни госслужащего. Однако своим настоящим призванием Тед считает учительство. С возрастом он все чаще и чаще вспоминает свои деньки в школе как нескончаемую череду приключений, где фигурируют сумасшедшие директора, возмутительные комиссии, упрямые, но все же побежденные ученики, в которых самым неожиданным образом пробуждался интерес к предмету. Ему будет приятно услышать, что воспоминания учеников совпадают с его собственными.

Еще она собирается рассказать ему о Хелен, дочери Аделаиды, — крепко сбитой женщине тридцати с лишним лет. Она подвела Франсес к гробу, чтобы та внимательно присмотрелась к Аделаиде, у которой губы так плотно сжаты, что она выглядит молчуньей, какой в жизни никогда не была.

— Ты погляди, что они сделали — сомкнули ей челюсти проволокой. Теперь так делают, смыкают им челюсти проволокой, от этого всегда неестественный вид. Раньше в рот закладывали валики из ваты, но теперь от этого отказались

— слишком много мороки.

К Франсес подходит грузный бледный старик, опирающийся на две трости.

— Вы меня, наверное, не помните. Я раньше был соседом Кларка и Аделаиды. Фред Бичер.

— Как же, помню, — говорит Франсес, хотя не сразу понимает откуда.

Но по ходу разговора это проясняется. Он делится соседскими воспоминаниями об Аделаиде и попутно сообщает, как лечит свой артрит. Франсес вспоминает, как Аделаида рассказывала, что его стошнило в снег. Сокрушается, что ему так больно и неудобно ходить, но подразумевает, что сокрушается насчет той аварии. Не выведи он машину в снегопад, чтобы отвезти коляску на другой конец города, Франсес не жила бы в Оттаве, у нее бы не было двух дочерей, не было бы такой жизни — нынешней жизни. Это правда, сомнений нет. Но сама мысль чудовищна. Если признать, что ты под таким углом рассматриваешь эту историю, то выставишь себя патологической личностью. А не поехал бы он в тот день на машине, размышляет Франсес, не прерывая беседы, — и где бы мы сейчас были? Бобби уже стукнуло бы сорок; работал бы, вероятно, инженером — на это указывали его детские интересы, о которых все чаще вспоми-

нает Тед; работа у него была бы хорошая, быть может, даже интересная. Жена, дети. Грета навещала бы Теда в больнице, помогая ему бороться с эмфиземой. Франсес, наверное, так и жила бы тут, в Ханратти, преподавала музыку; но могла и уехать куда-нибудь. Возможно, она бы оправилась, снова влюбилась, а то и ожесточилась бы от своей раны, живя в одиночестве.

Какая разница, стучит в голове у Франсес. Она не знает, откуда пришла эта мысль и как ее понимать, потому что разница определенно есть, любой подтвердит, что разница эта — величиной с жизнь. У Франсес были и есть любовь, скандальное прошлое, ее мужчина, ее дети. Но внутри она все равно сама по себе, та же Франсес, какой была до всего, что случилось.

Ну, конечно, не совсем та.

Нет, та же самая.

Вот состарюсь — и буду не лучше мамы, думает она и живо поворачивается, чтобы с кем-то поздороваться. Ладно. Время еще есть.

Автобус на Бардон

1

Представляю себя старой девой, из другого поколения. У нас в роду было немало старых дев. Мы с ними небогатые, до безумия скрытные, цепкие, бережливые. Как и они, я многого не прошу. Квадратик китайского шелка, аккуратно сложенный в ящике комода, пообтрепавшийся от прикосновения пальцев в темноте. Или одно-единственное письмо, хранимое под скромными вещичками: его даже не требуется доставать и перечитывать, потому как оно затвержено наизусть; достаточно только прикоснуться — и слов уже не надо. Бывает и что-нибудь неосязаемое: не более чем застрявшая в памяти двусмысленность, задушевный, непринужденный тон, пристальный беспомощный взгляд. Этого вполне бы хватило. С этим я могла бы существовать годами, пока чистила подойники, поплевывала на горячий утюг, гнала коров на выпас по каменистой тропке среди ольховника и рудбекий, развешивала на заборе выстиранные комбинезоны, а посудные полотенца — на кустах. А тот мужчина — кто бы это мог быть? Да кто угодно. Солдат, павший в битве при Сомме, или сосед-фермер, у которого

склочная жена и целый выводок ребятишек, или парень, который уехал в Саскачеван и обещал меня к себе вызвать, но не вызвал, или проповедник, который по воскресеньям пугает меня всякими страхами и муками. Разница невелика. Любого из них я могла бы — тайно — впустить к себе в душу. Тайна всей жизни, мечта всей жизни. А я бы распевала на кухне, чистила плиту, протирала стекло керосиновой лампы, наполняла чайник из ведра с питьевой водой. Кисловатый запах надраенной жести, старых половых тряпок. Наверху — моя кровать с высоким изголовьем, вязанное крючком покрывало и шероховатые, уютно пахнущие байковые простыни, грелка, чтобы класть на живот для облегчения спазмов или сжимать между ног. В спальне я снова и снова возвращаюсь к средоточию фантазии, к тому моменту, когда ты сдаешься, уступаешь натиску, который непременно перечеркнет все, что ты представляла собой ранее. Упрямая вера девственницы, вера в идеальное овладение; любая тертая жизнью жена скажет, что такого в природе не существует.

Зачерпывая ковшом воду, лелея свое безобидное помешательство, я бы стала распевать псалмы — и никто бы не удивился.

Он как ландыш белоснежный,
Звезда ночных небес,
Нет прекрасней лика для души моей…

2

На лето я приехала в Торонто, поселилась у своей подруги Кей и дописываю фамильную сагу, которую заказало мне одно состоятельное семейство. А весной мне довелось — в связи с этой же книгой — провести некоторое время в Австралии. Там я столкнулась с антропологом, с которым давным-давно водила шапочное знакомство в Ванкувере. Он тогда состоял в браке со своей первой женой (сейчас — с третьей), а я — со своим первым мужем (сейчас разведена). Познакомились мы там, где оба в ту пору жили: в Форт-Кэмпе, в семейном студенческом общежитии.

Антрополог занимался изучением языковых сообществ Северного Куинсленда. В городе он планировал провести около месяца, после чего собирался лететь в Индию и там присоединиться к жене. Та получила грант на исследование индийской музыки. Жена у него — из разряда современных: с независимыми серьезными устремлениями. Первая его жена была попроще, она хотела создать ему условия для завершения учебы, а потом сидеть дома и растить детей.

В субботу мы с ним вместе пообедали, а в воскресенье на пароходике, оккупированном шумными семьями, отправились на экскурсию в заповедник. Посмотрели вомбатов, свернувшихся наподобие кровяной колбасы, и недовольных нахохленных эму, прошлись под увитой яркими экзотическими цветами перголой, сфотографировались с медведями коала. Обменялись свежими новостями, анекдотами, неприятностями и преувеличенными выражениями сочувствия. На обратном пути посидели в баре, выпили джина, стали целоваться и выставили себя в слегка непотребном виде. Под грохот двигателей, плач младенцев, визг и беготню детишек постарше разговаривать было практически невозможно, но антрополог сказал:

— Прошу тебя, зайди посмотреть мой дом. Я снимаю целый дом. Тебе понравится. Ну пожалуйста, я не в силах больше ждать, переезжай ко мне.

— С чего это?

— Я встану на колени, — сказал он и тут же это сделал.

— Перестань, веди себя прилично! — одернула я. — Мы в чужой стране.

— Значит, можем чувствовать себя свободно.

Детская компания прекратила беготню и уставилась на нас. У ребятишек был суровый, осуждающий вид.

3

Буду называть его Икс — как назвали бы героя в старомодном романе, претендующем на достоверность. В его фамилии действительно присутствует «икс», но я выбрала эту букву потому, что она, с моей точки зрения, ему подходит. В ней есть какая-то необузданность и скрытность. А кроме того, использование одной лишь буквы, избавляющей от упоминания имени, согласуется с той системой, которой я теперь частенько пользуюсь. Говорю себе: «Автобус на Бардон, номер 144», и перед глазами возникает целая череда эпизодов. Вижу все в подробностях: улицы, дома. Ла-Троуб-Террас в Паддингтоне. Школы — большие гостеприимные бунгало; букмекерские конторы; плюмерии, роняющие душистые восковые цветки-недотроги. На этом автобусе мы, прихватив с собой сетки для продуктов, четыре-пять раз ездили в центральные магазины: бакалею покупали в «Вулворте», мясо — в «Коулзе», шоколадки с имбирем и лакрицу — в кондитерской. Город построен в основном на скалистых утесах, обрамленных бухтами, поэтому имело полный смысл спуститься из

людного, но полудикого пригорода в городской центр, к мутной реке и добродушной колониальной обшарпанности. За краткий промежуток времени все здесь стало на удивление родным и в то же время не похожим ни на одну знакомую местность. У нас было такое чувство, будто мы знаем всю подноготную своих попутчиц — домохозяек в панамах, будто знаем, что творится в облупившихся от солнца свайных домиках, возвышающихся над бухтами, знаем даже скрытые от глаз улочки. Это ощущение знакомства не навевало тоску, а, наоборот, восхищало; была в нем какая-то особенность, словно мы и сами не понимали, откуда оно взялось. Неспешно, с чувством идеальной надежности мы строили домашний уклад; такой надежности ни один из нас — по крайней мере, так мы твердили друг другу — не знал в законном браке и в более привычных обстоятельствах. Это был праздник легкости духа, но без праздности. Каждый день Икс отправлялся в университет, а я — в читальный зал городской библиотеки, где просматривала микрофильмы с подшивками старых газет.

Как-то раз я поехала в Тувонг — на кладбище, где собиралась отыскать несколько могил. В Канаде я не видела таких великолепных и вме-

сте с тем запущенных кладбищ. На некоторых пышных белокаменных надгробьях читались удивительно непринужденные надписи: «Наша чудесная мамочка» или «Отличный парень». Я задумалась, какой из этого можно сделать вывод об австралийцах, а потом сказала себе, что мы, оказавшись в чужой стране, склонны во всем искать смысл, и решила обсудить это с Иксом.

Из кладбищенской конторы мне навстречу вышел смотритель. Оказалось, это молодой парень в шортах, с татуировкой парусника во всю грудь. Парусник назывался *Australia Felix*[24]. На одном предплечье с внутренней стороны — одалиска, а над ней — разноцветный воин. Другое предплечье украшали драконы и флаги. На тыльной стороне одной ладони была выколота карта Австралии, на тыльной стороне другой — созвездие Южный Крест. Разглядывать мужские ноги мне было неловко, но краем глаза я заметила, что по ним тянулись снизу вверх, подобно вертикальному комиксу, какие-то затейливые сценки и цветочные гирлянды, обрамляющие цепочку медальонов — по-моему, с женскими именами. Я постаралась все это запомнить, чтобы не отка-

---

[24] Примечания: 24
Счастливая Австралия *(лат.)*.

зать себе в удовольствии поделиться с Иксом.

Он тоже приносил домой много интересного: подслушанные в автобусе разговоры, необычные выражения, обнаруженные взаимосвязи.

Мы не боялись произносить слово «любовь». Над нами не довлела ни ответственность, ни тревога о будущем, была только свобода, щедрость, постоянная, но не назойливая восторженность. Мы не сомневались, что счастье наше заполнит собой то недолгое время, что на него отпущено. Единственное, за что мы себя упрекали, так это за лень. Подозревали, что будем себя ругать за упущенную возможность посетить Ботанический сад, чтобы полюбоваться цветущими лотосами, или хоть раз сходить вместе в кино; не сомневались, что вспомним еще многое, о чем не успели рассказать друг другу.

4

Мне приснилось, что я получила письмо от Икса. Оно было нацарапано кривыми печатными буквами, и я подумала: он маскирует свой почерк; надо же, как умно. Разобрать написанное стоило мне больших трудов. Он приглашал меня слетать вместе на Кубу. Объяснил, что это путешествие распланировал для него священник, с которым они познакомились в баре. Я заподозрила, что священник этот — шпион. Далее Икс писал, что хорошо бы нам съездить в Вермонт покататься на лыжах. Уточнял, что не хочет вмешиваться в мою жизнь, но старается меня оберечь. Это слово меня просто умилило. Но путаница моего сна только множилась. Письмо задержалось. Я пробовала дозвониться до Икса, но телефон отказывался набирать его рабочий номер. Ко всему прочему, на меня, судя по всему, легла обязанность ухода за ребенком, спавшим в ящике комода. Чем дальше — тем несуразнее и скучнее. Наконец я проснулась. Из головы не шло слово «оберечь». Нужно было как-то от него отделаться. Часы показывали восемь утра; я лежала на тюфяке в квартире Кей на углу Куин-стрит и Батхерст-стрит. В летнюю

жару окна никогда не закрывались: снаружи люди спешили на работу, трамваи останавливать, трогались с места и скрежетали на повороте.

Квартирка у Кей недорогая, уютная, на высоких окнах — неотбеленные ситцевые занавески, зато стены побелены; полы сверкают серой краской. Это дешевое жилище так долго считалось временным, что никому не приходило в голову сделать там ремонт, поэтому на потолке просматривается опалубка, а батареи отопления закрыты допотопными перфорированными щитками. Благодаря ценным выцветшим коврам, а также обыкновенным валикам и покрывалам, разложенные на полу тюфяки становятся больше похожими на диваны, чем на тюфяки. К стене прислонен поставленный на попа старый пружинный матрас, задекорированный шалями и палантинами, а также прикнопленными набросками углем, которые остались от бывшего возлюбленного Кей, художника. Никто не понимает, как этот матрас удалось затащить в квартиру и можно ли будет когда-нибудь вытащить.

Кей работает иллюстратором-флористом: делает тщательно проработанные рисунки растений для учебников ботаники и официальных путеводителей. Живет на ферме, в окружении

большого семейства; взрослые и дети постоянно в разъездах и очень скоро, по всей видимости, вообще перестанут там появляться. Квартиру в Торонто она оставляет за собой и приезжает на день-другой пару раз в месяц. Кей прикипела к этой части Куин-стрит, где во множестве теснятся ресторанчики, антикварные лавки и обретаются тихие бомжи. Здесь мало шансов столкнуться с теми, кто учился с ней в Брэнксом-Холле или отплясывал у нее на свадьбе. Когда Кей выходила замуж, ее жених был в килте, а его собратья-офицеры скрестили мечи наподобие арки. Отец Кей служил бригадным генералом; она впервые появилась на балу не где-нибудь, а в Доме правительства. Сдается мне, именно поэтому она живет рискованными, спонтанными решениями и не реагирует на ночные потасовки под окнами квартиры или столкновения с пьянчужками в дверях дома. Она просто не ощущает угрозы, которая непременно остановила бы меня, и никогда не допускает, что может нарваться на неприятности.

Чайника у Кей нет. Воду кипятят в кастрюле. Кей на десять лет моложе меня. У нее узкие бедра и длинные, прямые, темные с сединой волосы. Ходит она, как правило, в берете и оригинальных

вещичках с чужого плеча, купленных в секонд-хенде. Мы с ней знакомы лет шесть-семь; за это время она не раз влюблялась. Романы эти всегда оказываются довольно смелыми, а подчас карикатурными.

На пароходе, по пути с Сентер-Айленда, она познакомилась с криминальным типом, вышедшим из тюрьмы по условно-досрочному освобождению; это был смуглый рослый мужлан с длинными, развевающимися на ветру черными с сединой волосами, схваченными вышитой лентой. Посадили его за то, что он разнес в щепки дом бывшей жены, а может, дом ее любовника; Кей вначале содрогнулась от такого неистовства, но потом смягчилась. Он рассказал ей, что в нем течет наполовину индейская кровь; в ближайшее время он планировал разобраться с какими-то делами в Торонто, а потом обещал увезти Кей в Британскую Колумбию, на свой родной остров, чтобы они с ней могли кататься на лошадях вдоль берега. Кей поступила в школу верховой езды.

После разрыва с этим типом Кей начала опасаться за свою жизнь. На ее ночных сорочках и нижнем белье стали появляться приколотые булавками страстные угрожающие записки. Она сменила замки, заявила в полицию, но дер-

жалась за свою любовь. Через некоторое время она встретила вышеупомянутого художника, который погромов не устраивал, но зато имел связь с потусторонним миром. До знакомства с Кей ему было знамение; он наперед знал, что она скажет, и нередко видел у нее вокруг шеи зловещее голубое пламя — не то ярмо, не то кольцо. В один прекрасный день он исчез, оставив после себя наброски углем и роскошно изданный анатомический фолиант с чудовищными иллюстрациями: это были фотографии расчлененных трупов со всеми внутренностями, кожей и волосами натуральных цветов, с паутиной кровеносных сосудов, расцвеченных инъекциями алого или синего красящего вещества. Всю историю влюбленностей хозяйки дома можно найти у нее на книжных полках: от эпохи криминального типа остались книги о тюремных бунтах, а также автобиографии заключенных; от эпохи художника — этот анатомический фолиант и литература по оккультизму; от эпохи богатого немецкого коммерсанта, научившего ее слову

«спелеолог», — мемуары Альберта Шпеера[25]; от эпохи уроженца Вест-Индских островов — революционные брошюры.

Каждого мужчину и его образ жизни она принимает с открытой душой. Изучает его язык — в переносном, а то и в прямом смысле. Вначале обычно прячет от знакомых свою влюбленность под маской осторожности или иронии. «На прошлой неделе мне встретился любопытный типаж…» или «Когда я была в гостях, у меня произошел занятный разговор с одним человеком, я тебе не рассказывала?». А потом — дрожь, тайный трепет, виноватая, но решительная улыбка. «Если честно, мне кажется, что я на него запала, вот ужас-то, правда?» Ко времени вашей следующей встречи она уже полностью увязла, сходила к гадалке, в каждую вторую фразу, потупившись, вставляет его имя, причем подпускает сентиментальные нотки, делает трогательно-беспомощное лицо — глаза бы мои не глядели. Далее наступает этап обреченности, мук и сомнений, борьбы за

---

[25] Примечания: 25

…мемуары Альберта Шпеера… — Альберт Шпеер (1905–1981) — государственный деятель Германии, личный архитектор Гитлера, в 1942–1945 гг. рейхсминистр вооружений и военного производства. По приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге отбыл двадцатилетний срок тюремного заключения. В 1969 г. опубликовал написанные в тюрьме мемуары — «Воспоминания».

освобождение себя или его от этой напасти — этап общения через автоответчик. Однажды Кей переоделась старухой, нацепила седой парик, драную шубу — и расхаживала на морозе перед домом своей предполагаемой соперницы. Могла вполне логично, остроумно и хладнокровно рассуждать о своей ошибке, делиться нелицеприятными подробностями, которые узнала о своем возлюбленном, а потом начинала отчаянно донимать его звонками. Напивалась, записывалась на глубокий массаж, на акватерапию, на гимнастику.

В принципе, Кей — не исключение. Многие женщины настроены точно так же. Ну, допустим, у нее это проявляется немного чаще, немного откровеннее, чуть менее разумно, чуть более пылко. Ее вера, ее способности к самовоскрешению просто неистощимы. Как и все, я над ней подтруниваю, но вместе с тем и встаю на ее защиту: доказываю, что она, по крайней мере, не обречена жить в терзаниях, с оглядкой, с затяжными обидами, в смутной то подступающей, то уходящей неприкаянности. Если она доверяет, то безоглядно, если страдает, то мучительно — и выходит из всех передряг без видимых повреждений. Кей не опускает руки и не киснет; картина ее жизни не вызывает у меня отторжения. Сейчас

она переживает очередной разрыв: с (отлученным от тела) мужем другой женщины с фермы. Зовут его Рой; тоже, кстати, антрополог.

— Это последнее дело — втюриться в субъекта с той же фермы, — говорит Кей. — Хуже некуда. Знаешь его как облупленного.

Я признаюсь ей, что мне тоже сейчас необходимо пережить разрыв с человеком, которого встретила в Австралии; хотелось бы прийти в себя к моменту завершения книги, когда нужно будет подыскивать новую работу, новое жилье.

— Не бери в голову, это не горит, — отвечает она.

Задумываюсь над выражением «пережить разрыв». Оно меня бодрит, освежает, возвращает к повседневности. К тому же оно созвучно сегодняшнему настроению моей подруги. Когда роман еще только на подъеме, она держится загадочно, уклончиво; когда же роман близится к закату и самое болезненное уже позади, Кей оживляется, начинает шутить, говорить без обиняков, анализировать.

— Это не что иное, как желание увидеть себя в отраженном свете, — говорит она. — Любовь к другому всегда оборачивается любовью к себе самой. Ужасная глупость. Мужчины как таковые

никому не нужны — нужно лишь то, что можно от них получить: наваждение и самообман. По-моему, об этом сказано в дневниках дочери Виктора Гюго[26] — тебе они не попадались?

— Нет, не попадались.

— Мне тоже, но где-то я про них читала. В том отрывке, который мне запомнился — из того, что я прочла, — меня больше всего поразил такой эпизод: она без памяти влюбилась в одного человека и год за годом бродила по улицам в надежде с ним повстречаться. А повстречалась — и прошла мимо: то ли не узнала его, то ли узнала, но не смогла связать обычного прохожего с тем дорогим ей образом, который хранился у нее в голове. Не смогла — и все тут.

---

[26] Примечания: 26

Дочь Виктора Гюго, Адель, была всю жизнь безнадежно влюблена в офицера-англичанина Альберта Пинсона. Эта влюбленность стала причиной ее помешательства. Адель умерла в психиатрической лечебнице, оставив после себя бесчисленное множество неотправленных писем, адресованных Пинсону. История трагической любви Адели Гюго к английскому лейтенанту легла в основу сюжета фильма Франсуа Трюффо «История Адели Г.» (1975). В психиатрии заболевание, связанное с любовной одержимостью, получило название «синдром Адели».

5

В Ванкувере, в пору нашего знакомства, Икс был совершенно другим человеком. Серьезный магистрант, все еще лютеранин, крепкий, решительный, по мнению некоторых — педант. Жена его, Мэри, инструктор по лечебной физкультуре, слыла более легкомысленной: она увлекалась спортом и танцами. Из них двоих она скорее могла бы навести на мысль об измене. Блондинка с крупными зубами, торчавшими изо рта до самых десен. Однажды на пикнике я наблюдала за ее игрой в бейсбол. В какой-то момент мне пришлось отойти в сторону и укрыться за кустами, чтобы покормить малютку-дочь. Тогда, в возрасте двадцати одного года, я была неприметной кормящей матерью. С виду вся пухлая, розовая, а внутри — темные суждения и отчаянные амбиции. Пристраститься к сексу я еще не успела. Вообще.

Икс последовал за мной и протянул мне бутылку пива.

— Что это ты сюда забилась?

— Ребенка кормлю.

— А прятаться зачем? Никто и внимания не

обратит.

— Мой муж с ума сойдет.

— Ага. Ладно, выпей пива. Говорят, для лактации полезно, это правда?

Вот и все, чем запомнилась мне наша с ним первая встреча. Я отметила у него непосредственность в общении, чуть неуклюжую, но явную доброжелательность, а у себя — неожиданное легкое чувство благодарности, которое позже наблюдала и у других женщин, обласканных его вниманием. Не сомневаюсь, что он всех подкупал своим терпением, спокойствием, производил впечатление человека успешного, внимательного, искреннего.

6

С Деннисом я столкнулась в читальном зале Городской библиотеки Торонто, и он сразу пригласил меня на ужин.

Деннис — друг Икса; в Австралии он как-то заходил к нам в гости. Это высокий, худощавый, неловкий молодой человек с безмятежной улыбкой; впрочем, не такой уж и молодой — лет тридцати пяти; подчеркнуто любезен, разговаривает назидательным тоном.

Встречаюсь я с ним исключительно потому, что надеюсь кое-что вызнать. А вообще, мне странно, что он пригласил на ужин особу не первой молодости, которую до этого видел раз в жизни. Думаю, он хотя бы сообщит, вернулся ли Икс в Канаду. Сам Икс говорил мне, что они, скорее всего, приедут в июле. После этого он планировал за год написать книгу. В течение этого года они, скорее всего, будут жить в провинции Новая Шотландия. А может, в Онтарио.

Тогда, в Австралии, к приходу Денниса я приготовила карри. Меня обрадовало, что у нас будет гость и что мы успеем полюбоваться недолгим закатом над бухтой. Наш дом, как и все сосед-

ние, стоял на сваях; с веранды, на которой мы ужинали, открывался вид на овальную чашу бухты, окаймленную домиками в зарослях джакаранды, цезальпинии, красного жасмина, кипарисов и пальм. Листья — словно веера, плети, перья, блюдца: все оттенки яркого, светлого, темного, пыльного, сверкающего зеленого. У воды гнездились цесарки, а вечерами в небо стаями взмывали кукабарры. Чтобы попасть в хозяйственное помещение и развесить белье на крутящейся сушилке, приходилось буквально сползать по крутому земляному склону. Бытовка встречала нас многоярусной паутиной. Особую тревогу внушал нам один маленький паучок, что плетет паутину в форме конуса и при укусе впрыскивает своей жертве яд, от которого не существует противоядия.

Предоставив Деннису любоваться бухтой, мы рассказали, что у нас традиционный квинслендский дом старой постройки, с высокими шпунтовыми стенами и с резными вентиляционными панелями в виде изящных виноградных лоз. Деннис не особо заинтересовался: он без умолку говорил о Китае, откуда недавно вернулся. Позднее Икс объяснил мне, что Деннис всегда зацикливается на новых для себя местах и новых

знакомых и, можно подумать, ничего вокруг не замечает, но наверняка станет взахлеб расписывать наш дом и нас самих, когда будет ужинать в следующем городе, куда занесет его судьба. Еще Икс добавил, что для Денниса смысл жизни заключается в путешествиях и последующих путевых рассказах, а знакомых у него множество, причем ровно настолько близких, чтобы ожидать от них приглашения на ужин.

Деннис поведал, что недавно участвовал в раскопках «Терракотовой армии» близ китайского города Сиань. Описал шеренги солдат: каждый воин, изваянный в реалистической манере, в натуральную величину, отличается собственным неповторимым обликом; отдельные фигуры даже сохранили следы красок, которые в древности покрывали их полностью и способствовали дальнейшей индивидуализации. А за спинами солдат, рассказывал Деннис, возвышается земляной вал. И создается впечатление, будто терракотовые солдаты выходят из-под земли.

Напоследок Деннис заметил, что это зрелище напомнило ему женщин Икса. Шеренга за шеренгой, без конца и без края.

— Армия наступает, — сказал он.

— Деннис, прошу тебя, — взмолился Икс.

— Неужели они действительно выходят из-под земли? — спросила я у Денниса. — В целости и сохранности?

— Кто? — переспросил Деннис с ядовитой улыбочкой. — Воины или женщины? Женщины — нет, не в целости. А если и в целости, то это ненадолго.

— Может, сменим тему? — не выдержал Икс.

— Конечно. Итак, отвечаю на ваш вопрос, — обернулся ко мне Деннис. — Фигуры крайне редко находят целиком. Если я правильно понял. В большинстве случаев ноги, торс и голову приходится подбирать, как в мозаике. Все части скрепляют и фигуру ставят вертикально.

— Адова работа, уж я-то знаю, — с глубоким вздохом выговорил Икс.

— Ну, с женщинами совсем не так, — сказала я Деннису почти кокетливо, включив особое светское обаяние, — это моя обычная реакция на злословие. — По-моему, сравнение притянуто за уши. Женщин не приходится выкапывать из земли и ставить вертикально. Их ведь никто не закапывал. Они сами пришли, заняли место в строю и вскоре разойдутся. Это не регулярная армия. Да к тому же большинство проследует дальше, своим путем.

— Браво, — сказал Икс.

Когда мы с ним поздно вечером мыли посуду, он спросил:

— Ты не обиделась, что Деннис тут наговорил ерунды? Не обиделась, что я не дал ему отпор? Ему как воздух необходимы всякие небылицы.

Я прижалась щекой к его спине, между лопатками.

— Правда? Нет, не обиделась. А только посмеялась.

— Готов поспорить, ты не догадываешься, что мыло впервые описано у Плиния. Оно было в ходу еще у галлов. Тебе наверняка неизвестно, что они вытапливали козий жир и смешивали его со щелоком, полученным из древесной золы.

— Не знала, — ответила я.

7

Деннис ни словом не обмолвился ни об Иксе, ни об Австралии. Я давно выбросила его из головы — иначе это приглашение на ужин меня бы не удивило. Ему просто хотелось выговориться. После Австралии он успел посетить Исландию и Фарерские острова. Я задавала вопросы. При необходимости я могу изобразить интерес, изумление и даже оторопь. Перед этой встречей я вымыла голову и тщательно подкрасилась. Если он увидится с Иксом, пусть расскажет, как прелестно я выгляжу. Помимо путешествий, Деннис известен своими теориями. Он развивает теории литературы и искусства, истории, жизни.

— У меня есть новая теория насчет участи женщин. Раньше мне казалось, что на их долю выпадают сплошные несправедливости.

— Что за несправедливости?

— Какая у них жизнь, в сравнении с мужчинами? Особенно в зрелом возрасте. Взять хотя бы вас. Представьте, как сложилась бы ваша жизнь, будь вы мужчиной. Какие бы перед вами открылись возможности. В плане секса. Вы могли бы начать все сначала. Мужчины так и поступают.

Это описано в романах, но и в жизни все точно так же. Мужчины влюбляются в женщин моложе себя. Они хотят молоденьких девушек. И вполне могут их заполучить. Новый брак, новые дети, новая семья.

Я про себя думаю: наверное, сейчас расскажет, что Икс женился на молодой; наверное, она вот-вот родит.

— Это же настоящий триумф, правда? — продолжает Деннис со свойственной ему гадкой сочувственной улыбочкой. — Цветущая, юная жена, новорожденный младенец — а между тем у друзей уже пошли внуки. Знакомые мужчины завидуют, начинают прикидывать, как им добиться того же. Это ведь шикарно, правда? Трудно устоять, когда есть возможность держать перед собой такое милое зеркало.

— Мне кажется, я бы устояла, — легко, без нажима отвечаю я. — В данный момент мне совершенно не хочется заводить детей.

— Вот именно, в том-то и штука — у вас возможности такой нет! Вы — женщина, у вас жизнь движется только в одну сторону. А эти разговоры про молодых любовников — просто пена, так ведь? Вот вы, к примеру, хотели бы завести молодого любовника?

— Наверное, нет, — говорю я и беру себе десерт с принесенного официантом подноса. Выбираю аппетитный сливочный пудинг: внизу каштановое пюре, сверху ягоды свежей малины. Я специально заказала легкий ужин, чтобы оставить место для десерта — хоть чем-то скрасить трескотню Денниса.

— Женщины вашего возраста не выдерживают конкуренции, — настойчиво гнет свое Деннис. — Они не могут соперничать с молодыми. Когда-то мне виделась в этом страшная несправедливость.

— Очевидно, с биологической точки зрения правильно, что мужчин тянет к более молодым женщинам. Стоит ли об этом сокрушаться?

— Значит, у мужчин есть возможность самообновления, возможность подпитки своего мужского начала, а женщины, так сказать, отрезаны от жизни. Раньше мне виделся в этом сущий кошмар. Но теперь мое мышление повернулось на сто восемьдесят градусов. Знаете, как я сейчас рассуждаю? Я считаю, что женщинам очень повезло! А знаете почему?

— Почему?

— Да потому, что они волей-неволей живут в том мире, где есть утраты и смерть! Да, конечно,

существует косметическая хирургия, но какой от нее прок? Матка усыхает. Влагалище усыхает.

Чувствую, что он наблюдает за моей реакцией. Продолжаю смаковать десерт.

— Я повидал много стран, много странностей, много страданий. И пришел к выводу, что жизнь не обманешь. Только через естественное отречение, только через смирение перед утратами возможно приготовиться к смерти и тем самым обрести истинное счастье. Вас не удивляет ход моих мыслей?

Как ответить — ума не приложу.

8

Порой у меня в памяти всплывают какие-нибудь поэтические строки, а откуда они берутся — сама не знаю. То ли это целая поэма, то ли простое двустишие — прежде я о них не ведала ни сном ни духом, и зачастую они совершенно не в моем вкусе. Бывает, я просто от них отмахиваюсь, но в противном случае мне, как правило, становится ясно, что эта поэма или откуда ни возьмись появившийся отрывок определенным образом связаны с событиями моей жизни. Причем не обязательно с теми событиями, которые видны невооруженным глазом.

Например, весной прошлого года, равно как и прошлой осенью в Австралии, когда я была счастлива, у меня в голове крутилась такая бодрая строчка: «О, Время! Мы тебе сдаем в заклад…»

А дальше — как заколодило, хотя я помнила, что «заклад» рифмуется с «отрад», а в конце — что-то в таком духе: «И там, во тьме, в обители червей / Захлопываешь повесть наших дней». Я знала, что стихотворение это сочинил Уолтер

Рэли накануне своей казни.[27] Но мое настроение совершенно не вязалось с таким финалом, и я про себя повторяла первую строчку как нечто милое и безмятежное. И даже не потрудилась задуматься: что же, собственно, она делает у меня в голове?

А сейчас посмотрю на вещи трезво, чтобы вспомнить, о чем мы говорили, когда, упаковав чемоданы, ждали такси. В чемоданах лежали наши вещи, которые привыкли соседствовать в комоде и в стенном шкафу, переплетаться в стиральной машине, висеть бок о бок на сушилке, куда опускались кукабарры; теперь эти вещи были тщательно разобраны и разделены, чтобы никогда больше не соприкоснуться.

— В каком-то смысле даже хорошо, что все закончилось без ложки дегтя. В подобных случаях ложка дегтя не редкость.

— Да, верно.

— А так все складывается идеально.

Это сказал не кто-нибудь, а я. Разумеется, солгав. Я даже всплакнула, но решила, что слезы меня портят, а его утомляют.

---

[27] Примечания: 27

Сэр Уолтер Рэли (1552–1618) — английский государственный деятель, авантюрист, поэт и писатель, историк, фаворит королевы Елизаветы I. Отрывок из его стихотворения «Природа, вымыв руки молоком...» приводится в переводе Г. Кружкова.

Но он только повторил:

— Идеально.

В самолете это стихотворение опять завертелось в голове, но я все еще была счастлива. Заснула я с мыслью о том, что Икс телом находится рядом со мной, а после пробуждения быстро заполнила пустоту, вспоминая его голос, внешний облик, наши общие эпизоды.

Поначалу я купалась в своих воспоминаниях. Эти подробные многократные эпизоды удерживали меня на плаву. Я не пыталась от них убежать — мне этого просто не хотелось. Со временем, правда, захотелось. Они преследовали меня, как чума. И только дразнили желание, тоску и безнадежность — эту троицу хищников, загнанных в клетку и втиснутых ко мне в душу, хотя я этому противилась или, во всяком случае, не понимала, сколько они там проживут и сильно ли будут злобствовать. Образы, знаковые системы порнографии и романтики схожи: монотонны, автоматически обольстительны, чреваты скорым отчаянием. В них копался мой ум; не унимается он и по сей день. Я пытаюсь проявлять бдительность, читаю серьезную литературу, но время от времени увязаю в каком-нибудь из старых эпизодов — сама не знаю, как это получается.

На кровати лежит женщина в желтой ночной рубашке, которая не порвана, но сдернута с плеч и задрана к талии, прикрывая не больше, чем скомканный шарфик. Сверху склоняется обнаженный мужчина; протягивает стакан воды. Женщина почти без сознания: ноги ее широко разведены в стороны, руки раскинуты, голова свернута набок, словно каким-то стихийным бедствием; женщина делает над собой усилие, чтобы приподняться, и пытается удержать стакан трясущимися руками. Проливает воду на грудь, делает глоток, содрогается, падает на спину. У мужчины тоже дрожат руки. Он отхлебывает из того же стакана, смотрит на женщину — и смеется. Смех получается горестный, виноватый и добрый, но вместе с тем изумленный, и от этого изумления — один шаг до ужаса. Как мы на такое подвиглись? — вопрошает его смех. Как это понимать?

Вслух мужчина говорит:

— Мы едва не угробили друг друга.

Комната хранит отголоски недавнего смятения, криков, мольбы, зверских обещаний, жестоких заявлений и долгих, затихающих спазмов.

В ту же комнату льются признательность и блаженство, густой нектар любви, золотые сумерки любви. Да, да, этот воздух можно пить.

Вы понимаете, что я имею в виду: это и есть мои собственные муки.

9

Стоит такая пора, когда женщинам уже надоели сарафаны, ситчики, босоножки. В универмагах уже почти осень. К черному и лиловому бархату прикреплены толстые свитера и юбки. Молоденькие продавщицы размалеваны, как куртизанки. Я лихорадочно бросаюсь в мир одежды. Для меня все разговоры в универмагах наполняются смыслом.

— Такая горловина не пойдет. Слишком выхвачена. Мне нужна лодочка. Понимаете?

— Да, понимаю.

— Мне нужно нечто стильное и очень провокационное. Вы меня понимаете?

— Да. Я вас прекрасно понимаю.

Годами я носила блеклые тона — и вдруг меня начинает от них мутить. Покупаю насыщенно-красную блузу, пурпурную шаль, юбку цвета индиго. Делаю стрижку, коррекцию бровей, пробую сиреневую помаду и коричневатые румяна. Противно вспомнить, как я ходила в Австралии: линялая запахивающаяся юбка и футболка, голые ноги, физиономия тоже голая, голова под ситцевой панамой вечно потная. На ногах про-

ступают узловатые вены. Подозреваю, что, будь у меня тогда более пристойный внешний вид — и впечатление было бы совсем иное, а эффектная одежда дала бы понять, что меня не стоит отбраковывать. Меня посещают фантазии на тему неожиданной встречи с Иксом где-нибудь в гостях или на одной из улиц Торонто: как его ошеломит, сразит наповал мой новый облик и запоздалый шик. Но я начеку, не забываю о чувстве меры: важно не перейти тот рубеж, за которым даже в наше вульгарное время шик оборачивается нелепостью. Впрочем, все другие тоже, вероятно, начеку — все женщины преклонного возраста, что попадаются мне навстречу на Куин-стрит: вот эта толстуха с розовыми кудельками; восьмидесятилетняя карга с нарисованными густо-черными бровями; видимо, каждая считает, что еще не переступила тот рубеж, еще балансирует на грани. Даже старушка-лютик, которую я на днях видела в трамвае: низкорослая, полная, лет шестидесяти, в желтом платьице намного выше колена, да еще с оборками, в соломенной шляпе с желтыми лентами, в желтых, явно перекрашенных туфлях — даже она вряд ли намеревалась сделать из себя посмешище. В зеркале ей видится цветок с пышными лепестками прелестного теплого оттенка.

Хочу присмотреть сережки. Весь день убила на поиски сережек, которые представляю себе вполне отчетливо. Мне нужны серебряные, филигранной работы, свободно болтающиеся шарики небольшого размера. Старое серебро, чуть потемневшее. Я прекрасно помню украшения такого рода; вероятно, их можно отыскать в комиссионном. Но и там я не нахожу ничего даже отдаленно похожего, отчего их покупка вырастает до масштабов острой необходимости. На углу Колледж-стрит и Спадина-авеню сворачиваю в переулок, где есть маленькая лавчонка. Вся оклеена черными обоями с дешевыми зловещими картинками, как то сидящий на стремянке голый, лысый манекен, поигрывающий четками. Розовое бальное платье, сплошной тюль с блестками, типа того, что я носила в пятидесятые годы, жутко натиравшее под мышками, на фоне черной стены выглядит скорее устрашающим, нежели привлекательным.

Разглядываю лоток с ювелирными изделиями. Продавщицы суетятся вокруг покупательницы, скрытой от меня трехстворчатым зеркалом. Одна из девушек — пышка цыганистого вида, с абрикосовыми щечками. У второй на голове белый «ирокез», окруженный черной каймой, так что

девица похожа на скунса. Девчонки, взвизгивая от восторга, тащат все новые и новые шляпки и бусы, чтобы всучить их покупательнице. Наконец все удовлетворены, и прелестная молодая дама, на поверку оказавшаяся не дамой, а миловидным юношей в женской одежде, выходит из-за зеркальной перегородки. Юноша облачен в черное бархатное платье на черной кружевной кокетке, с длинным рукавом, и черные перчатки; на ногах черные туфли-лодочки; на голове шляпка с ажурной вуалью. Макияж деликатный, неброский; вьющаяся каштановая челочка. Это самое красивое и самое женоподобное существо, какое только встретилось мне за целый день. Улыбчивое, напряженное, трепетное личико. Помню, как я в возрасте лет десяти наряжалась невестой, завернувшись в старые занавески, или знатной леди, нарумянив щеки и нацепив шляпу с перьями. После таких задумок и усилий мое упоение от успеха всякий раз сменялось нешуточным огорчением. А дальше-то что? Расхаживать туда-сюда по тротуару? Такая демонстрация сопряжена с огромным риском, дерзостью и разочарованием.

Голос у него мальчишеский, ломающийся. Сам хрупкий, застенчивый.

— Как я выгляжу, бабушка?
— Ты выглядишь замечательно.

10

Настроение у меня на нуле. Распознать это нетрудно. А значит, можно и преодолеть — по всей вероятности.

Настроение на нуле, что и говорить. Со всем, что навалилось, мне самой не справиться, нужно обращаться за помощью, но единственный человек, от которого я готова принять помощь, — это Икс. Если я не буду существовать в его сознании, перед его взором, у меня просто не хватит сил переставлять ноги. Многие сталкиваются с такой проблемой, и мы утверждаем, что они сами виноваты: надо изменить свой образ мыслей, вот и все. Проблема эта — не из разряда благопристойных. А любовь — штука несерьезная, хотя, бывает, заканчивается смертельным исходом. Где-то я такое вычитала — и сразу согласилась. Слава богу, что я не знаю, где сейчас Икс. Не могу ни позвонить, ни написать, ни подкараулить на тротуаре.

В свое время один мужчина, которого я бросила, стал меня преследовать. В конце концов он убедил меня зайти с ним в кафе на чашку чая.

— Я знаю, что представляю собой жалкое зре-

лище, — сказал он. — Если у тебя и оставалось ко мне хоть какое-то чувство, то сейчас оно полностью уничтожено, это мне понятно.

Его фраза осталась без ответа.

Он постучал чайной ложкой о край сахарницы.

— О чем ты думаешь, когда находишься рядом со мной?

Я хотела сказать «не знаю», но вместо это у меня вырвалось:

— Думаю, как бы поскорей отделаться.

Его затрясло. Вскочив, он швырнул ложку об пол.

— Тебя никто не держит, — задыхаясь, выдавил он.

Сцена комичная и вместе с тем жуткая, театральная и одновременно естественная. Он дошел до крайности, как я сейчас, а я не посочувствовала и, оглядываясь назад, совершенно в этом не раскаиваюсь.

11

Как-то я увидела приятный сон, чрезвычайно далекий от реального положения дел. Мы с Иксом и еще с какими-то людьми, которых я не знала или не вспомнила, надели скромное спортивное белье, в какой-то момент превратившееся в тонкие белые одежды, но оказалось, что это не одежды вовсе, а наша телесность, наша плоть и кровь, в каком-то смысле — и наши души. Когда дело дошло до объятий, они начались с обычной пылкостью, но вскоре преобразовались, за счет нашей легкой сладостной телесности, в редкое состояние довольства. Не берусь описать более внятно: получается нечто похожее на киношные сны, банальные и невинные. Впрочем, так, наверное, оно и было. Не извиняться же мне за банальность своих снов.

12

Иду в кондитерскую «Роонеэм», беру чашку кофе, сажусь за крошечный столик. «Роонеэм» — эстонская пекарня, где нередко можно застать и средиземноморскую домохозяйку в черном платье, и ребенка, глазеющего на пирожные, и мужчину, который беседует сам с собой.

Я сажусь так, чтобы видеть улицу. У меня такое чувство, что Икс где-то поблизости. В пределах тысячи, а то и сотни миль от города. Моего адреса у него нет, но ему известно, что я в Торонто. Разыскать меня не составит труда.

В то же время я подумываю о том, чтобы положить этому конец. На самом деле решить надо только один вопрос: продолжать ли это безумие, но у меня не достанет стойкости, элементарно не достанет кипучей силы воли, чтобы долго поддерживать в себе помешательство.

Есть предел несчастьям и метаниям, с которыми мы готовы мириться во имя любви, точно так же, как есть предел беспорядку, который мы готовы терпеть у себя в доме. Этот предел никогда не известен наперед, но, дойдя до него, не ошибешься. Я уверена.

Когда начинаешь делать над собой усилие, происходит вот что. Боль исподтишка выстреливает своим жалом, застигнув тебя врасплох. Затем почему-то наступает легкость. Над этой легкостью нужно как следует поразмыслить. Она не сводится к облегчению. В ней есть своего рода удовольствие, не мазохистское, не злобное — ровным счетом ничего личного. Удовольствие это довольно странное. Непрошеное удовольствие от обнаруженной нестыковки в чертежах и от вида падающей постройки, удовольствие от учета — в очередной раз — всего, что есть противоречивого, настырного, неподатливого в этой жизни. Так мне представляется. Мне представляется, что есть в каждом из нас нечто такое, что жаждет ободрения, наряду — и в конфликте — с тем, что жаждет красоты за окном и приятной беседы.

Вспоминаю свою одержимость и вижу, что она была приложена не к месту. Только сейчас до меня дошло, что в любви неуместность — это ключ ко всем вопросам, суть проблемы, но я, как бывает под градусом или под кайфом, не до конца сознаю то, что вижу.

Прежде всего мне нужен отдых. Запланированный отдых, с новым пониманием везенья. Отличным от того, про которое толковал мне Ден-

нис. Везенье — это когда появляется возможность посидеть у «Роонеэма» за чашкой кофе, среди посетителей, которые приходят и уходят, едят и пьют, покупают домой пирожные и при этом разговаривают на испанском, португальском, китайском и прочих языках, которые ты иногда пытаешься распознать.

13

Из деревни вернулась Кей. У нее тоже новый наряд: темно-зеленый школьный пиджачок, надетый на голое тело, без блузки и даже без лифчика. Довершают ее облик темно-зеленые гетры и туфли для верховой езды.

— Прикольно, правда? — спрашивает она.

— Да, правда, — ответила я.

— У меня руки не кажутся по плечи грязными? Помнишь, в каком-то старом стихотворении говорится о женщине со смуглыми руками?

Руки у нее действительно мягкие и загорелые.

— Я собиралась приехать еще в воскресенье, но нагрянул Рой с приятелем, и мы устроили праздник молодой кукурузы. Получилось очень здорово. Ты должна приехать к нам на ферму. Непременно.

— Когда-нибудь обязательно доеду.

— Дети носились, как чертенята. Мы накачались медовухой. Рой умеет делать ритуальных божков плодородия. Друг Роя, Алекс Вальтер, — антрополог. Я подумала, что должна бы его знать, но так и не вспомнила. Он не обиделся. Добрая душа. Знаешь, что он сделал? В темноте, когда мы

разожгли костер, он сел рядом со мной, вздохнул и положил голову мне на колени. Я подумала: до чего же это мило и безыскусно. Как сенбернар. Такое со мной впервые в жизни.

Прю

Одно время Прю жила с Гордоном. В общей сложности год и четыре месяца — когда он от жены ушел, а вернуться еще не успел. Потом они с женой развелись. А после заметались: то сойдутся, то разбегутся; затем жена его в Новую Зеландию подалась, и, как видно, с концами.

Прю не стала возвращаться на остров Ванкувер, где Гордон ее и подцепил, когда она подвизалась официанткой в курортной гостинице. Нашла себе работу в Торонто, в цветочном магазине. К тому времени у нее полно знакомых в Торонто было, в основном от Гордона ей достались да от его жены. Прю всем полюбилась, друзья ее жалели, а она их за это на смех поднимала. Славная она, Прю. Говорок у нее, как на востоке Канады считают, британский, хотя родилась она в Канаде — в Данкане, аккурат на острове Ванкувер. Таким говорком любую скабрезность отмочить можно, а получится безобидно и весело. Про жизнь про свою она рассказывает вроде как байками; даром что байки эти — о том, как рушатся надежды, как разбиваются мечты, как планы срываются, как

все боком выходит, а вот поди ж ты: послушаешь ее — и на душе светлеет; люди говорят: отрадно хоть кого-нибудь встретить, кто себя пупом земли не считает, не пыжится, не хамит, всем доволен и ничего не требует.

Всем она довольна, кроме своего имени. Прю, говорит, — это девчонка-школьница, а Прюденс — уже старая дева; родители, когда ее этим именем нарекли, так близоруки были, что простой детородный возраст упустили из виду. А ну бы, говорит, бюст пышный вырос или внешность проявилась знойная? Можно подумать, своим имечком она была от этого застрахована. Нынче ей под пятьдесят, сама стройная, светленькая, к покупателям со всей приветливостью, да и за столом — душа компании; видно, не так уж и просчитались ее родители: по натуре она живая, заботливая, наблюдательная, неунывающая. Трудно представить ее солидной матроной, обремененной житейскими проблемами.

Взрослые дети ее, от раннего ванкуверского брака, который она сама называет «вселенским бедствием», мать не забывают и, не в пример другим детям, кто из родителей только деньги тянет, наезжают к ней с подарками, предлагают со счетами разобраться, нанимают мастеров, что-

бы дом ей утеплили. Она подаркам всегда рада, к советам детей прислушивается и, подобно легкомысленной дочке, на письма отвечать не любит.

Дети надеются, что она не ради Гордона в Торонто обосновалась. Все на это надеются. А ей просто смешно такое слышать. Она гостей у себя собирает и сама от приглашений не отказывается, а бывает, и романы с другими мужчинами крутит. Ее отношение к сексу возвращает на землю тех знакомых, которые считают, что их жизнь пошла наперекосяк, и лезут на стенку от страсти и ревности. А Прю, похоже, видит в сексе занятие приятное, но малость глуповатое, как танцы или застолье: что в охотку, то и хорошо.

Поскольку жена у него с концами сгинула, Гордон теперь время от времени к Прю захаживает, а то и ведет ее поужинать. Ну, не в ресторан, конечно, а к себе домой. Готовит он отменно. Когда он жил с Прю или со своей законной женой, готовить вовсе не умел, а как нужда заставила — наловчился и обеих, выражаясь его словами, за пояс заткнул.

В прошлый раз, например, приготовил котлеты по-киевски, а на десерт крем-брюле обещал. И, как заправский шеф-повар нового толка, весь вечер о еде разглагольствовал.

По меркам Прю (да и большинства знакомых) Гордон — богатей. Он невролог. Новый дом купил в северном пригороде, на склоне, где раньше тянулись живописные, но убыточные фермы. Теперь весь этот склон раздербанили на участки по пол-акра и поставили на них дорогущие особняки — хоть и по индивидуальным проектам выстроенные, а все под одну гребенку. Прю, когда описывает дом Гордона, так говорит: «Представляете, у него четыре ванные комнаты. Если четверым гостям приспичит одновременно ванну принять — пожалуйста. Вроде как излишество, но до чего приятно, да и в коридор выскакивать не приходится».

У Гордона в доме столовая поднята вроде как на помост, а вокруг — уголок для беседы, музыкальный уголок и целая оранжерея за наклонными стеклянными щитами. С помоста входная дверь не видна, но, поскольку стены отсутствуют, из одной части дома при желании можно услышать, что происходит в другой.

Во время ужина задребезжал звонок. Гордон извинился и побежал вниз. Прю слышит — женский голос. Гостья покамест за порогом стоит, слов не разобрать. А Гордон осторожничает, говорит вполголоса. Дверь не захлопнули, гостью,

стало быть, в дом не позвали, а разговор не умолкает: хоть и приглушенный, да на повышенных тонах. Вдруг Гордон как завопит — и вверх по лестнице побежал. Остановился на полпути, руками машет.

— Крем-брюле! — спохватился. — Присмотришь? — И снова вниз, а Прю вскочила — и на кухню, десерт спасать.

Вернулась — тут и Гордон по ступенькам поднимается нога за ногу, а сам на взводе и какой-то измочаленный.

— Знакомая приходила, — буркнул. — Ну как, успела?

Прю сообразила, что он насчет крем-брюле интересуется; а как же, говорит, успела, и как раз вовремя. Он ее похвалил, а сам все равно сидит как в воду опущенный. Значит, не десерт его беспокоил, а тот разговор у дверей. Чтобы его отвлечь, Прю со знанием дела завела беседу об оранжерейных растениях.

Он ей:

— Я в них не разбираюсь. Ты же прекрасно знаешь.

— А я подумала: может, поднаторел? Как в кулинарии.

— Она сама неплохо справляется.

— Это ты про миссис Карр? — переспросила Прю, имея в виду его экономку.

— А ты про кого подумала?

Прю вспыхнула. Еще не хватало, чтоб он заподозрил, будто она вынюхивает.

— Сложность, видишь ли, в том, что я, наверное, захочу на тебе жениться, — сказал Гордон, ничуть не приободрившись.

Гордон — мужчина грузный, с тяжелыми чертами. Носит толстые рубахи-куртки, свитера крупной вязки. Бывает, его голубые глаза становятся воспаленными, и такое в них появляется беззащитное выражение, что любой поймет: за этой рыхлой крепостью мечется беспомощная потерянная душа.

— Ой, батюшки мои, какая сложность, — смешливо фыркнула Прю, хотя, зная Гордона, поняла, что так оно и есть.

Тут опять звонок затренькал; Гордон еще по лестнице сбежать не успел, а внизу стали давить на кнопку во второй раз, в третий. Теперь послышался какой-то грохот, будто в прихожую влетел тяжелый предмет и рухнул на пол. Хлопнула дверь, и на лестнице тут же возник Гордон. Он еле ноги передвигал и одной рукой держался за голову, а другой показывал, что, дескать, все в

порядке, сиди, не вставай.

— Саквояж, будь он неладен, — выдавил Гордон. — Запустила в меня саквояжем.

— В голову попала?

— По касательной.

— Что-то грохоту много было для простого саквояжа. Камни в нем, что ли?

— Флаконы, как видно. Дезодорант ее и все такое.

— Ой ли.

Прю смотрела, как он наливает себе виски.

— А я бы, если можно, кофе выпила, — сказала она и пошла ставить чайник; Гордон поплелся следом.

— Сдается мне, люблю я эту мамзель, — сказал он.

— Да кто она такая?

— Ты не знаешь. Девчонка совсем.

— Ой ли.

— Но жениться-то я на тебе хочу, лет этак через несколько.

— Когда ее разлюбишь?

— Вот именно.

— Ну… кто знает, что с нами будет лет через несколько.

Рассказывая эту историю, Прю замечает:

— Сдается мне, ему пригрезилось, что я смеяться буду. Не понимает он, по какой причине люди смеются и по какой причине фигачат в него саквояжами, но замечает, что такое случается. На самом деле человек он приличный. Такой ужин организовал. А она тут как тут, с саквояжиком. Понятно, что он решил на мне жениться, когда ее разлюбит. Поначалу-то, сдается мне, он это просто так сказал, чтобы я не дергалась.

Умалчивает она лишь о том, что на другой день прихватила у него с комода янтарную запонку. Эту пару запонок он купил в России, когда во время примирения с женой ездил туда в отпуск. Янтарные подушечки похожи на золотистые квадратные карамельки, и эта, почти прозрачная, сразу нагревается в ладони. Прю опускает ее в карман жакета. Умыкнуть одну запонку — это еще не кража. Ну, взяла на память — это всего лишь проделка любовная, сущая безделица.

В его доме Прю сейчас одна; Гордон всегда рано уходит. Экономка раньше девяти не появится. Прю на работу к десяти: могла бы и завтрак себе приготовить, и с экономкой за чашечкой кофе посидеть: они с ней сто лет в подругах. Но сегодня, когда в кармане лежит запонка, Прю не мешкает. В доме как-то холодно стало, задер-

живаться неохота. К слову сказать, Прю сама Гордону помогала участок выбрать. Но к плану застройки отношения не имела — в ту пору жена вернулась.

У себя дома Прю опускает запонку в табакерку. Табакерку эту много лет назад дети купили для нее в антикварной лавке. Прю тогда еще курила, и дети беспокоились о ее здоровье. Купили они эту табакерку и набили доверху помадками, мармеладом и прочими сластями, да еще открыточку приложили: «Лучше толстей». Это был ей подарок ко дню рождения. Теперь в табакерке — помимо этой запонки — хранятся всякие мелочи: не больно ценные, но и не бросовые. Маленькая тарелочка, расписанная эмалевыми красками, серебряная ложечка для соли, хрустальная рыбка. И не скажешь, что они дороги ей как память. Она их никогда не извлекает на свет, а порой даже забывает, что там лежит, в этой табакерке. Это не награды, не принадлежности для ворожбы. Прю не в каждый заход умыкает у Гордона из дому какую-нибудь вещицу, даже не каждый раз, когда на ночь остается или когда, как сама выражается, посещение оказалось памятным. Делает она это в здравом рассудке, а не то чтобы помимо своей воли. Просто время от времени берет какую-ни-

будь безделушку и хоронит ее в недрах старой табакерки, а потом более или менее забывает.

Праздничный ужин

В шесть вечера без нескольких минут Джордж, Роберта, Анджела и Ева выходят из пикапа (переселившись на ферму, Джордж обменял свою легковушку на пикап) и шагают через палисадник Валери, под сенью двух надменных роскошных вязов, которые знают себе цену. По словам Валери, эти деревья стоили ей поездки в Европу. Под ними все лето поддерживается газон, окаймленный полыхающими георгинами. Дом сложен из бледно-красного кирпича, дверные и оконные проемы подчеркнуты декоративной кладкой более светлого оттенка, изначально — белым кирпичом. В Грей-каунти такой стиль не редкость; видимо, это был фирменный знак одного из первых подрядчиков.

Джордж несет складные кресла, захваченные по просьбе Валери. Роберта несет замороженный десерт «малиновая бомба», приготовленный из ягод, собранных в середине лета на их собственной ферме (на ферме Джорджа). Десерт обложен кубиками льда и завернут в кухонные полотенца, но Роберта стремится как можно скорее поста-

вить свое творение в морозильник. Анджела и Ева несут вино. Анджела и Ева — дочери Роберты. По договоренности Роберты с мужем, девочки проводят летние каникулы на ферме, а в течение учебного года живут с отцом в Галифаксе. Муж Роберты — офицер военно-морского флота. Анджеле семнадцать лет, Еве двенадцать.

Четверо гостей одеты так, будто направляются в совершенно разные места. Джордж, коренастый, смуглый, с мощной грудью, сохраняющий грозное профессиональное выражение непререкаемой самоуверенности (в прошлом он учитель), приехал в чистой футболке и каких-то нелепых штанах. Роберта надела светло-бежевые брюки и свободную блузку из натурального шелка. Цвет мокрой глины в принципе неплохо подходит к темным волосам и бледному лицу Роберты, особенно когда она в хорошей форме, но сегодня она явно не в лучшей форме. Подкрашиваясь перед зеркалом в ванной комнате, она про себя отметила, что кожа у нее смахивает на вощеную бумагу, которую вначале скомкали, а потом разгладили. В то же время Роберта порадовалась своей стройности и решила добавить гламурный штрих — надеть облегающий серебристый топ с бретелькой через шею, но в последнюю минуту

передумала. Глаза пришлось скрыть за темными очками: в последнее время на нее накатывают приступы слезливости, причем не в самые скверные моменты, а в промежутках; приступы неудержимые, сродни чиханию.

Что же до Анджелы и Евы, те соорудили себе фантастические наряды из старых занавесок, обнаруженных у Джорджа на чердаке. Анджела выбрала изумрудно-зеленый выгоревший полосами дамаск и присборила его так, чтобы обнажить золотистое от загара плечико. Из той же шторы вырезала виноградные листья, наклеила на картон и закрепила в волосах. Высокая, светленькая, Анджела еще не привыкла к своей недавно раскрывшейся красоте. Может всячески выставлять ее напоказ, вот как сейчас, но стоит кому-нибудь отметить эту божественную внешность, как Анджела зальется краской и надуется с видом оскорбленной добродетели. Ева откопала несколько кружевных занавесок, тонких, пожелтевших от времени, заложила складки, скрепила булавками, тесьмой и украсила букетиками диких флоксов, которые уже изрядно подвяли и начали опадать. Одна занавеска, повязанная вокруг головы, спадает на спину, как подвенечная фата образца двадцатых годов. На всякий случай

под свой наряд Ева надела шорты, чтобы сквозь кружево не просвечивали трусы. Девочка строгих правил, Ева не вписывается в общие рамки: она занимается акробатикой, выступает с пародиями, по натуре оптимистка, возмутительница спокойствия. Ее личико под фатой вызывающе размалевано зелеными тенями для век, темно-красной помадой и черной тушью. Эта боевая раскраска подчеркивает детскую бесшабашность и смелость.

Анджела и Ева приехали сюда в кузове пикапа, растянувшись в креслах. Фермы Джорджа и Валери разделяет всего три мили, но Роберта велела дочкам, ради их же безопасности, сесть на пол. Каково же было ее удивление, когда Джордж поднял голос в их защиту, сказав, что подметать пол вечерними туалетами — это себя не уважать. Он пообещал не слишком давить на газ и объезжать все ухабы; сказано — сделано. Вначале Роберта слегка нервничала, но расслабилась, увидев с его стороны снисхождение и даже сочувствие к тем манерам — позерству, рисовке, — которые, по ее расчетам, должны были вызвать у него только раздражение. Сама она, к примеру, давно отказалась от длинных юбок и платьев, потому как Джордж заявил, что на дух не переносит женщин,

которые щеголяют в такой одежде: их вид, по его словам, однозначно указывает на склонность к безделью и жажду комплиментов и ухаживаний. Он-то жажду эту на дух не выносит и борется с ней всю свою сознательную жизнь.

Когда Джордж помог девочкам забраться в пикап и проявил к ним такую благосклонность, Роберта понадеялась, что он, усевшись за руль, поговорит и с нею, а может, даже возьмет за руку в знак прощения недоказанных преступлений, но этого не произошло. И вот они вдвоем, в замкнутом пространстве, ползут по раскаленному гравию со скоростью катафалка, придавленные убийственным молчанием. Из-за этого Роберта съеживается, как желтушный лист. Она понимает: это истеричный образ. Столь же истерично и желание завыть, распахнуть дверцу и выброситься на гравий. Чтобы не впадать в истерику, не драматизировать, ей приходится делать над собой усилие. Но ведь Джордж постоянно себя накручивает, молча ищет повод выплеснуть на нее свою ненависть (ненависть, что же еще?), как смертоносное зелье. Роберта пытается сама нарушить молчание, тихонько цокает языком, поправляя полотенца, которыми обмотана форма с малиновым десертом, а потом вздыхает — этот

натужный, шумный вздох призван сообщить, что она утомилась, но всем довольна и едет с комфортом. Вдоль дороги тянутся кукурузные поля, и Роберта думает: до чего же унылая картина — эти однообразные длинные стебли, грубые листья, какое-то безмозглое полчище. Когда же это началось? Да накануне утром: не успели они встать, как она уже почувствовала неладное. А вечером они пошли в бар, чтобы только развеять тоску, но разрядка оказалась недолгой.

Перед тем как отправиться в гости, Роберта в спальне застегивала на груди серебристый топ; тут вошел Джордж и спросил:

— Ты в таком виде собираешься ехать?

— Да, как-то так. Сойдет?

— У тебя подмышки дряблые.

— Разве? Ну ладно, надену что-нибудь с рукавами.

В кабине пикапа, когда Роберте уже стало ясно, что идти на мировую он не желает, она позволяет себе вернуться мыслями к этой сцене. В его тоне было явное удовольствие. Удовольствие от выплеснутой гадливости. Ее стареющее тело внушает ему гадливость. Этого следовало ожидать. Роберта начинает что-то мурлыкать себе под нос, ощущая легкость, свободу и большое тактическое

преимущество пострадавшей стороны, которой бросили хладнокровный вызов и непростительное оскорбление.

А если допустить, что он не видит за собой непростительного выпада, если допустить, что это она в его глазах не заслуживает прощения? Она всегда виновата; на нее, что ни день, валятся новые напасти. Раньше, едва заметив малейшие признаки увядания, Роберта начинала с ними бороться. Теперь все ее старания только приводят к новым бедам. Она лихорадочно втирает в морщинки крем — а на лице высыпают прыщи, как в подростковом возрасте. Сидит на диете, добиваясь осиной талии, а щеки и шея усыхают. Дряблые подмышки… какие есть упражнения против дряблости подмышек? Что же делать? Пришла расплата, а за что? За тщеславие. Нет, даже не так. За то, что в свое время ты была наделена приятной наружностью, которая говорила вместо тебя; за то, что твои волосы, плечи, бюст всегда производили впечатление. Застыть во времени невозможно, а как быть — непонятно; вот и открываешься для всяких унижений. Так размышляет Роберта, и жалость к себе — истолкованная ею в меру своего разумения — бьется и плещется горькой желчью у нее в душе.

Надо уехать, надо жить одной, надо переходить на длинные рукава.

Из увитого плющом зашторенного окна их окликает Валери:

— Заходите же, смелее. Мне только колготки надеть.

— Не надо! — дружно кричат ей Джордж и Роберта.

Можно подумать, они всю дорогу только и делали, что обменивались милыми нежностями.

— Не надо колготки! — вопят Анджела и Ева.

— Ну, ладно, если колготки вызывают такой протест, — откликается из окна Валери, — я могу даже платье не надевать. Возьму да и выйду как есть.

— Только не это! — кричит Джордж и, пошатываясь, закрывается складными креслами.

Но Валери, которая уже появилась на пороге, одета великолепно: на ней свободное платье-балахон, сине-зеленое с золотом. По части длинных платьев ей не приходится считаться с предрассудками Джорджа. Так или иначе, она у него вне подозрений: никому бы и в голову не пришло, что Валери напрашивается на комплименты и ухаживания. Это высоченная, совершенно плоская женщина с некрасивым вытянутым лицом,

которое светится радушием, пониманием, юмором, умом и доброжелательностью. Волосы у нее густые, черные с сединой, вьющиеся. Этим летом она решительно обкорнала кудри, сделав короткую волнистую стрижку, которая открыла и длинную жилистую шею, и морщины на скулах, и большие приплюснутые уши.

— По-моему, я стала похожей на козу, — говорила она. — Люблю козочек. У них такие дивные глаза. Мне бы такие горизонтальные зрачки, как у них. Дико красиво!

Ее дети твердят, что она и без того сама дикость.

Дети Валери ждут в холле; туда же втискиваются Джордж, Роберта и Анджела с Евой; Роберта сетует, что у нее потек лед, а потому нужно как можно скорее засунуть этот пафосный шар в морозильник. Ближе всех к гостям оказывается двадцатипятилетняя Рут, едва ли не двухметрового роста, как две капли воды похожая на мать. Отказавшись от мысли стать актрисой, она склоняется к профессии педагога-дефектолога. В руках у нее охапка золотарника, хвоща и георгинов — цветы и сорняки вперемешку; все это она театральным жестом бросает на пол и раскрывает объятия «малиновой бомбе».

— Десерт, — любовно говорит она. — Объедение! Анджела, ты ослепительно хороша! И Ева тоже. Я знаю, кто у нас Ева. Ламмермурская невеста![28]

— Какая невеста? — Ева довольнехонька. — *Чья* невеста?

Анджела с готовностью — и даже с восторгом — принимает похвалу Рут, потому что Рут (наверное, единственная в мире) вызывает у нее восхищение.

На пороге гостиной стоит сын Валери, Дэвид, двадцати одного года от роду, студент-историк; он с терпеливой и сердечной улыбкой взирает на этот ажиотаж. Рослый, худощавый, темноволосый, смуглый, он похож на мать и сестру, но неспешен в движениях, говорит тихо, никогда не суетится. Заметно, что в этом семействе, не лишенном разнонаправленных подводных течений, экспансивные женщины испытывают некое ритуальное благоговение перед Дэвидом, словно так и ждут от него покровительственного жеста, хотя совершенно не нуждаются в покровительстве.

Когда с приветствиями покончено, Дэвид объ-

---

[28] Примечания: 28

Ламмермурская невеста — героиня одноименного романа Вальтера Скотта, опубликованного в 1819 г.

являет: «Это Кимберли» — и знакомит гостей, всех по очереди, с девушкой, возникшей у его локтя. Она вся аккуратненькая, правильная, в белой юбке и розовой блузке с короткими рукавами. В очках; без косметики; волосы короткие, прямые, чистые, приятного светло-каштанового цвета. Каждому она протягивает руку и сквозь очочки смотрит прямо в глаза. Держится абсолютно вежливо, даже скромно, но почему-то выглядит как официальное лицо на встрече с шумной заморской делегацией.

И Джорджа, и Роберту хозяйка дома знает давным-давно. Еще с тех пор, когда эти двое даже не были знакомы между собой. Валери с Джорджем работали в одной и той же средней школе в Торонто. Джордж отвечал за преподавание предметов художественного цикла, а Валери была школьным психологом. Знала она и жену Джорджа, издерганную, всегда элегантную женщину, которая погибла в авиакатастрофе над Флоридой. Когда это случилось, они с Джорджем уже жили врозь.

И конечно же, Валери знала Роберту, потому что муж Роберты, Эндрю, приходится Валери двоюродным братом. Эти двое (Валери и муж Роберты) никогда между собой не ладили; в

разговорах с Робертой каждый называл другого «бревном». Эндрю твердил, что Валери — бревно бревном, настоящее пугало, абсолютно бесполое существо, а когда Роберта сообщила Валери, что уходит от Эндрю, та бросила: «И правильно. Такое бревно». Найдя понимание у кузины мужа, Роберта обрадовалась, как обрадовалась и тому, что ей не пришлось выдумывать никакие доводы; по всей видимости, Валери считала самым веским доводом как раз то, что кузен у нее — бревно. Но при этом Роберта готова была встать на защиту мужа и потребовать ответа: с чего это Валери взяла, что он — бревно? Роберта и сейчас готова встать на его защиту; с ее точки зрения, он испортил себе жизнь, когда на ней женился.

Расставшись с мужем и уехав из Галифакса, Роберта нашла приют в Торонто, у Валери. И у нее же познакомилась с Джорджем, который пригласил ее съездить к нему на ферму. Теперь Валери утверждает, что эта пара — ее творение, результат нечаянного сводничества.

— Впервые в жизни у меня на глазах расцвела любовь, — повторяет она. — Это все равно что наблюдать, как распускается амариллис. Потрясающе.

Но Роберта, не сомневаясь в теплом, доброже-

лательном отношении Валери к ним обоим, в глубине души все же догадывается, что любовь — это не та материя, о которой следует постоянно напоминать подруге. В обществе Валери порой начинаешь задумываться: из-за чего вообще весь этот сыр-бор? Валери задумывается о том же. Ее жизнь и аура отчетливее любых суждений дают понять, что любовь не предполагает доброты и честности и не гарантирует счастья.

Еще не зная, что Роберта влюблена, Валери завела с ней разговор про Джорджа и сказала: «Человек-загадка, ей-богу. По-моему, неисправимый прожектер, хотя и не простил бы мне таких слов. Эта покупка фермы. Это уединенное деревенское существование, натуральное хозяйство». Потом она рассказала, что Джордж вырос в Тимминсе, в семье сапожника-венгра, был самым младшим из шестерых детей, но первым окончил школу, а там и поступил в университет. «Он из тех, кто может постоять за себя в уличной драке, но при этом не умеет плавать. Поселившись в Торонто, перевез к себе скрюченного, сгорбленного старика-отца и заботился о нем до самой его смерти. А с женщинами, как мне кажется, он поступает не лучшим образом».

Роберта жадно слушала, но не принимала

этого всерьез: те сведения о Джордже, которыми располагали посторонние, уже казались ей несущественными. Ее захлестывали тревоги и восторги. Могла ли она рассчитывать, что полюбит? В лучшем случае она видела для себя такую жизнь, как у Валери. Роберта выполнила иллюстрации к паре детских книжек и рассчитывала на новые заказы; она могла бы снять комнату на Песках, в восточной части Торонто, побелить стены, заменить кресла подушками и со временем научиться смирять и удовлетворять свои желания, как, с ее точки зрения, делают все одинокие люди.

Валери и Роберта бродят по дому с бутылкой охлажденного вина и двумя бокалами для воды, которые достались Валери в наследство от бабушки. Роберта считает, что именно такое жилище, как у Валери, подходит под мечтательное определение «загородный дом», точнее, «старый кирпичный фермерский дом». Теплая, бледно-красная кладка со светлой отделкой, плющ и вязы, отциклеванные полы, домотканые коврики, побеленные стены; на массивном комоде под тусклым зеркалом — набор для умывания, с отколотыми краешками. Правда, у Валери на все это ушло ни много ни мало — пятнадцать лет.

Они с мужем хотели, чтобы у них было место для летнего отдыха, но, когда Валери овдовела, она продала их городской дом, вместо него купила квартирку и все свои силы и средства бросила на эту дачу. А два года назад и Джордж, которого Валери приохотила к этой местности, приобрел неподалеку дом и землю, после чего вышел на пенсию. Вскоре после этого он повстречал Роберту. В декабре минувшего года они съехались. Роберта предполагала, что за год или около того Джордж сделает в доме ремонт, а потом займется ваянием. Его мечта — стать скульптором. Именно поэтому он решил отказаться от учительства и переехать в деревню, где можно жить с минимальными затратами — выращивать овощи, держать кур. До кур пока дело не дошло. Роберта, в свою очередь, возлагала надежды на книжную графику. Почему же до сих пор она не сделала никаких шагов в этом направлении? Времени не было, да и места тоже: художнику-иллюстратору требуется студия, хорошее освещение, большой стол. А главное — удобного случая не подворачивалось, чтобы заявить о своих планах, поскольку жизнь теперь держит ее мертвой хваткой. Что они на сегодняшний день сумели сделать (в основном Джордж — Роберта занята

уборкой и стряпней): перекрыли крышу, поставили стеклопакеты с алюминиевыми рамами, утеплили стены, изведя на засыпку без счета мешков пыльного керамзита, на перекрытиях мансарды закрепили изолирующие маты из желтого штапельного стекловолокна, прочистили все дымоходы, а некоторые целиком обновили, подремонтировали печную трубу, заменили подгнившие карнизы. После этих необходимых и трудоемких работ дом все равно снаружи выглядит неприглядно: бурая облицовка под кирпич, просевшая веранда, где громоздятся и требующие просушки пиломатериалы, и старые доски, и запасные рулоны стекловолокна, и всякие полезные обрезки. А в комнатах мрачно и затхло. Роберту так и тянет сорвать старый линолеум и ободрать унылые обои, но все должно делаться поэтапно, и Джордж уже продумал каждый этап: ничего не надо ни срывать, ни обдирать, пока не закончены электропроводка и утепление, пока не реконструирован каркас. В последнее время Джордж стал поговаривать и о том, что отделке внутренних помещений и обшивке дома сайдингом должен предшествовать капитальный ремонт сарая; если до зимы не укрепить балки, вся конструкция того и гляди рухнет от снежных

заносов.

Да и сад запускать нельзя: нужно формировать кроны яблонь и вишен, выстригать малину, поддерживать в порядке газон, не допуская проплешин, нашествия сорняков и скопления мусора под клочковатыми соснами. На первых порах Роберта держала в уме весь цикл работ: что уже сделано, что делается в данный момент, что на очереди. Теперь у нее в голове нет общей картины: не выходя за пределы кухни, она решает насущные задачи. Перерабатывает урожай: делает соус чили, подготавливает к заморозке помидоры, перцы, бобы и кукурузу, варит вишневое варенье — так и день проходит. Порой она заглядывает в морозильник и спрашивает себя: куда столько? Неужели Джордж все это съест — а кто еще? Ее собственные запросы, как она чувствует, сходят на нет.

Стол накрыт на вытянутой застекленной веранде, выходящей на задний дворик. Валери и Роберта спускаются по пологим ступенькам в торце веранды и оказываются в обнесенном кирпичными стенами и мощенном кирпичом закутке, который Валери соорудила этим летом и упорно отказывается называть «патио». Говорит, что на ферме патио не бывает. А как это назвать,

она еще не решила. Не решен и вопрос с мебелью — что сюда больше подойдет: массивные деревянные стулья, которые хороши чисто зрительно, или же удобные легкие кресла из пластика и металла, наподобие тех, что привезли Джордж и Роберта.

Они разливают вино и поднимают кубки — внушительных размеров старинные бокалы для воды, из которых все обожают пить вино. Слышно, как у Рут в спальне хохочут Ева с Анджелой и сама Рут. Она пожелала, чтобы для нее тоже соорудили костюм, и собирается придумать нечто сногсшибательное, чтобы всех затмить. И еще слышен свист косы: Джордж специально захватил ее с собой, чтобы выкосить осоку и лопухи вокруг маленькой каменной маслобойни Валери.

— Из этой маслобойни получится отличная студия, — говорит Валери. — Можно будет сдавать ее какому-нибудь художнику. Джорджу? Или тебе? Уступила бы ее вам в обмен на выкос и «малиновую бомбу». Нет, Джордж, по-моему, собирается устроить студию у вас в сарае, да?

— Не все сразу, — отвечает Роберта.

В настоящее время Джордж работает в доме — в бывшей гостиной. Здесь у него сложены

заготовки и почти готовые изделия, накрытые пыльными простынями, а также сухой тес (Джордж не признает никаких материалов, кроме дерева): один большой брусок выдержанного дуба и прошедшие термообработку обрезные доски — калифорнийский орех и вишня. Здесь же хранятся ножовки, зубила, стамески, а еще олифа, скипидар, воск, различные сорта клея под запыленными, присохшими крышками. Раньше Ева с Анджелой обходили вокруг дома и, привстав на цыпочки среди щепы и сорняков, пытались разглядеть через окно укутанные саванами штабеля.

— Ух ты, как привидения, — сказала Ева Джорджу. — А на самом деле что там спрятано?

— Деревянные пончики, — ответил Джордж. — Поп-скульптура.

— Правда?

— Картофелина и двуглавый малыш.

Когда девочки в очередной раз надумали полюбопытствовать, что творится в той комнате, окно уже было занавешено сероватой, надорванной сверху простыней. С дороги дом выглядел безлюдным и заброшенным.

— А знаешь ли ты, что у меня всегда есть запас курева? — спрашивает Валери. — Еще полблока

сигарет осталось. Я к себе в шкаф спрятала.

Она отослала Дэвида и Кимберли в город, сказав, что у нее закончились сигареты. Ей никак не удается бросить курить, хотя она принимает витамины и старается не употреблять в пищу продукты с красными пищевыми красителями.

— Лучше было бы спровадить их под каким-нибудь другим предлогом, но я ничего умнее не придумала. Теперь боюсь даже затянуться — они унюхают и скажут, что я обманщица. Курить охота — сил нет.

— А ты выпей, — советует Роберта.

Когда они сюда приехали, ей казалось, она ни с кем не сможет разговаривать; у нее даже была мысль сослаться на головную боль и попросить разрешения прилечь. Но Валери, как всегда, действует на нее благотворно. Валери умеет сделать невыносимое занятным.

— Ну, как твои дела? — спрашивает Валери.

— О-о-ох, — вздыхает Роберта.

— Как хороша была бы жизнь, если бы не люди, — задумчиво произносит Валери. — Звучит как цитата, но, по-моему, это я придумала. Загвоздка в том, что Кимберли — христианка. Нет, само по себе это прекрасно. Христиан в небольших количествах можно только приветствовать.

Пойми, я не противница христианства. Но у нее набожность просто на лбу написана, ты согласна? Рядом с ней, как ни странно, я чувствую себя какой-то мелкой душонкой.

Джордж с упоением косит траву. Во-первых, он любит работать без свидетелей. А дома — стоит ему только взяться за дело, как он ловит на себе женские взгляды. Даже когда в пределах видимости никого нет, он кожей чувствует, что женщины всем скопом за ним следят: сами баклуши бьют, а на его труды поглазеть — они тут как тут, нашли себе развлечение. Нет, если вдуматься, Роберта кое-что по дому делает, но, насколько ему известно, палец о палец не ударила, чтобы внести свой вклад в семейную копилку: к издателям не обращается, собственные идеи не разрабатывает. Дочери у нее все лето, днями напролет слоняются без дела. Вчера утром он проснулся совершенно разбитым и подавленным (накануне заснул с мыслями о переоборудовании сарая, и эти заботы просочились в его сон: всю ночь его преследовали обвалы, просчеты, коварные трещины); решил выйти на открытую террасу со стороны кухни, съесть яичницу и распланировать трудовой день. Терраса — это пока единственная постройка, которую удалось завер-

шить, единственное усовершенствование в доме. Соорудил он ее прошлой весной: Роберта достала его жалобами на сумрак во всех помещениях и на плохую вентиляцию. Пришлось ей объяснить, что те, кто возводил эти дома, так мучительно жарились на солнце, что им и в голову не приходило впускать солнце в комнаты.

Выходит он, стало быть, с тарелкой и кружкой на террасу — а эта троица уже там. Анджела, в ярко-голубом гимнастическом купальнике, упражняется у перил. Ева сидит, привалясь к стене, и уминает хлопья с отрубями, да так, что за ушами трещит, и не замечает, что на полу насвинячила. Роберта — в шезлонге, сжимает обеими руками свою вечную кофейную кружку; одно колено к себе подтянула, сама нахохлилась, на носу темные очки, вид настороженный, похоронный. Джордж знает, что за этими очками она прячет слезы. Как ему видится, девчонки тянут из нее все соки. Она только и делает, что их одергивает, за обеими убирает, чуть ли не на коленях просит, чтобы они застилали кровати и соблюдали порядок у себя в комнатах; он сам слышал, как она умоляла их собрать оставленную где попало грязную посуду и принести ей на кухню. Что-то в этом духе. Неужели в семьях среднего класса

нынче взяли такой курс на воспитание детей? Мамаша робко любуется дочкой, а та нос кверху — и знай голую ногу задирает. Да если б его сестры позволили себе такое бесстыдство, мать бы тут же их ремнем отходила.

Анджела ногу опустила и говорит:

— Мое почтение, Хозяин!

А он в ответ:

— Не вижу, чтобы кто-нибудь бил поклоны.

Джордж, несмотря ни на что, с девочками сохраняет шутливый тон. Раньше у него в ходу были грубоватые шутки, которые пользовались огромным успехом на уроках и создавали ему имидж авторитетного, порой брутального и неизменно остроумного педагога. Он и с учителями держался точно так же, столь красочно выражая им свое презрение, что коллеги не могли поверить в серьезность этих выпадов.

Ева обожала истолковывать его реплики буквально. Она упала ниц и стала биться головой о доски.

— Доиграешься до сотрясения мозга, — одернула ее Роберта.

— Нет. Это я делаю себе лоботомию.

— Джордж, вы сознаете, что через быстротечные четверо суток нас уже здесь не будет? —

спросила Анджела. — У вас, наверное, разбито сердце, да?

— Надвое.

— Но вы позволите маме присматривать за Дианой, когда мы уедем? — спросила Ева, усаживаясь на стул и ощупывая голову на предмет шишек.

Дианой звали бездомную кошку, которую Ева подкармливала в сарае.

— Что значит «позволите»? — восстает Роберта, а Джордж в унисон ей говорит:

— Ни за что не позволю. Пусть только попробует приблизиться к сараю — я ее к стойке кровати привяжу.

Эта кошка — больная тема. Если Анджела рассматривает ферму как сцену или, реже, как Природу, вдохновляющую на раздумья и стихи, к которым неравнодушна девушка, склонная к прогулкам и грезам, то Ева знать не хочет ничего, кроме животных, на худой конец — насекомых, головастиков, улиток и камешков. Для обеих сестер ферма — прежде всего место летнего отдыха, созданное исключительно для интересных и приятных занятий, но уж никак не для нудной работы, которая так и подступает со всех сторон. Ева все лето выслеживает сурков и кроликов, ловит и выпускает на свободу лягушек, держит

в банке головастиков, прикидывает, как бы приспособить сарай под зверинец. Джордж считает, что это она — исключительно силой своего желания — выманивает из леса косуль; из-за этого ему пришлось бросить все дела и обнести сад двухметровым проволочным забором. Единственная живая тварь, которую Ева все же сумела заманить в сарай, — это Диана, тощая, облезлая, полудикая кошка с отвисшими сиськами — не иначе как окотилась. Ева с ног сбилась, разыскивая кошачий выводок.

В глазах Джорджа эта кошка — сущая дармоедка, захватчица его территории, источник будущих неприятностей. Приманивая и подкармливая эту прохиндейку, Ева совершает мелкое, но явное предательство, а Роберта исподволь ей потакает. Джордж понимает, что такая реакция с его стороны чрезмерна и даже смешна, но ничего не может с собой поделать. Он всю жизнь старался (и весьма успешно) не стать папочкой-клоуном, сотрясателем воздуха, чудаком. Но беспокоит его не столько Ева, сколько Роберта. Роберта сама открыто признает, что не справляется с воспитанием дочерей. У него в ушах так и звучат ее слова, сказанные кому-то в гостях: «Моя младшая пригрела драную кошку, жуткого

вида тварь, — это главное достижение Евы за все лето. А старшая с утра до вечера дрыгает ногами и дуется». На самом деле они по гостям не ходят, и слышать этого он не мог, но представляет себе очень живо. Роберта упоминает своих дочек на потребу малознакомой публике, выставляет их пустышками, от которых нельзя ожидать ничего путного. С точки зрения Джорджа, это не просто бессовестно, но и жестоко. Роберта, которая все спускает своим дочерям, которая постоянно тревожится, как бы они не сочли себя обделенными любовью, вниманием и заботой, сама же их обделяет. Она не воспринимает девочек всерьез, не занимается их воспитанием. И как, спрашивается, должен поступать при таком раскладе Джордж? Это же не его дети. Он потому, в частности, и не завел детей, что не знал наверняка, сможет ли самозабвенно, не считаясь со временем, отдавать себя делу их воспитания. Как педагог, он умел найти необходимые рычаги, чтобы подчинить себе учеников, но вести ту же борьбу еще и на домашнем фронте утомительно. А кроме всего прочего, в школе нужно было прижимать к ногтю главным образом мальчишек; они в любом детском коллективе потенциально опасны. Девочек он вообще не замечал, разве что

осторожно пикировался с наиболее сексапильными. Но здесь об этом речи нет.

По большому счету Анджела и Ева зачастую вызывают у Джорджа невольную теплоту. Он видит в них и смущение, и трогательность. Обе считают его в высшей степени остроумным человеком; порой его это раздражает, а порой греет. В общении с людьми он бывает либо крайне сдержанным, либо заводным; сам он, по собственному мнению, обычно выбирает сдержанность. Ему тем более приятно, если кто-то ценит его юмор. Но когда он после завтрака взял две огромные корзины и отправился в огород снимать помидоры, никто не шевельнулся, чтобы ему помочь. Роберта погрузилась в свои сумрачные мысли и тянула кофе. Анджела завершила экзерсис и сделала запись в тетрадке, которая служит ей дневником. Ева помчалась в сарай.

В гостиной Анджела садится за пианино. К ее великому сожалению, в доме у Джорджа пианино нет. Неужели маме не хочется, чтобы в доме был инструмент? Но мама теперь никаких желаний не высказывает.

«Я замечаю, как она переменилась, — записано у Анджелы в дневнике. — Из личности, которую я глубоко уважала, она превратилась в комок нер-

вов. Если это и есть любовь, мне такого не надо. Он хочет скрутить ее — нас всех — в бараний рог, и она все время ходит на цыпочках, чтобы только его не рассердить. Ей все не в радость. Будь у нее выбор, она бы надела на глаза повязку и легла на кровать в темной комнате, чтобы никого не видеть и ничего не делать. И это образованная женщина, которая всегда ценила свободу».

Наигрывая «Турецкий марш», Анджела вспоминает давно проданный родителями дом, где она жила до пяти лет. В столовой под потолком была такая полочка, на которой мама для украшения расставила десертные тарелки. У дерева (а может, у кустарника) во дворе были светло-зеленые листья величиной с эти тарелки.

В дневнике у Анджелы говорится: «Я знаю, ностальгия — это пустое чувство. Наверное, я была слишком беспощадна в своем осуждении некоторых людей и поступков; иногда мне даже хочется вырвать кое-какие страницы, но я не стану этого делать — пусть у меня останется хроника моих реальных ощущений. Правдивая хроника всей моей жизни. И главная проблема, причем не только для меня, — как не скатиться до лжи».

Летом Анджела много читает. Прочла такие

книги, как «Анна Каренина», «Второй пол»[29], «Эмили из „Молодого Месяца“»[30], нортоновская «Поэтическая антология»[31], автобиография У. Б. Йейтса, «Счастливая проститутка»[32], «Акт творчества»[33], «Семь готических историй»[34]. Если честно, не вся эта литература прочитана ею от корки до корки. Ее мать в прежние времена тоже не расставалась с книгой. Анджела, прибегая домой на обед во время большой перемены, всегда заставала мать за чтением. Причем это могли быть книги о завоевании Мексики, а могла быть и «Повесть о Гэндзи»[35]. Анджела не перестает удивляться безмятежности тогдашнего материнского существования.

Ей в память врезался один случай, который связан с Евой, хотя и произошел до ее рождения. Они

---

[29] Примечания: 29

«Второй пол» (1949) — одно из заметных произведений феминистской литературы, книга-эссе, написанная французским философом-экзистенциалистом Симоной де Бовуар (1908–1986).

[30] Примечания: 30

«Эмили из „Молодого Месяца“» — первый из серии романов канадской писательницы Люси Мод Монтгомери (1874–1942) о девочке-сироте, живущей в Канаде.

[31] Примечания: 31

…нортоновская «Поэтическая антология»… — Поэтическая антология издательства «Нортон», охватывающая период от Средневековья до настоящего времени, — основополагающее собрание поэтических произведений, написанных на английском языке. Составляет основу раздела поэзии в школьных и университетских курсах литературы.

[32] Примечания: 32

«Счастливая проститутка» — «Счастливая проститутка: моя история» — нашумевшая книга Ксавьеры Холландер (р. 1943), журналистки, бывшей девушки по вызову. Опубликована в 1971 г. и через четыре года экранизирована.

[33] Примечания: 33

«Акт творчества» (тж. «Творческий акт») — книга британского публициста и литератора Артура Клстлера (1905–1983), посвященная выявлению сущности искусства, юмора и науки. Опубликована в 1965 г.

[34] Примечания: 34

«Семь готических историй» (1934) — сборник новелл баронессы Карен Бликсен (1885–1962), знаменитой датской писательницы, лауреата литературных премий, чье творчество популярно в англоязычном мире. Русский перевод включен в сборник: *Бликсен К.* Семь фантастических историй / Пер. Е. Суриц. СПб.: Северо-Запад, 1993.

[35] Примечания: 35

«Повесть о Гэндзи» — книга японской поэтессы и писательницы, известной под вымышленным именем Мурасаки Сикибу (973?-1014?). Русское издание: *Мурасаки Сикибу*. Повесть о Гэндзи. Т. 1–5 / Пер., предисл., ком. Т. Соколовой-Делюсиной. М.: Наука, 1991–1993.

втроем — Анджела с родителями — загорают на пляже. Отец выкопал в песке большую лунку. Он искусный мастер строить песчаные замки, окруженные целой сетью дорог и каналов; Анджела всегда с увлечением наблюдает за его работой. Но лунка эта нужна вовсе не для песчаного замка. Когда она выкопана, мама, лежавшая на спине, со смехом перекатывается и погружает туда живот. В животе у мамы — Ева, и живот умещается в эту лунку, словно яичко в ложку. Пляж тянется далеко-далеко, белый песок плавно уходит в бирюзовую воду. Ни каменистой полосы, ни острых прибрежных скал. Лучезарное, благодатное место. Где же это могло быть?

После «Турецкого марша» она пытается подобрать «Маленькую ночную серенаду». Роберта внимает звукам фортепиано, одновременно слушая уморительный и отчаянный рассказ Валери о страхе перед Кимберли, о нелюбви к чужакам, о неистребимом желании оставаться рядом со своими детьми, а сама думает: «Нет, это не было ошибкой». О чем это она? Да о том, что расставание с мужем не было ошибкой. Что ни говори, ошибкой это не было. Это был неизбежный шаг. Тогда все встает на свои места.

— У тебя сейчас тяжелое время, — рассуди-

тельно замечает Валери. — Сплошная череда неприятностей, как назло.

— Вот и я себе говорю то же самое, — отвечает Роберта. — Но иногда начинаю думать, что это не так. Меня тревожат даже не дети, не дом. Просто накатила какая-то черная полоса.

— Ну, куда ж от этого денешься, — сетует Валери.

— Все время возвращаюсь мыслями к Эндрю — что я творила? Расставляла ему ловушки, чтобы он проявлял свои худшие качества, устраивала склоки, а в конце концов поджимала хвост и ползла мириться. Во мне мало-помалу нарастало желание от него отделаться, но я всегда считала, что он сам виноват: вел бы себя так, а не этак, я бы его любила. Ужасно, что он превратился… помнишь, как ты говорила? В бревно.

— Бревно и есть бревно, — подтверждает Валери. — Всегда таким был. Ты уж прямо за все винишь себя одну.

— Мне потому лезут в голову такие мысли, что Джордж, насколько я могу судить, поступает со мной точно так же. То он хочет от меня избавиться, то не хочет, то ему опять со мной невмоготу, а признаться в этом, хотя бы себе самому, духу не хватает, вот он и расставляет мне ловушки. Ка-

жется, я начинаю понимать, сколько пришлось вытерпеть Эндрю. Нет, я бы к нему не вернулась. Ни за что. Но начинаю понимать.

— Не верю, что в жизни бывает такая симметрия.

— На самом деле я тоже не верю. Вряд ли возмездие совершается таким примитивным способом. Но интересно, что нас привлекает… меня привлекает идея упорядоченности, верно? Я что хочу сказать: довольно интересно рассмотреть идею некоего равновесия. А испытывать его на собственной шкуре совершено не интересно. Мне такой опыт ни к чему.

— Когда у человека все хорошо, он забывает, насколько ему хорошо.

— Обратное тоже верно. Это как роды.

Выкосив траву, Джордж протирает лезвие косы. Через открытые окна дома Валери до него доносятся звуки фортепиано, а с реки то и дело веет благословенной прохладой. Ему значительно полегчало — то ли от простого физического труда, то ли от отсутствия посторонних глаз; а может, ему полезно на время отвлечься от гигантских задач, которые ставит перед ним собственная ферма. Он предполагает, что за пианино села Роберта. Эта музыка прекрасно согласуется с его

работой: вначале бодрый, деловитый «Турецкий марш», под который так хорошо косить, а теперь, когда вдыхаешь аромат свежескошенных трав, протираешь косу и хвалишь себя (пусть исподволь) за выполненную работу, — «Маленькая ночная серенада». В подобных случаях, когда у него резко поднимается настроение, когда душа поет, ему хочется посадить рядом с собой Роберту, приголубить, заверить ее, а заодно и себя, что ничего страшного не произошло. Такое желание возникло у него не далее как вчера вечером, когда они собрались выпить по коктейлю, но нет, что-то его удержало.

Он вспоминает, как Роберта впервые вошла в его дом. Было это в конце августа или в начале сентября, примерно год назад. Они устроили один сплошной бесстыдный пикник, готовили всякие деликатесы, ставили пластинки, выносили во двор матрасы. Ясными ночами Роберта путано рассказывала, почему звезды именно так, а не иначе объединяются в созвездия. Каждый день был отлит из чистого золота. Роберта просила его не заблуждаться: ей уже сорок три, на шесть лет больше, чем ему бы хотелось; она ушла от мужа, поскольку их отношения поддерживались искусственно, но ей неприятно об этом гово-

рить, — вероятно, это ханжество, она сама не уверена, что хочет этим сказать, а главное — не знает предела своих возможностей. Она показалась ему смелой, правдивой, непритязательной. Теперь он не может понять, откуда взялась эта обидчивость, слезливость, томность, угроза нервного срыва.

Однако, думает он про себя, первое впечатление чего-нибудь да стоит.

На веранде Ева и Рут украшают праздничный стол. Рут надела белую сорочку брата, его же полосатые пижамные штаны, а на голову накрутила массивный черный тюрбан. Теперь она похожа на высокомерного, но незлобивого сикха.

— Я считаю, в День труда[36] стол должен быть завален дарами земли, — объявляет Рут. — Забудем о манерности, Ева.

Через промежутки они раскладывают на скатерти огненные и золотистые георгины, нарядные полосатые кабачки, цукини, желтые тыквы, початки кукурузы.

Пользуясь тем, что музыка заглушает их разговор, Ева признается:

---

[36] Примечания: 36

День труда — отмечается в США и Канаде в первый понедельник сентября. Традиционно празднуется как символический конец лета.

— По-моему, Анджела здесь изводится еще хуже, чем я. Когда они ругаются, она считает, что это из-за нее.

— А они ругаются? — мягко переспрашивает Рут. И тут же сама отвечает: — Впрочем, это не мое дело.

Лет в тринадцать или четырнадцать она была влюблена в Джорджа. Тогда с ним только-только подружилась ее мать. Рут ненавидела его жену и радовалась, когда он с ней расстался. Она до сих пор помнит, что жена его была дочерью гинеколога, и на это обстоятельство часто ссылалась Валери, объясняя, почему Джордж не ладит с женой. Вероятно, мама имела в виду, что причиной семейных неурядиц Джорджа были несметные богатства тестя или его подходы к воспитанию дочери. Но Рут коробило и страшило слово «гинеколог», а дочь гинеколога всегда виделась ей одетой в холодный зазубренный металл.

— Они молча ругаются. Но мы-то видим. Анджела такая самовлюбленная — ей кажется, что весь мир вертится вокруг нее. Тинейджерам это свойственно. Не хочу, чтобы со мной произошло то же самое.

Музыка смолкла, и Ева заявляет в полный голос:

— Ой, как неохота уезжать! Дико неохота.

— Серьезно?

— Как я брошу Диану? Она же пропадет. Не знаю, увижу ли ее снова. И косулю. Как можно бросить живое существо?

Пока молчит пианино, голос Евы слышен под окном, где сидят Валери и Роберта. Роберта ловит каждое слово и готовится услышать, что скажет ее дочка насчет следующего лета.

Но вместо этого Ева говорит:

— А знаешь, я понимаю Джорджа. Это Анджела на него ополчилась, а я нет. Я умею подыгрывать его шуточкам. Да, я его понимаю.

Женщины переглядываются; Роберта улыбается, качает головой и передергивает плечами. Ее все время преследует страх, что Джордж обидит девочек, не физически, а какой-нибудь резкостью, проявлением неприязни, а они его не простят. По мере сил она показала им на собственном примере, что к нему нужно подлаживаться, уважать его право на молчание, откликаться на юмор. А что, если он, несмотря на эти предосторожности, вдруг вызверится и нанесет девочкам неизлечимую травму? Если такое случится, то исключительно по ее вине — она же сама их втравила в эту историю. Недаром она постоянно

чувствует опасность. Взять хотя бы тот случай, когда Анджела подошла к Джорджу во время обрезки яблонь и сказала: «У моего папы теперь есть и яблоня, и вишня».

(Это было невинное сообщение. Но ведь Джордж мог усмотреть в нем вызов.)

— У него, как видно, прислужники наняты, чтобы деревья обрезать? — осведомился Джордж.

— Сотни, — радостно ответила Анджела. — Гномы. И все — в военно-морской форме.

В тот раз Анджела ступила на скользкую почву. Но Роберта теперь считает, что реальная опасность грозит не Анджеле, которая найдет способ отбрить любого и только порадуется возможности самоутверждения (Роберта почитывает ее дневник). Опасность грозит Еве, которая стремится к пониманию и надеется на всеобщее примирение, — такую кто угодно может сбить с ног и раздавить.

Когда подали холодный суп из яблок и кресс-салата, Ева, изображая *enfant terrible,* стала во всеуслышание рассказывать:

— Вчера вечером они пошли и напились. До положения риз.

Дэвид замечает, что давненько не слышал такого выражения.

Валери говорит:

— Бедные малютки, сколько же вы пережили!

— Уже хотели звонить на горячую линию помощи детям, — встревает Анджела, хотя при свечах вид у нее отнюдь не детский (а скорее, королевский) и Дэвид не сводит с нее глаз. Правда, по нему нипочем не скажешь, что выражает его взгляд: одобрение или сомнение. Сейчас вроде бы одобрение. А сомнения достались Кимберли.

— Вы предавались разврату? — спрашивает Валери. — Роберта, ты мне ни слова не сказала. Куда же вы ходили?

— Никакого разврата, — говорит Роберта. — Мы ходили в Куинс-отель, в Логане. Посетили «коктейль-холл» — так это у них называется. Шикарное местечко.

— Надо думать, Джордж не повел бы даму в пивную, — говорит Рут. — Джордж — тайный консерватор.

— Это верно, — поддакивает Валери. — Джордж считает, что дам следует водить только в приличные заведения.

— А детей должно быть видно, но не слышно, — подхватывает Анджела.

— Желательно, чтобы и не видно, — уточняет Джордж.

— И это всех сбивает с толку, — продолжает Рут, — потому как он выставляет себя воинствующим радикалом.

— Какая удача, — говорит Джордж, — бесплатный психоанализ. На самом деле, это было полное непотребство, но Роберта, видимо, ничего не помнит, потому как напилась, по меткому выражению Евы, до положения риз. Она околдовала парня, который показывал фокусы с зубочистками.

Роберта объясняет, что это была такая игра: один человек складывает из зубочисток какое-нибудь слово, потом другой убирает одну зубочистку и складывает другое слово, потом третий — и так далее.

— Надеюсь, не матерные слова? — спрашивает Ева.

— У меня в ее возрасте и мыслей таких не было, — говорит Анджела. — Ты родила меня до наступления эпохи вседозволенности.

— А когда игра всем приелась — вернее, этому парню: мне-то надоело гораздо раньше, — он стал нам показывать фотографии: как они с женой совершали круиз по Средиземному морю. Но вчера он был с другой дамочкой, потому что жена его умерла, и когда он не мог вспомнить, где сделан

тот или иной снимок, дамочка ему подсказывала. Она говорила, что эта трагедия, как видно, будет преследовать его всю жизнь.

— Круиз? Или жена? — спрашивает Рут, а Джордж уже рассказывает, как он познакомился с парой фермеров-голландцев, которые звали его полетать на их самолете.

— Но я, кажется, отказался, — добавляет Джордж.

— Я отсоветовала тебе лететь на этом замшелом кукурузнике, — говорит Роберта, глядя в сторону.

— «Замшелый» — какое милое словечко, — отмечает Рут. — Такое мягкое. Прямо замшевое.

Ева спрашивает, что оно значит.

— Заросший мхом, то есть старый, — объясняет Роберта. — Я отсоветовала Джорджу на ночь глядя садиться с богачами-голландцами в этот древний самолет. Нам предстояло другое развлечение: дотащить героя средиземноморского круиза до машины, чтобы подруга могла отвезти его домой.

Рут и Кимберли поднимаются из-за стола, чтобы унести бульонные чашки, а Дэвид ставит пластинку — симфонию Дворжака «Из Нового Света». По заказу матери. Сам Дэвид считает эту

музыку слащавой.

Все умолкают в ожидании первых аккордов. Ева спрашивает:

— А как получилось, что вы друг на друга запали? Это было чисто физическое влечение?

Рут отвешивает ей легкий подзатыльник бульонной кружкой.

— Надо тебе рот зашить, — говорит она. — Не забывай: я учусь на специалиста по работе с дефективными подростками.

— Вас не смутило, что мама намного старше?

— Теперь понятно, к чему приводит вседозволенность? — гнет свою линию Анджела.

— Что ты понимаешь в любви! — с пафосом провозглашает Джордж. — Любовь долготерпит, милосердствует. Прямо как я. Любовь не гордится…[37]

— По-моему, это сказано о любви особого рода, — вступает в разговор Кимберли, подавая к столу овощное рагу. — Коль скоро вы цитируете.

Пока остальные ведут дискуссию о переводе и значении слов (Джордж слабо разбирается в этих предметах, но очень скоро начинает обобщать и провоцировать, следуя своей учительской мето-

---

[37] Примечания: 37

Любовь долготерпит, милосердствует… Любовь не гордится… — Выборочное цитирование из: 1-е Послание к Коринфянам, 13:4.

де), Роберта делится с Валери:

— Подруга этого морехода восхищалась его женой, которая рискнула отправиться в круиз по Средиземному морю, хотя у нее был свищ.

— Что-что?

— Свищ. Я тоже не сразу поняла, и она объяснила: «Видите ли, его жена перенесла такую операцию, после которой ей пришлось носить на животе специальный мешок».

— О господи.

— У нее были крупные, толстые руки и залитые лаком блондинистые волосы. У его жены. Судя по фотографиям. И подруга такого же типа, только чуть постройнее. У жены совершенно бесстыдный и счастливый вид. Разбитной.

— И свищ.

Вот смотри: любовь зарождается и расцветает наперекор всему, и даже катастрофическая непривлекательность ей не помеха, а у меня свища нет, только кое-где морщинки, небольшая дряблость, землистость и едва заметные признаки увядания. Так говорит себе Роберта. Я же не виновата, говорит она себе, как повторяла уже не раз. Обычно эти слова звучат у нее в уме как стон, мольба, нытье. А теперь она произносит их буднично, с тоской и усталостью. Похоже, все

это правда.

К тому времени, как подали десерт, разговор перешел на архитектуру. Веранда освещается только язычками свечей. Толстые свечи Рут убрала и поставила у каждого прибора небольшую свечечку в черном металлическом подсвечнике с ручкой, как из детского стишка. Валери и Роберта хором декламируют:

— «Вот свечка, что в спальню тебя уведет. А вот и топорик, что шею найдет!»[38] Ни та ни другая не учили детей этому стишку, и дети никогда прежде его не слышали.

— А я где-то слышала, — говорит Кимберли.

— К примеру, стрельчатая арка была только лишь прихотью, — говорит Джордж. — Это архитектурная мода, которая мало отличается от моды сегодняшней.

— Ну, не только, — идет на компромисс Дэвид. — Это не только дань моде. Люди, которые строили соборы, были не совсем такими, как мы с вами.

— Они были совсем другими, — подхватывает Кимберли.

---

[38] Примечания: 38

«Вот свечка, что в спальню тебя уведет. А вот и топорик, что шею найдет!» — Этот стишок цитируется, в частности, в романе Дж. Оруэлла «1984».

— Меня всегда учили — а в прежние времена меня хоть чему-то учили, — говорит Валери, — что стрельчатая арка — это трансформация полуциркульной романской арки. Почему-то зодчие решили ее преобразовать. И добавили ей божественности.

— Пижня, — радостно заявляет Джордж. — Извиняюсь, конечно. Знаю я эти измышления, только на самом деле стрельчатая арка — самая элементарная. Конструктивно она проще других, это вовсе не трансформация круглой арки — откуда? Стрельчатые арки были известны еще в Древнем Египте. Вот круглая арка, арка из клинчатого камня — это действительно сложные штуки. А все остальное перевиралось не раз и не два в угоду христианству.

— Сложные или несложные, но меня они угнетают, — говорит Рут. — С моей точки зрения, все эти круглые арки совершенно депрессивны. Они однообразны, они долдонят одно и то же — ля-ля-ля — и нисколько не возвышают дух.

— По всей видимости, они выражали нечто такое, к чему в глубине души стремились люди, — говорит Кимберли. — Вряд ли правомерно утверждать, что это дань моде. Каждый собор строился людьми — его план не навязывался

каким-либо одним проектировщиком.

— Заблуждение. В те времена тоже были проектировщики. В отдельных случаях мы даже знаем их имена.

— А все же я думаю, что Кимберли права, — говорит Валери. — В этих соборах ощущаются устремления людей той эпохи; в их архитектуре чувствуется христианское мироощущение…

— Да мало ли что там чувствуется. Факт остается фактом: стрельчатую арку принесли из арабского мира крестоносцы. Принесли вместе с обычаем добавлять в пищу специи. Эту арку не создало во славу Христа коллективное бессознательное, точно так же, как оно не создало меня. Просто появился новый стиль. Самые ранние образцы его можно увидеть в Италии; потом он распространился к северу.

Кимберли сидит красная как рак, но благосклонно, не размыкая губ, улыбается. Валери — просто потому, что терпеть не может Кимберли, — испытывает настоятельную необходимость хоть как-нибудь прийти ей на помощь. У Валери никогда не бывает страха сморозить глупость: она, как головой в омут, бросается в любой разговор, чтобы увести его в безопасное русло, чтобы развеселить и успокоить спорщиков. Той же

способностью разряжать обстановку обладает и Рут, хотя в ее случае это делается не столько преднамеренно, сколько безмятежно, почти ненароком, в результате методичного следования собственному ходу мыслей. А что же Дэвид? В данный момент он поглощен Анджелой и слушает дебаты вполуха. Анджела испытывает на нем свою власть: такие эксперименты она готова ставить даже над троюродным братом. По мнению Роберты, Кимберли грозит опасность с двух сторон. Впрочем, эту девочку голыми руками не возьмешь. У нее достанет сил отбить Дэвида у десятка таких, как Анджела; у нее достанет сил улыбаться, вопреки нападкам Дэвида на ее веру. Предвидит ли эта улыбочка, как ему суждено гореть? Вряд ли. Зато она предвидит, как все они будут спотыкаться, бродить кругами и завязывать себя узлом: какая разница, кто победит в споре? Для Кимберли все споры уже выиграны.

Предаваясь этим мыслям, выводя каждого на чистую воду, Роберта ощущает себя проницательной и раскованной. Ее спасло равнодушие. Главное — проявлять равнодушие к Джорджу: это дает огромное преимущество. Но равнодушие, которого у нее с избытком — хватит на всех, обтекает Джорджа стороной. Роберта уже достаточно

захмелела, чтобы доложить обществу о своих открытиях. «Одного лишь полового воздержания мало», — могла бы сказать она Валери. Но Роберта еще достаточно трезва, чтобы держать язык за зубами.

Валери навела Джорджа на разговор об Италии. Рут, и Дэвид, и Кимберли, и Анджела завели беседу о чем-то своем. В голосе Анджелы Роберта слышит досаду и уверенность, а еще пылкость, застенчивость, которую дано различить только ей одной.

— Кислотные дожди… — вещает Анджела.

У плеча Роберты щелкает пальцами Ева.

— О чем задумалась? — спрашивает она.

— Сама не знаю.

— А кто же знает? О чем ты думаешь?

— О жизни.

— И что ты надумала о жизни?

— О людях.

— И что ты надумала о людях?

— О десерте.

Ева, смеясь, щелкает пальцами с удвоенной силой.

— А насчет десерта что надумала?

— Что он был весьма неплох.

Проходит еще немного времени, и Валери по-

лучает возможность заявить, что она родилась не в девятнадцатом веке, что бы там ни говорил Дэвид. А Дэвид утверждает, что всякий, кто родился в этой стране до Второй мировой войны, воспитывался по большому счету в девятнадцатом веке и заражен архаичностью мышления.

— Мы — более чем продукты воспитания, — говорит Валери. — Ты наверняка и сам на это надеешься, Дэвид.

Она добавляет, что годами слышит разглагольствования про перенаселение, экологическую катастрофу, ядерную катастрофу и разные другие катастрофы, разрушение озонового слоя и так далее, а вот поди ж ты: они все живы-здоровы и относительно вменяемы, порадовали себя шикарным обедом, шикарным вином и сидят теперь в гостиной, в прекрасной, неиспорченной местности.

— Когда Писарро высадился на американском побережье, инки уже ели на золоте, — говорит Дэвид.

— Не делай вид, будто положение безвыходное, — говорит Кимберли.

— Я вот что думаю: может, нас уже завоевали? — мечтательно вопрошает Рут. — Может, все мы — осколки прошлого? Нет, не так. Ископае-

мые. Вот кто мы такие. В некотором смысле мы уже ископаемые.

Ева отрывает голову от сложенных на столе рук. Ее занавесочная фата сползла на один глаз, все краски потекли, из-за чего личико превратилось в пятнистый цветок. Она изрекает сурово и громко:

— Я не ископаемое!

— Конечно нет! — заверяет ее Валери, и уже начались зевки, задвигание стульев, застенчивые и официальные улыбки, задувание свечей: время расходиться.

— Вдохните запах реки! — призывает всех сразу Валери.

В темноте голос ее звучит одиноко и нежно.

— Луна в ущербе.

Не кто иной, как Роберта, объяснила Джорджу, что означает «луна в ущербе», и когда он произносит этот термин вслух, получается нечто вроде подношения.

Сейчас, когда они едут меж двумя черными полями, это определенно звучит как подношение.

— Да, в самом деле.

Роберта не отвергает это подношение молчанием, но и не выказывает особой радости. Она хранит вежливость. Зевает, и зевок получается

глубоко личным. Это не какая-то намеренная тактика, хотя Роберта знает силу равнодушия. Силу всего, что подлинно. Притворство он всегда раскусит; на любую тактику найдет противодействие. А ей надо бы пойти дальше — туда, где ничто не будет ее волновать. Тогда он почувствует, как она легка и далека, и чувства его оживут. Она обладает властью. Но стоит только оценить это по достоинству, как власть начнет ускользать. Вот Роберта и теряется в раздумьях, а сама зевает и балансирует на грани между бесчувственностью и чувствительностью. Будь ее воля — она бы осталась на этой грани.

Полутонный пикап, несущий Джорджа и Роберту с Евой и Анджелой, сворачивает на третью поселковую дорогу Уэймута, известную среди местных жителей как Телефонное шоссе. Это гравийная дорога, довольно широкая, хорошо укатанная. На нее они свернули с Ривер-роуд, более узкой трассы, проходящей мимо дома Валери. От угла Ривер-роуд до ворот Джорджа примерно две с четвертью мили. Этот отрезок Телефонного шоссе пересекают под прямым углом две второстепенные дороги. На каждой, в отличие от Телефонного шоссе, есть стоп-линия. Первый перекресток проехали. Из второго, с левой сто-

роны, выворачивает бутылочно-зеленый «додж» 1969 года, несущийся со скоростью миль восемьдесят-девяносто в час. С вечеринки едут домой, в Логан, двое парней. Один вырубился. Второй крутит руль. Фары включить забыл. Дорогу ему освещает луна.

Времени не остается даже на одно слово. Роберта не вопит. Джордж не касается тормозов. Перед ними темной вспышкой, без фар, проносится здоровенный и, можно подумать, беззвучный автомобиль. Он выныривает из черной кукурузы и заслоняет собой весь воздух, как плоская рыбина в аквариуме, которая выскользнула невесть откуда и заслонила собой всю стенку. Между «доджем» и фарами пикапа нет и метра. И вот «додж» уже исчез. Скрылся в кукурузе по другую сторону шоссе. Они едут дальше. Двигаются по Телефонному шоссе и сворачивают в переулок, останавливаются во дворе и застывают перед темной махиной недостроенного дома. Ими владеет не ужас и не чувство избавления — пока еще нет. Ими владеет чуждость. Они ощущают себя как чужаки, сплющенные, поднятые в воздух, не связанные ни с прошлыми, ни с будущими событиями, как тот автомобиль-призрак, черная рыбина. Над головой шевелятся мохнатые сосны,

а сквозь них пробивается чистый лунный свет и падает на робкую траву их нового газона.

— Вы там умерли, что ли? — приводит их в чувство голос Евы. — Мы разве домой еще не приехали?

Миссис Кросс и миссис Кидд

Миссис Кросс и миссис Кидд знакомы целых восемьдесят лет, еще с детского сада, который в то время называли «нулевым классом». Вот самое раннее воспоминание миссис Кросс о миссис Кидд: черноглазая девочка стоит у доски и декламирует какое-то стихотворение, сцепив руки за спиной и вскинув голову, чтобы все слышали уверенный голосок. В последующие десять лет, доведись вам побывать на любом мероприятии или собрании, предполагавшем художественную часть, вы бы непременно узнали там миссис Кидд (которая в то время звалась не миссис Кидд, а Мэриан Ботертон) по темной, густой, ровно подстриженной челке и туго накрахмаленному фартучку: она со знанием дела читала стихи, причем без сучка без задоринки. Даже сейчас миссис Кидд, сидящая в инвалидной коляске, без малейшего повода готова тряхнуть стариной.

За Регенсбург мы бой вели.[39]

---

[39] Примечания: 39

За Регенсбург мы бой вели. — Первая строка стихотворения Роберта Браунинга (1812–1889) «Случай во французском лагере» (пер. С. Сухарева).

Так она начнет.
Или:

Где величавы корабли,
Что в Фанди были с нами?..

Она делает паузу, но не потому, что забыла слова: просто ждет от слушателя вопроса («Что это за стихи?» или «Не это ли, случайно, публиковалось в „Третьем читателе“[40]?»), чтобы продолжить декламацию.

...Тому полвека в порт пришли
С солеными ветрами.[41]

А вот каково самое раннее воспоминание миссис Кидд о миссис Кросс (Долли Грейнджер): щекастая, вся красная, визгливая девчонка с толстыми соломенными косичками, одетая в платье с обвисшей кромкой, отплясывает на игровой

---

[40] Примечания: 40

«Третий читатель» — проект Джо Понпинто, писателя-беллетриста, журналиста, редактора, спичрайтера с более чем 30-летним стажем деятельности. Считается, что писателю необходим так называемый «третий читатель», в роли которого Понпинто и выступает, предлагая писателям беспристрастный взгляд на их рукописи и помощь в усовершенствовании работы.

[41] Примечания: 41

...Тому полвека в порт пришли / С солеными ветрами. — Строки из стихотворения канадского поэта Блисса Кармена (1861–1929) «Корабли Сент-Джона».

площадке, под навесом (день был дождливый), где столпились все, кому не лень. Девочки играли в хороводную игру, но миссис Кидд не имела ни малейшего представления о правилах. Это была виргинская кадриль[42]; девочки пели:

Едет медная повозка, по ухабам прыг да скок,

Едет медная повозка, по ухабам прыг да скок

Едет медная повозка, по ухабам прыг да скок

А в повозке мой дружок.

Миссис Кросс задорней всех пела, кружилась и топала ножками; она была самой младшей и самой низенькой из тех, кого взяли в игру. Ей об этом сказали старшие сестры. У миссис Кидд ни сестер, ни братьев не было.

Люди помоложе, узнав, что эти женщины знакомы три четверти века с лишним, воображают, наверное, что время стерло все различия между

---

[42] Примечания: 42

Виргинская кадриль — народный танец, появившийся в Англии в XV в. под названием «Сэр Роджер де Коверли». Несмотря на споры по поводу происхождения (танцы горной Шотландии или Ирландии), в целом считается английским танцем. Виргинской кадрилью стал называться в Америке, где был особенно популярен с 1830 по 1890 г.

ними. Никто, кроме них самих, не знает, что разделяло их прежде и в некоторой степени разделяет по сей день: квартирка над помещением почты и таможенной службы, где миссис Кидд жила с матерью и отцом-почтмейстером, — и таунхаус на Ньюгейт-стрит, где жила миссис Кросс с матерью, отцом, двумя сестрами и четырьмя братьями; англиканская церковь, которую посещала миссис Кидд, — и свободная методистская, к которой принадлежала миссис Кросс. Миссис Кидд в двадцать три года связала себя узами брака с учителем естествознания, а миссис Кросс выскочила замуж в семнадцать лет: муж ее ходил на озерных судах, но так и не дослужился до капитана. Миссис Кросс родила шестерых детей, миссис Кидд — троих. Муж миссис Кросс внезапно скончался в возрасте сорока трех лет, не застраховав свою жизнь; муж миссис Кидд, проработав долгие годы директором школы, ушел на покой, переехал с семьей в близлежащий Годрич[43] и получал пенсию. Разрыв сократился лишь в последнее время. Счет сравняло молодое поколение: в плане материальной обеспеченности дети миссис Кросс, хотя и не кончали университетов,

[43] Примечания: 43
Годрич — город в провинции Онтарио (Канада).

почти не уступают детям миссис Кидд. А внуки миссис Кросс заткнут за пояс и тех и других.

Миссис Кросс живет в «Доме на холме» три года и два месяца, миссис Кидд — без малого три года. Обе страдают сердечной недостаточностью и передвигаются в креслах-каталках, чтобы сберечь силы. Во время первого же разговора миссис Кидд сказала:

— В упор не вижу здесь холмов.

— Но отсюда видна магистраль, сверху, — ответила миссис Кросс. — Думаю, это имелось в виду. — И спросила: — Тебя куда определили?

— Каждый раз путаюсь. Но комнатка вполне приличная. Одноместная.

— И моя неплоха, я тоже одна лежу. Твоя в том крыле от столовой или в этом?

— Дай подумать… В этом.

— Вот и хорошо. Самое лучшее отделение. Тут публика еще хоть куда. Но дороговизна жуткая. Чем ты здоровее, тем больше с тебя дерут. В другом крыле лежат те, кто с головой не в ладах.

— Старые маразматики?

— Старые маразматики. Правда, есть и молодые. Вон, смотри. — Она кивком указала на мужчину лет пятидесяти, который терзал губную гармонику: у него был синдром Дауна. — В на-

шем крыле тоже молодые попадаются, но у них с этим, — она постучала пальцем по лбу, — все в порядке. Просто страдают разными болезнями. Как перестают за собой следить, их тут же наверх. Там — запущенные случаи. А ведь есть еще психи. В заднем крыле содержатся, под замком. Вот там психи — всем психам психи. А еще, мне кажется, есть особые палаты для тех, кто на своих ногах, но под себя ходит.

— Значит, мы с тобой тут — белая кость, — сказала миссис Кидд с натянутой улыбкой. — Я догадывалась, что здесь будет полно маразматиков, но кто бы мог подумать… — Она украдкой кивнула на дауна, который теперь отбивал чечетку напротив окна.

В отличие от большинства пациентов, страдающих этим недугом, он, пусть бледный и слабый на вид, был сухощавым и подвижным.

— По сравнению с другими этот еще счастливчик, — сказала, глядя в его сторону, миссис Кросс. — Интернат такого типа — единственный на всю страну, вот сюда и свозят всех, кого попало. Но со временем они уже тебя не трогают.

— Меня-то не трогают вовсе.

В палате миссис Кидд множество камешков и ракушек в коробочках и склянках. Есть там

и чучела певчих птиц, и витрина с хрупкими бабочками. На книжных полках — «Папоротники и мхи Северной Америки», «Птицы восточной части Северной Америки: справочник Питерсона», «Как распознавать горные породы и минералы», а также звездный атлас. Чучела певчих птиц и витрина с бабочками некогда украшали школьный кабинет ее мужа, учителя естествознания. Чучела он покупал на свои деньги, а бабочек они с женой собирали сами. Миссис Кидд хорошо разбиралась в ботанике и зоологии. Если бы не слабое — как считалось по тем временам — здоровье, она бы поступила в университет, чтобы изучать ботанику, хотя для девушек это было редкостью. Ее дети, живущие за тридевять земель, посылают ей прекрасные иллюстрированные издания на темы, которые, в их представлении, будут ей интересны; но фолианты эти по большей части оказываются громоздкими и увесистыми, читать их неудобно, а потому она вскоре отправляет их на самую нижнюю полку. Интерес ее давно пошел на убыль, причем очень заметно, хотя она никогда в жизни не скажет этого детям. В своих письмах они вспоминают, как она учила их различать грибы: «А помнишь, как мы наткнулись на бледную поганку в лесу Петри, когда жили в

Логане?» Письма состоят преимущественно из воспоминаний. Дети, ее стареющие дети, хотят, чтобы она законсервировалась такой, какой была лет сорок-пятьдесят назад. Они относятся к ней с такой нежностью и ответственностью, с какой не всякие родители пестуют свое дитя. Будто смышленую не по годам девочку, они нахваливают ее за сообразительность, за обширные познания, за атеизм (державшийся в строгом секрете все годы, пока ее муж занимался воспитанием юношества) и за все качества, которые выделяют миссис Кидд из числа среднестатистических, или анекдотичных, старушек. Не так уж сильно она от них отличается, но считает своим долгом скрывать это от детей.

Миссис Кросс тоже получает от своих детей подарки, но, разумеется, не книги, а украшения, картинки, подушечки. Ей прислали композицию из искусственных роз со светодиодами, которые мерцают и пузырятся, подобно струям фонтана. Есть у нее кукла «Красотка с Юга», чьи атласные кринолины задуманы как огромная игольница. Есть репродукция «Тайной Вечери», на которой все освещение исходит от нимба вокруг головы Иисуса. (Миссис Кидд, впервые зайдя к ней к палату, написала кому-то из своих детей, что долго

пыталась разглядеть, чем трапезничает Господь с апостолами, и в конце концов поняла: гамбургерами. Детям нравится, когда она демонстрирует такой тип юмора.) У двери покоится гипсовая скульптура в натуральную величину: шотландская овчарка, похожая на любимицу Кроссов, старую Бонни, которая жила у них в те времена, когда дети еще пешком под стол ходили.

Миссис Кросс выпытывает у детей, во что им встали эти вещи, а потом сообщает цены окружающим. И добавляет, что потрясена.

Вскоре после появления миссис Кидд миссис Кросс повела ее в гости на второй этаж. Миссис Кросс поднимается туда раз в две недели — проведать кузину, старую Лили Барбур.

— Лили малость с приветом, — предупредила она миссис Кидд, когда их кресла-каталки въехали в лифт. — И запашок там не фиалковый, хотя из баллончиков прыскают исправно. Персонал старается, как может.

Когда они выбрались из лифта, миссис Кидд сразу обратила внимание на сморщенную, всклокоченную старушонку в платье, задравшемся выше колен и обнажившем голые ноги (миссис Кидд поспешила отвести взгляд). Изо рта у нее свисал язык, который, похоже, не убирался об-

ратно. В воздухе пахло мочой, будто подогретой в печке, и цветочным аэрозолем. Зато поблизости находилась гладкая, разумного вида особа с кичкой на затылке и в переднике поверх чистого розового платья.

— Ну что, доставка была? — фамильярно поинтересовалась она у посетительниц.

— Нет, доставка обычно бывает после пяти, — любезно ответила миссис Кидд, имея в виду газеты.

— Не обращай внимания, — буркнула миссис Кросс.

— Я должна подписать документы сегодня, — забеспокоилась женщина. — Иначе произойдет катастрофа. Меня просто-напросто вышвырнут. Поверьте, я даже не имела представления, что это незаконно.

У нее была настолько внятная, логичная и доверительная манера речи, что миссис Кидд даже не усомнилась в ее здравомыслии, но миссис Кросс негодующе покатила прочь. Миссис Кидд поспешила следом.

— Не ввязывайся, кого ты слушаешь? — стала выговаривать ей миссис Кросс, когда они поравнялись.

Их провожала торжествующим взглядом жен-

щина, у которой был такой гигантский зоб, какого миссис Кидд не видела уже много лет. На втором этаже ни у одного пациента не было зубов.

— Я думала, с зобом уже никто не ходит, — призналась миссис Кидд. — Ведь существует йод.

С той стороны, куда они ехали, доносился истошный вопль:

— Джордж! Джордж! Джесси! Я тут! Скорее, вытащите меня! Джордж!

К этим крикам время от времени добавлялся другой, жизнерадостный голос.

— Дурно-дурно-дурно, — тараторил он. — Дурно. Дурно-дурно. Дурно-дурно-дурно. Дурно-*дурно*.

Обе крикуньи сидели за длинным столом у ряда окон, в компании десятка других женщин. Некоторые бормотали или напевали себе под нос. Одна выдергивала нитки из вышитой подушечки. Другая ела брикет пломбира в шоколаде. Кусочки шоколада застревали у нее в усах, растаявшее мороженое текло с подбородка. Никто не смотрел в окно, не глазел на соседей. Никто не реагировал ни на «Джорджа-и-Джесси», ни на «Дурно-дурно-дурно»; крикуньи не унимались.

Миссис Кидд притормозила:

— Которая из них твоя Лили?

— Она в самом конце. У нее постельный режим.

— Вот и иди к ней, — заявила миссис Кидд. — А я — назад.

— Напрасно ты расстроилась, — уверила ее миссис Кросс. — Они обитают в своем маленьком мирке. Поверь, у них не жизнь, а сказка.

— У них — возможно, у меня — нет, — заупрямилась миссис Кидд. — Встретимся в комнате отдыха.

Она развернулась и покатила через зал обратно к лифту, где особа в розовом платье еще раз потребовала свои бумаги. Больше миссис Кидд сюда не поднималась.

Каждый день после обеда миссис Кросс и миссис Кидд встречались в комнате отдыха за игрой в карты. Они надевали сережки, чулки, выходные платья. По очереди заказывали чай. В целом это было приятное времяпрепровождение. Подруги были заядлыми картежницами. Для разнообразия они, бывало, играли в скрэббл, но миссис Кросс не воспринимала скрэббл всерьез, в отличие от карт. Отстаивая слова собственного сочинения, она становилась вздорной и сварливой. В таких случаях они снова переключались на

карты. Играли обычно в джин-рамми[44]. Обстановка здесь была, как в школе. Пациенты ходили парами, объединялись с близкими друзьями. В столовой непременно садились вместе. Некоторых в компанию никто не брал.

Впервые миссис Кросс увидела Джека в комнате отдыха, когда они с миссис Кидд резались в карты. Он поступил в интернат с неделю назад. Миссис Кидд была о нем наслышана.

— Видишь, там, у окна, рыжий парень? — сказала она. — Он после инсульта. Ему всего-то пятьдесят девять. В столовой судачили, когда тебя еще здесь не было.

— Бедняга. Такой молодой.

— Да он, считай, в рубашке родился. У него еще отец с матерью живы. Приехал он к ним в гости, на ферму, и свалился с инсультом. Упал ничком в сарае; там его и нашли. Он не из наших мест, а с запада.

— Бедняга, — повторила миссис Кросс. — А где он работал?

— В какой-то газете.

— Женат?

---

[44] Примечания: 44

Джин-рамми — карточная игра, завоевавшая популярность в США в 1940-е гг.; происходит от мексиканского кункена.

— Вот не знаю. Говорят, он спивался, но вовремя вступил в «АА»[45] и вылечился. Да мало ли что здесь болтают, не всему верить можно.

(И правда. За каждым новоприбывшим тянулся шлейф россказней: о его материальном положении, о местах жительства, о перенесенных операциях, включая пластические, и о количестве искусственных органов, как наружных, так и внутренних. Пару дней спустя миссис Кросс разузнала, что Джек был главным редактором газеты. По одним сведениям, в Садбери[46], по другим — в Виннипеге[47]. Прослышала она и о том, что у него случился нервный срыв на почве переутомления, а пьяницей он никогда не был. Она заверяла, что он из хорошей семьи. А зовут его Джек Макнил.

Сейчас миссис Кросс заметила, насколько аккуратным и ухоженным смотрится он в серых брюках и светлой рубашке. Но вид у него был неестественный: Джек выглядел как полотенце,

---

[45] Примечания: 45

«АА» — «Общество анонимных алкоголиков». Существует с 1935 г. в форме групп взаимной поддержки.

[46] Примечания: 46

Садбери — город в провинции Онтарио.

[47] Примечания: 47

Виннипег — город в провинции Манитоба.

набухшее в воде. Мужчина довольно крупного телосложения, он не мог держаться прямо, даже сидя в инвалидном кресле. Левая часть его туловища обмякла и бессильно обвисла, будто бы лишенная костей. Волосы и усы даже не поседели, а остались рыжевато-русыми. Кожа — бледная, словно была долго закрыта повязками.

Потом настал отвлекающий момент. Через комнату отдыха шел проповедник, еженедельно посещавший интернат для совершения молебна с церковными гимнами (духовные лица высшего звания по очереди появлялись в воскресенье), за ним по пятам следовала его жена; раздавая направо и налево сердечные улыбки, оба здоровались с присутствующими. Когда они проходили мимо их столика, миссис Кидд подняла глаза и произнесла негромко, но отчетливо:

— «Радуйся, мир!»[48]

Заслышав это, Джек, который неуклюже разъезжал (или кружил) по комнате, улыбнулся. Умная, ироничная его улыбка никак не вязалась с беспомощным видом. Миссис Кросс махнула ему рукой и поехала к нему. Она представила миссис Кидд и представилась сама. Джек открыл рот, и

---

[48] Примечания: 48

«Радуйся, мир!» — название евангельского гимна, созданного в 1719 г. Исааком Уоттсом.

до женщин донеслось протяжное «мэ-мэ-мэ».

— Да? — ободряющего переспросила миссис Кросс. — Что-что?

— Мэ-мэ-*мэ*, — пробубнил Джек.

Он махнул правой рукой. В глазах появились слезы.

— Мы, кажется, играем в карты? — напомнила миссис Кидд.

— Я должна продолжить игру, — сказала Джеку миссис Кросс. — Если хотите посидеть с нами, посмотреть — пожалуйста. Вы когда-нибудь играли в карты?

Его правая рука вцепилась в ее кресло, и он зарыдал, наклонив голову. Левой рукой он попробовал дотянуться до лица, чтобы утереть слезы. Но рука поднялась лишь на пару дюймов и бессильно упала на колено.

— Ну же, будет, — ласково произнесла миссис Кросс. Она вспомнила, как успокаивают плачущего ребенка: с помощью доброй шутки. — Как же я тебя пойму, если ты собираешься плакать? Прояви чуточку терпения. Знавала я людей, к которым после инсульта снова вернулась речь. Знавала, поверь. Плакать не стоит, слезами горю не поможешь. Не торопи события. Уа-уа-уа, — протянула она, наклоняясь к нему. — Уа-уа-а-а-а.

Сейчас мы с миссис Кидд тоже заплачем.

Это положило начало покорению Джека. Миссис Кросс заставила его остановиться рядом, понаблюдать за игрой, утереть слезы и оставить тщетные попытки принять участие в беседе (мэ-мэ-*мэ*), а вместо этого просто издавать звуки, которые заменяли ему речь (мэ-мэ).

Миссис Кросс чувствовала, как у нее внутри натянулась какая-то струна. В ней проснулась былая хватка, наблюдательность, способность выбирать правильную тактику; все это, при известной осмотрительности, не вызывало никаких подозрений у объекта ее внимания.

Однако миссис Кидд с легкостью распознала ее уловки.

— Не карточная это игра, — заметила она.

Вскоре миссис Кросс поняла, что карты Джека не интересуют и бессмысленно пытаться вовлечь его в игру; он жаждал только общения. Но попытки произнести какие-либо звуки только вызывали новые рыдания.

— Слезами меня не проймешь, — сказала она ему. — Уж я ли рыданий не видела на своем веку? Что хорошего, если все будут считать тебя плаксой?

Она начала задавать ему вопросы, на которые

он мог отвечать односложно — да или нет. Это подняло ему настроение, а ей дало возможность проверить истинность ходивших о нем толков.

Да, он работал в газете. Нет, не женат. Нет, газета не печаталась в Садбери. Миссис Кросс принялась наудачу перебирать названия городов, но никак не могла попасть в точку. Он разволновался, попытался заговорить; теперь в рое звуков можно было уловить очертания слова, но она не могла его разобрать, как ни старалась. И корила себя за слабые познания в географии. Затем, приободрившись, велела ему не сходить с места, пообещала, что скоро вернется, и покатилась в библиотеку. Ей хотелось найти книгу с географическими картами. К ее неприятному удивлению, таковых в библиотеке не оказалось; там не было ничего, кроме любовных историй и религиозной литературы. Но она не сдавалась. Спустившись этажом ниже, она поехала в комнату миссис Кидд. Поскольку их карточные игры немного застопорились (играли они теперь не каждый день), миссис Кидд часто проводила послеобеденное время у себя в комнате. Здесь она была и сейчас: лежала на постели в эффектном лиловом халате с высоким, украшенным вышивкой воротом. У нее разболелась голова.

— Не сохранилось ли у тебя какой-нибудь географической книги? — полюбопытствовала миссис Кросс. — Чтобы с картами? — Она объяснила, что книга нужна ей для Джека.

— Ах, ты имеешь в виду атлас, — сказала миссис Кидд. — Думаю, где-то есть. Не помню. Посмотри на нижней полке. Я и сама не знаю, что там у меня лежит.

Примостившись у книжного шкафа, миссис Кросс снимала с полки тяжелые тома, открывала их один за другим у себя на коленях и напрягала зрение в попытке прочитать названия. Она никак не могла отдышаться после своей долгой поездки.

— Ты изнуряешь себя, — заметила миссис Кидд. — И сама расстроишься, и его расстроишь, зачем это нужно?

— Я не расстраиваюсь. Но считаю это преступлением.

— Ты о чем?

— Что здесь делает такой образованный человек? Его следовало определить туда, где с пациентами занимаются, помогают им вернуть речь. Как называются такие учреждения? Ты меня понимаешь. Зачем же его запихнули сюда? Я хочу ему помочь, но не знаю как. По крайней

мере, надо сделать попытку. Окажись на его месте один из моих мальчиков, я бы понадеялась, что к нему, всем чужому, проявит участие какая-нибудь женщина.

— Реабилитационный центр, — ответила миссис Кидд. — Вероятнее всего, инсульт был настолько серьезным, что медикам ничего не оставалось, кроме как положить его сюда.

— Здесь у тебя все, что угодно, только не книги с картами, — в сердцах бросила миссис Кросс, явно не желая отвечать на ее предположение. — Вдруг он подумает, что я не вернусь?

Она развернула кресло и выехала из комнаты миссис Кидд, не поблагодарив и не попрощавшись. Боялась, что Джек заподозрит, будто она и не думала возвращаться, а просто захотела от него избавиться. Как и следовало ожидать, когда она появилась в комнате отдыха, его там не оказалось. Она растерялась. Огорчилась чуть ли не до слез. И не имела представления, где находится его комната. Ей пришло в голову, что это можно узнать в канцелярии, но, взглянув на часы, она поняла, что сейчас — в пять минут пятого — там уже закрыто. Нерадивые девчонки. Дождутся четырех часов — хвать пальто и домой, а там хоть трава не расти. Она медленно поехала дальше

по коридору, раздумывая, как же быть. И вдруг в одном из тупиков увидела Джека.

— Ах вот ты где, какое счастье! Я тебя обыскалась. Неужели ты подумал, что я не вернусь? Я тебе скажу, за чем ходила. Задумала тебя удивить. Ходила за книжкой с картами (как там она называется?), чтобы ты мне показал, где жил. Атлас, вот!

Он уставился на розовую стену, как будто это было окно, а не глухая стена. К ней крепилась непонятная конструкция, служившая подставкой для букета искусственных нарциссов в вазе, а также фигурок гномов и собачек; рядом висели три картинки кустарной работы.

— У моей подруги миссис Кидд книг больше, чем в библиотеке. Одна полностью посвящена букашкам. Другая — только о Луне и о лунных экспедициях, которые уже не за горами. Но такого пустячка, как географическая карта, у нее не нашлось.

Джек стал тыкать пальцем в картинки на стене.

— Какую ты хочешь мне показать? — спросила миссис Кросс. — Ту, что с церковью и крестом? Нет? Или ту, что выше? Где сосны? Да? И что? Сосны и олени? — Он заулыбался, кивая головой.

Она надеялась, что в этот раз он не перевозбудится и не расстроится.

— Что насчет этой картины? Знаешь, по телевизору показывают нечто подобное. Деревья? Зеленые? Сосны? Это олени? Три? Нет? Да. Три красных оленя? — Он шлепнул рукой по тыльной и внутренней стороне другой ладони, и миссис Кросс продолжила: — Честно говоря, пока не понимаю. *Три — красных — оленя*. Постой! Я знаю, что это за место. Слышала о нем в новостях. Ред-Дир. Красный олень![49] Вот оно! Это то место, где ты жил! Где работал в газете! *Ред-Дир*.

Оба не помнили себя от радости. Он в восхищении размахивал руками, как будто дирижировал оркестром, а она подалась вперед и, заливаясь смехом, хлопала ладонями по коленкам.

— Ах, если бы все картины были такими, как бы мы пообщались! Мы бы с тобой повеселились, правда?

Миссис Кросс записалась к врачу.

— Я слышала, что после тяжелого инсульта к человеку может вернуться речь. Такое бывает?

— Да, случается. Смотря по обстоятельствам.

---

[49] Примечания: 49

Ред-Дир. Красный олень! — Город Red Deer в центральной части провинции Альберта, на одноименной реке. Его название буквально означает «красный олень», т. е. благородный олень.

Вы беспокоитесь по поводу того пациента?

— Не хотела бы оказаться на его месте. Неудивительно, что он плачет.

— Сколько у вас детей?

— Шестеро.

— Сдается мне, вы свое уже отбеспокоились.

Она поняла, что он не собирается ничего объяснять. Либо не помнит всех подробностей истории болезни Джека, либо делает вид, что не помнит.

— Моя работа — заботиться о людях, — сказал он. — За этим я сюда поставлен, как и медсестры. Поэтому беспокойство оставьте профессионалам. Нам за это деньги платят. Договорились?

Ей так и хотелось спросить: «А на какую сумму вы проявляете беспокойство?»

Она бы охотно обсудила этот визит с миссис Кидд, поскольку знала, что та очень невысокого мнения о докторе, но, узнай миссис Кидд, что причиной визита был Джек, она бы ввернула какую-нибудь колкость. Больше миссис Кросс с ней о Джеке не заговаривала. С другими людьми — да, но она видела, что им это неинтересно. Здесь никому нет дела до чужих несчастий, думалось ей. Хоть умри — другие бровью не поведут; у них одно на уме — собственная персона: *я еще жив, что сегодня на ужин*? Эгоизм. Они ничуть

не лучше тех, с третьего этажа, только до поры до времени этого не показывают.

А на третьем этаже она не бывала уже давно, не навещала Лили Барбур с тех пор, как начала водить дружбу с Джеком.

Им нравилось сидеть в уголке под картиной с красным оленем; это было место их первого общего достижения. Теперь они закрепили его за собой и могли побыть там вдали от всех. Миссис Кросс раздобыла карандаш, бумагу и установила на каталке Джека поднос, чтобы проверить, как у него с письмом. Оказалось, не лучше, чем с речью. Обычно он что-то царапал на листке, с силой давил на карандаш, пока не ломал грифель, — и ударялся в слезы. Ни в речи, ни в письме они не преуспели, все было без толку. Но она приспособилась выуживать из него односложные ответы, и, судя по всему, ей иногда удавалось понять, чем заняты его мысли.

— Будь я умнее — сообразила бы, как тебе помочь, — говорила она. — Зла на себя не хватает. Все, что есть в моей голове, могу выразить; но ведь в ней одни крохи, а в твоей кипят страсти, но выпустить их тебе не под силу. Ладно, не беда. Как насчет чашки кофе? Вот именно, чашка кофе — как раз то, что тебе нужно. Мы с подругой,

миссис Кидд, были заядлыми чаевницами, но сейчас я перешла на кофе. Мне он теперь больше нравится.

— Так ты никогда не был женат? Никогда?

Нет.

— А любимая женщина у тебя была?

Да.

— Правда? Действительно? Это было давно? Или, наоборот, недавно?

Да.

— Давно или недавно? И то и другое. И давно, и не очень давно. Несколько любимых женщин. Или одна и та же? Одна и та же. Одна женщина. Ты любил ее долгие годы, но не женился. Ох, Джек. Ну почему нет? Она не могла за тебя выйти? Нет, не могла. Почему? Она тогда была замужем? Так ведь? Да. Да. Бог ты мой.

Она вгляделась в его лицо, пытаясь понять, не слишком ли он тяготится этой темой или же, наоборот, жаждет продолжения. Ей показалось, он готов продолжить. Ее так и распирало от желания спросить, где сейчас та женщина, но шестое чувство подсказало, что не стоит. Вместо этого она умерила пыл.

— Интересно, смогу ли я угадать ее имя? Помнишь, как было с Ред-Дир? Здорово тогда полу-

чилось, правда? Попробую узнать. Возможно, стоит начать с буквы А и пройти весь алфавит. Анна? Аманда? Анабель? Нет. Наверное, я просто доверюсь интуиции. Джейн? Мэри? Луиза?

Имя женщины — Пэт, Патриция — она угадала примерно с тридцатого раза.

— У меня в голове портрет девушки по имени Пэт: она блондинка. Не брюнетка. Правда ведь, что с именем у нас в сознании связан образ? У нее были светлые волосы, так? Да? А еще она была высокая, как подсказывает этот образ. Раз Пэт, значит высокая. Я права? Вот так-то! Я угадала. Высокая и светловолосая. Привлекательная женщина. Красивая женщина.

Да.

Она устыдилась, потому что ей на миг захотелось с кем-нибудь поделиться своим открытием.

— Значит, это тайна. Она останется между нами. Послушай. Если ты когда-нибудь захочешь написать Пэт письмо, обращайся тотчас же. Обращайся, а я попытаюсь понять, что ты хочешь ей сказать, и напишу.

Нет. Никаких писем. Никогда.

— Что ж. У меня тоже есть тайна. Мне нравился один парень, он погиб в Первую мировую. У нас в школе устроили ледовый бал, и после бала он

пошел меня провожать. Я училась в четвертом классе второй ступени. Мне было четырнадцать лет. Он мне ужасно нравился, просто из головы не шел, ты понимаешь; а когда я, уже будучи замужней женщиной, узнала, что он погиб (я вышла замуж в семнадцать лет), меня осенило, что теперь мне есть чего ждать: я буду ждать встречи с ним на небесах. Это правда. Вот какая я была глупышка… Мэриан тоже была на той вечеринке. Ты знаешь, кого я имею в виду. Миссис Кидд. Она тоже пришла, в самом красивом наряде. В нежно-голубом кафтанчике, отороченном белым мехом, да еще с капюшоном. И с муфтой. С белой меховой муфтой. Никогда в жизни я ничему так не завидовала, как этой муфте.

Вечером, перед тем как забыться сном, миссис Кросс всегда перебирала в уме подробности очередной встречи с Джеком: как он выглядел, каков у него был цвет лица, плакал ли он, и если да, то как часто и насколько долго; почему он был не в духе во время ужина: не хотел быть на людях или же еда не нравилась; как он с ней прощался: угрюмо или с благодарностью.

Тем временем и миссис Кидд завязала дружеские отношения. Ее новую подругу звали

Шарлоттой; раньше она жила вблизи столовой, но недавно была переведена на другой конец этажа. Шарлотта, рослая и статная, производила впечатление почтенной женщины лет сорока пяти. Страдала рассеянным склерозом. Время от времени у нее наступала ремиссия, как, например, сейчас; она имела возможность уезжать домой, оставляя за собой палату в интернате, но никогда этим не пользовалась. Ей и в интернате было неплохо. Долгие годы прожив в стационаре, она стала по-детски непосредственной, ласковой и покладистой. Шарлотта помогала в парикмахерской, это дело было ей по душе. Расчесывая и закалывая волосы миссис Кидд, она восхищалась, что у женщины в таком возрасте сохранилась грива цвета воронова крыла. Сама она пользовалась оттеночным шампунем светло-пепельного цвета и заливала взбитую прическу лаком. Миссис Кидд, почуяв запах лака, вскрикивала:

— Шарлотта! Тебя специально перевели сюда, чтобы ты нас всех передушила?

Та визгливо хохотала. Она преподнесла миссис Кидд подарок. Красную войлочную сумочку с аппликацией из зеленых листьев и желто-голубых цветов, изготовленную своими руками в мастерской рукоделия. Миссис Кидд узрела в

ней сходство с карманами для рецептов, что ее дети когда-то мастерили в школе и приносили домой: сшитые яркой шерстяной ниткой целая картонная тарелка для торта и половина такой же тарелки. Из-за малой вместительности пользы от них было чуть. Эти аккуратно изготовленные безделки были из той же оперы, что вязаные прихватки, не спасавшие руки от ожогов, или выпиленная из фанеры лошадиная голова, крючок на которой был так мал, что даже не позволял повесить шляпу.

Шарлотта одарила такими же сумочками своих замужних дочерей, и малютку-внучку, и женщину, которая сошлась с ее мужем и представлялась его фамилией. Эти двое регулярно навещали Шарлотту; все меж собой дружили. Подобный расклад устраивал и мужа, и детей, и, вероятно, саму Шарлотту. Никто не пытался ее одурачить. Вполне возможно, она просто сдалась без единого стона. И даже с готовностью.

— А чего хотеть? — вопрошала миссис Кросс. — Шарлотта покладистая.

Миссис Кросс и миссис Кидд не рассорились и по большому счету не охладели друг к дружке. Они порой болтали о том о сем и время от времени играли в карты. Но общение их осложнилось.

В столовой они теперь сидели за разными столиками, потому что миссис Кросс взялась следить, не нужна ли Джеку помощь, когда он орудует ножом. Никому другому Джек не позволял нарезать у него в тарелке мясо; он бы скорее притворился, что не голоден, и лишил себя порции белков. Впоследствии место, освобожденное миссис Кросс, заняла Шарлотта. У Шарлотты не возникало трудностей с нарезкой мяса. Перед тем как взяться за еду, она резала не только мясо, но и подсушенный хлеб, и яйца, и овощи, и сдобу — все, что резалось ножом, — на аккуратные маленькие кусочки. Миссис Кидд внушала ей, что это отнюдь не признак хороших манер. Шарлотта хоть и расстраивалась, но упрямо делала по-своему.

— Мы бы с тобой так просто не сдались, — заявила миссис Кидд, когда они с миссис Кросс обсуждали Шарлотту. — Да мы бы и не оказались перед таким выбором.

— Это верно. Раньше таких мест не было. Таких комфортных. В нас бы не смогли поддерживать жизнь, как поддерживают в ней. Таблетки, одно, другое. Кстати, она, возможно, от таблеток и дуреет.

Миссис Кидд промолчала и лишь нахмурилась, услышав, что Шарлотта «дуреет», хотя и сама

считала так же, только стеснялась высказаться напрямик. После паузы она неуверенно сказала:

— По-моему, у нее больше мозгов, чем она показывает.

Миссис Кросс ровным тоном ответила:

— Не знаю, не знаю.

Миссис Кидд в задумчивости повесила голову. Она с легкостью могла просидеть так битый час, пока Шарлотта расчесывала и укладывала ее волосы. Неужели она превращалась в такую же, как те почтенные дамы, которые обожают, чтобы их обслуживали? Чтобы было кем помыкать? Из тех, что отправляются в кругосветные путешествия, — она читала про это в романах. Отправляются в кругосветные путешествия на океанских лайнерах, останавливаются в отелях или живут с компаньонками в роскошных, но ветхих особняках. Помыкать Шарлоттой было очень легко: хоть усаживай ее играть в скрэббл, хоть ругай за плохие манеры. Шарлотта сама напрашивалась на роль чьей-нибудь прислужницы. Так почему же миссис Кидд старалась себя не выдать? Да потому, что не хотела быть типичной старой самодуркой. Да к тому же прислужницы нынче на вес золота. А в конечном счете человеческие привязанности превращаются в камень

на шее. Надежды. Ей хотелось от них очиститься. Порой это удавалось: когда она, лежа в постели, мысленно декламировала все знакомые стихи или факты, удерживать которые в голове становилось все труднее и труднее. А иной раз она воображала дом на краю темного леса или болота, а перед ним — пестрые луга, сбегающие к морю. Она воображала, что живет там одна, как старушка из сказки.

Миссис Кросс намеревалась походить с Джеком в гости. По ее расчетам, настало время ему привыкать к общению с окружающими. Теперь, когда они с ним оставались наедине, он уже плакал гораздо меньше. Однако за столом он вгонял ее в краску, и ей приходилось его одергивать. Зачастую он обижался неизвестно на что, причем до такой степени, что опрокидывал сахарницу и швырял столовые приборы на пол. Ей казалось, что стоит ему только привыкнуть хотя бы к некоторым людям так, как к ней, — и он успокоится, начнет держаться более пристойно.

Когда она в первый раз привела его в комнату миссис Кидд, оказалось, что хозяйка вместе с Шарлоттой собираются уходить в мастерскую рукоделия. Миссис Кидд не пригласила гостей пойти с ними вместе, за компанию. В следующий

визит они застали миссис Кидд и Шарлотту за игрой в скрэббл, так что деваться тем было некуда.

— Ты не возражаешь, если мы немного понаблюдаем? — спросила миссис Кросс.

— Ничуть. Только если вам наскучит, это не моя вина. Шарлотта после среды неделю думает, чтобы собраться с мыслями.

— Мы никуда не торопимся. Нас все равно нигде не ждут. Правда, Джек?

Она гадала, сможет ли увлечь Джека игрой в скрэббл. Когда он пытался писать, она не могла определить, насколько серьезны его проблемы. Только ли в том его трудность, что он не способен выводить буквы? Или он не понимал принципа составления слов? Кто знает, вдруг эта игра окажется целительной?

В любом случае он заинтересовался. Подвинулся ближе к Шарлотте, которая набрала фишки с буквами, положила назад, затем снова подняла, рассмотрела у себя в ладони и итоге выложила слово «ветер», подогнав его к букве «р» из слова «рукав», составленного миссис Кидд. Джек вроде бы понял. И остался так доволен, что, желая поздравить Шарлотту, похлопал ее по коленке. Миссис Кросс понадеялась, что Шарлотта не обидится на этот дружеский жест.

Она зря беспокоилась. Шарлотта не умела обижаться.

— Молодец, — сказала, нахмурившись, миссис Кидд и тут же составила слово «ангел», привязав его к букве «а». — Очки утраиваются! — воскликнула она, записывая счет. — Бери буквы, Шарлотта.

Та одну за другой показала новые буквы Джеку, и он пробурчал что-то добродушное. Миссис Кросс следила за ним во все глаза, чтобы предотвратить любую мелочь, способную испортить ему настроение или свести на нет дружескую атмосферу. Ничего подобного не происходило. Но Джек явно мешал Шарлотте сосредоточиться.

— Поможешь? — спросила его Шарлотта, слегка подвинув подставку с буковками, чтобы она оказалась прямо между ними. Он наклонился вперед и почти положил голову ей на плечо.

— Мэ-мэ-мэ, — выдавил Джек, но довольно бодро.

— Мэ-мэ-мэ, — передразнила Шарлотта. — Разве есть такое слово — «мэ-мэ-мэ»?

Вопреки ожиданиям миссис Кросс, которая боялась, что вот-вот грянет гром, Джек только захихикал, Шарлотта ему вторила, и с этого момента они смеялись по очереди, практически

не умолкая.

— Прямо закадычные друзья, — заметила миссис Кидд.

Миссис Кросс подумала, что, если они намереваются и впредь заходить к ее подруге, не стоит ее раздражать.

— Послушай, Джек, не отвлекай Шарлотту, — мягко произнесла она. — Не мешай, пусть играет.

Не успев закончить фразу, она увидела, как рука Джека неуклюже упала на игральную доску. Фишки разлетелись во все стороны. Он повернулся и обжег ее неприятным взглядом: никогда еще она не замечала в нем такого презрения. Миссис Кросс была поражена и даже напугана, но не хотела этого показывать.

— Смотри, что ты наделал, — упрекнула она. — Кто так себя ведет?

Джек с отвращением фыркнул и сбросил на пол игральную доску вместе со всеми фишками, не отрывая взгляда от миссис Кросс, чтобы всем стало ясно, против кого направлена его злость. Но миссис Кросс поняла, что сейчас нужно разговаривать с ним холодно и решительно. Ведь именно так принято обращаться с детьми и животными: нужно показать, кто тут командует, что

бы ни происходило. Но миссис Кросс не смогла выдавить ни слова: ею овладели обида, потрясение и беспомощность. Ее глаза наполнились слезами, но лицо Джека при виде этих слез сделалось еще более злобным и угрожающим, как будто с каждой секундой его ненависть бурлила все сильнее.

Шарлотта улыбалась: то ли потому, что еще не успела стряхнуть веселье, которым наслаждалась минуту назад, либо потому, что не умела ничего, кроме как улыбаться в любых обстоятельствах. Ее раскрасневшееся лицо стало виноватым и возбужденным.

Джек резким, неловким движением развернул кресло-каталку. Шарлотта поднялась. Миссис Кросс едва сумела выговорить:

— Да, тебе надо его увести. Пусть отправляется к себе, остынет и задумается о своем поведении. Так будет лучше.

Джек издал насмешливый клекот, желая, видимо, показать, что Шарлотта не нуждается в напоминаниях миссис Кросс, она как раз собиралась это сделать; а миссис Кросс только притворялась, что держит руку на пульсе. Шарлотта, взявшись за ручки кресла, покатила его к двери; растянутые в улыбке губы плотно сжались, когда она

целенаправленно прижималась к стене, чтобы не сбить книжные полки или витрину с бабочками. Вероятно, ей было сложно толкать кресло, направлять его в нужную сторону; вероятно, обычные рефлексы и чувство равновесия ей изменили. Но выглядела она довольной; с улыбкой помахав оставшимся, она отправилась в путь по коридору. Шарлотта была похожа на вышедшую из моды куклу, в каких играли не миссис Кросс и не миссис Кидд, а их матери: у таких кукол были длинные, мягкие туловища, бело-розовые лица, локоны и улыбки, как у истинных леди. Джек не обернулся; миссис Кросс видела только часть его щеки, залитую краской.

— Любой мужчина может получить от Шарлотты все, что хочет, — изрекла миссис Кросс, когда женщины остались наедине.

— Не уверена, что он так опасен, — ответила миссис Кросс. Говорила она сухо, но голос дрожал.

Миссис Кидд оглядела игральную доску и буковки, раскиданные по полу.

— Не получится у нас их собрать, — сказала она. — Наклонись мы вперед — потеряем сознание. — И это было правдой.

— Никчемные старые клячи, да? — сказала

миссис Кросс. Теперь голос у нее дрожал заметно меньше.

— Даже пытаться не будем. Попросим медсестру, когда она принесет сок. И не нужно распространяться о том, как это случилось. Решено. Нагибаться не будем, чтобы ненароком не расквасить себе носы.

Миссис Кросс почувствовала сильный удар сердца. Оно искалеченной птицей било крыльями у нее в груди. Она прижала к нему сложенные руки, чтобы унять трепет.

— Знаешь, я, кажется, тебе еще не рассказывала, не помню, чтобы упоминала, — произнесла миссис Кидд, не сводя глаз с лица миссис Кросс. — Я тебе не рассказывала, что случилось, когда я слишком резко встала с постели в своей квартире и ударилась об пол лицом. Я потеряла сознание. К счастью, соседка этажом ниже оказалась в тот момент дома; она услышала грохот и побежала за этим, как его… мужчиной с ключами, комендантом. Они вскрыли дверь, обнаружили меня, вызвали «скорую» и отвезли в больницу. Я ничего не помню. Забылось и то, что происходило в следующие три недели. Я была в сознании, а жаль. Совершенно осознанно несла всякую чушь. Знаешь, какое мое первое воспоминание? Визит

психиатра! Ко мне вызвали психиатра, чтобы проверить мою вменяемость. Но меня не предупредили, что это психиатр. Он как бы являлся частью курса лечения, которая с больными не обсуждается. Психиатр был одет во что-то вроде камуфляжной куртки. Совсем молодой. Вот я и подумала, что это посторонний забрел с улицы. «Как зовут премьер-министра?» — был вопрос. Тут я решила, что это *он* псих, и ответила: «Не все ли вам равно?» — и повернулась к нему спиной, будто собираясь спать; вот с этого момента я помню все… «Не все ли вам равно!»

На самом деле миссис Кросс уже слышала эту историю от подруги, но с тех пор много воды утекло, и сейчас она смеялась не только из вежливости; ее охватило чувство облегчения. Для ее души, потрясенной унижением, уверенный голос миссис Кросс оказался целительным бальзамом на душу.

Общий хохот внезапно прервался серьезным вопросом миссис Кидд:

— Ты в порядке?

Миссис Кросс отняла руки от груди, выждала время.

— Вероятно. Да. Пойду-ка я все же прилягу.

На этом фоне стали понятны и следующие сло-

ва миссис Кидд:

— У тебя слабое сердце, тебе нельзя так волноваться.

На это миссис Кросс ответила:

— Я не смогу измениться, хотя в твоих словах явно что-то есть.

— Ты же без каталки, — заметила миссис Кидд.

Ее подруга сидела на стуле. Сюда она пришла черепашьим шагом, помогая Джеку направлять кресло.

— Я пешком, — ответила миссис Кросс. — Если буду идти медленно, я дойду.

— Нет. Поезжай. Садись в мое кресло, я тебя довезу.

— Нет, тебе нельзя.

— Можно. Должна же я дать выход энергии, а иначе сойду с ума из-за того, что у нас сорвалась партия в скрэббл.

Миссис Кросс встала и опустилась в инвалидное кресло миссис Кидд. При этом она испытала такую слабость в ногах, что поняла: миссис Кидд была права. Она не прошла бы и трех метров.

— Ну, с Богом, — произнесла миссис Кидд, выдвигаясь из комнаты в коридор.

— Не перенапрягайся. Не пытайся двигаться слишком быстро.

— Хорошо.

Они преодолели коридор, повернули налево и успешно добрались до невысокого уступа. Миссис Кросс услышала, как тяжело дышит миссис Кидд.

— Мне кажется, остальной путь я смогу пройти сама.

— Нет, я не позволю.

Переехав уступ, они сделали еще один поворот налево. Впереди показалась палата миссис Кросс. До нее осталось три двери.

— Вот что я сейчас сделаю, — сказала миссис Кидд, делая выразительные паузы, чтобы скрыть одышку. — Подтолкну тебя. Так что ты сможешь докатиться прямо до своей двери.

— Тебе это по силам? — усомнилась миссис Кросс.

— Конечно. Поспишь, отлежишься, успокоишься, а потом вызовешь медсестру и попросишь ее отвезти кресло ко мне в палату.

— А я ни на что не напорюсь от твоего толчка?

— Нет, вот увидишь.

С этими словами миссис Кидд очень осторожным и точно рассчитанным движением подтолкнула кресло. Оно плавно покатилось вперед и остановилось как раз в обещанном месте,

напротив двери в палату миссис Кросс. Женщина преодолела этот последний участок пути, собрав все силы, подняв руки и ноги. Теперь она их опустила. С удовлетворением и облегчением она проскользнула в палату.

Как только миссис Кросс исчезла из виду, миссис Кидд осела на пол, прислонилась к стене, вытянула ноги на прохладном линолеуме. И стала молиться, чтобы ее не застукал ни один сплетник, пока она не восстановит силы и не двинется в обратный путь.

Драматические истории

Джули пришла в полосатом бело-розовом платье спортивного покроя и в ажурной соломенной шляпке цвета беж, с нежной розой, выглядывающей из-под полей. Мне первым делом бросилась в глаза эта шляпка. Вначале я даже не поняла, что передо мной Джули. В последние два-три года у меня не раз возникало чувство неловкости при встречах с подругами. Они выглядят старше, чем я могла бы ожидать. К Джули это не относится, но в ее внешности меня привлек неожиданный штрих. Та самая шляпка. Завидев рослую женщину с мальчишеской фигурой, я подумала, что шляпка придает ей элегантный и вместе с тем несуразный вид. Узнав в этой женщине Джули, я поспешила ей навстречу, и мы заняли столик на открытом воздухе, под уличным тентом, где сейчас обедаем.

В последний раз мы виделись на майской конференции, более двух месяцев назад. Сейчас меня на один день занесло в Торонто. А Джули здесь живет постоянно.

Сидя за столиком, она вводит меня в курс по-

следних событий. Выглядит Джули прелестно: шляпка смягчает и затеняет ее угловатые черты, глаза светятся живым блеском.

— Прямо хоть рассказ пиши, — говорит Джули. — Нет, в самом деле, рассказ с ироничной концовкой — раньше такие пользовались большим успехом. Честно сказать, поначалу я решила, что приглашена лишь для того, чтобы служить буфером. Ну, может, не буфером, это слишком вульгарно сказано, но мне подумалось, что у тебя возникли кое-какие подозрения и ты решила остеречься, вот я и пригодилась. Неплохой вышел бы рассказ, правда? И почему только эта стилистика вышла из моды?

— Очевидно, в ней усмотрели излишнюю предсказуемость, — сказала я. — Или же люди стали думать: в жизни так не бывает. Или: кому интересно знать, как такие штуки происходят?

— Это все не про меня! Ничего себе предсказуемость! — возмущается Джули.

На нас уже обращают внимание. Столики стоят почти вплотную.

Скорчив гримасу, Джули натягивает шляпку на уши и сминает розу о висок.

— Что-то я раскудахталась, — говорит она. — Взбалмошная стала. По-моему, это замечательно.

Дурацкая шляпка, да? Нет, серьезно, помнишь, когда мы ехали за городом, ты рассказывала, как была в гостях с этим мужчиной в какой-то богатой семье? У богатой женщины? Жуткой особы? Помнишь, ты еще тогда сказала, что есть две разновидности любви, и если кто одну из них упустил, то нипочем себе в этом не признается? Так вот, я тогда подумала: неужели я упустила обе? Даже не научившись их различать?

У меня на языке вертится: «Лесли» — так зовут мужа Джули.

— Не вздумай попрекать меня Лесли, — говорит Джули. — Ты сама знаешь: это не считается. Ну, что ж теперь делать? Не считается — и все. Так вот, я тогда подумала: можно, конечно, обратить это в шутку, но до чего же охота хоть крошки попробовать!

— Дуглас — это куда больше, чем крошки, — говорю я.

— Что правда, то правда.

Когда закончилась майская конференция и у дверей летнего отеля уже стояли автобусы, готовые доставить участников в Торонто или в аэропорт, я зашла в номер к Джули и застала ее за упаковкой рюкзака.

— Я тут договорилась насчет машины до Торон-

то, — сказала я. — Вдруг ты не захочешь трястись в автобусе. Помнишь Дугласа, с которым я тебя вчера познакомила? Дуглас Райдер.

— Я не возражаю, — сказала Джули. — Меня уже слегка тошнит от этой публики. С ним нужно будет поддерживать разговор?

— Чисто символически. Он сам будет поддерживать разговор.

С моей помощью она взгромоздила на спину рюкзак. Видимо, у нее нет компактного чемоданчика. В дорогу она надела туристские ботинки и джинсовую куртку. В этом не было никакой рисовки. Она и в самом деле способна отмахать пешком до Торонто. Каждое лето они с мужем и с кем-нибудь из детей проходят тропой Брюса[50]. Вот дополнительные штрихи к ее портрету. Джули сама делает дома йогурт, сама печет цельнозерновой хлеб и смешивает мюсли. Кто-то может решить, что я задергалась, когда пришло время знакомить ее с Дугласом, который всегда придумывает эпатажные подначки для таких безупречных личностей. Я сама слышала, как он втолковывал людям, что йогурт вызывает рак, что курение благотворно влияет на сердце,

[50] Примечания: 50

Тропа Брюса — туристический маршрут, проходящий через южные и центральные районы провинции Онтарио.

а от китов один вред. Эти заявления он делает с легкостью и апломбом, приукрашивая их возмутительной мишурой ложной статистики и вымышленных подробностей. Жертвы его провокаций впадают в ярость, замешательство или глубокую обиду — иногда разом. Даже не помню, подумала я или нет, как на него отреагирует Джули, но если подумала, то, наверное, решила, что ей такие комариные укусы нипочем. Джули не так проста. Она умело пускает в ход свои военные хитрости, свои силы и даже сомнения. Не каждый пробьется через такую линию обороны.

Мы с ней дружим с незапамятных времен. В Торонто она работает в детской библиотеке. Джули помогла мне получить мою нынешнюю работу (точнее, поделилась информацией). У нас в долине Оттавы было вакантное место водителя передвижной книжной лавки. С мужем я давно в разводе; вполне естественно, что Джули захотела именно со мной обсудить одну проблему, которую, по ее словам, можно доверить не каждому. Даже не проблему, а вопрос. И вопрос этот заключается в следующем: не попробовать ли ей пожить отдельно? Джули так характеризует своего мужа Лесли: бесчувственный, поверхностный, упрямый, скупой на эмоции, верный,

честный, благородный, уязвимый. По ее словам, она никогда не испытывала к нему влечения. По ее словам, она боится, что тоска по мужу окажется невыносимой — ну, или одиночество окажется невыносимым. По ее словам, она ничуть не заблуждается насчет своей привлекательности для других мужчин. Но порой сознает, что ее чувственность, ее жизнь (и что-то там еще) проходит впустую.

Я слушаю, а сама думаю, что это смахивает на типичные женские сетования; более того, в замужестве у меня были почти такие же претензии. Насколько это продумано, насколько глубоко прочувствовано? До каких пределов можно считать, что эти задумки способствуют семейному равновесию и удерживают брак на плаву? Я ее спрашивала: случалось ли ей когда-нибудь полюбить — полюбить другого? Она говорит: да, как-то раз познакомилась с парнем на пляже, но это было пустое, развеялось как дым. А уже в зрелом возрасте ей признался в любви один мужчина, но это тоже оказалось пустое, ничего у них не вышло. Я объясняю, что одинокая жизнь, безусловно, имеет свои темные стороны, советую еще раз взвесить все «за» и «против». Наверное, я смелее Джули, потому что пошла на риск. Причем

не единожды.

Мы с Джули и Дугласом Райдером обедали в ресторане, занимающем старое, побеленное деревянное строение на берегу небольшого озерца. Озерцо входит в целую систему озер; у берега даже сохранился причал, где швартовались озерные суда, пока в этих местах не проложили шоссе; пароходы доставляли сюда отдыхающих, а также продовольствие. По обеим сторонам деревянного строения к воде спускались деревья. Преимущественно березы и тополя. На деревьях едва проклюнулись листочки, хотя уже стоял май. Ветви окутала зеленоватая дымка, словно это был цвет воздуха. Под деревьями обильно цвели подснежники. День был облачный, но солнце отчаянно пыталось пробиться сквозь тучи. Озерная вода сверкала холодным блеском.

Мы расположились на длинной застекленной веранде, где стояли старые разномастные, ярко раскрашенные кухонные стулья. Кроме нас, в ресторане никого не было. К обеду мы слегка припозднились. Пришлось довольствоваться жареной курицей.

— Настоящая воскресная трапеза, — заметила я. — Воскресная трапеза после возвращения из церкви.

— Чудное местечко, — сказала Джули. А потом спросила, знал ли раньше Дуглас о его существовании.

Дуглас ответил, что поневоле выучил все адреса: он проводит массу времени в разъездах по всей провинции. Его задача — сохранять, выкупать все местные архивные материалы, включая старые дневники, письма, реестры, которые без его вмешательства были бы просто уничтожены или вывезены за пределы провинции, а то и страны. Он полагается на разнообразные зацепки и наводки, а найдя подлинное сокровище, не всегда может сразу его заполучить. То и дело приходится уламывать нелюдимых, подозрительных или алчных владельцев, а то и обводить вокруг пальца частных перекупщиков.

— Прямо пират, — обернулась я к Джули.

Он как раз завел разговор о частных перекупщиках — своих конкурентах. Порой они, раздобыв ценные материалы, нагло пытались втридорога продать их Дугласу. Или же планировали, как сплавить их за рубеж — тому, кто больше даст. Дуглас поклялся всеми силами этому препятствовать.

Дуглас высок ростом, и за счет этого многие считают его подтянутым, не замечая свисающего на

ремень брюшка: оно, наверное, воспринимается окружающими как недавнее, ненужное и, скорее всего, временное приобретение. Седые волосы коротко подстрижены, — вероятно, это внушает доверие престарелым косным владельцам дневников. На мой взгляд, это мужчина-мальчик. Не хочу сказать, что у него открытое лицо, юношеский румянец и застенчивый нрав. Я сейчас о другом: такой тип молодцеватой беспощадной лихости можно увидеть на фотографиях солдат Второй мировой войны. Дуглас был одним из них: он сохранился, но не перезрел. О, скромная удовлетворенность их лиц, хранящая столько тайн! Такие парни отдаются любви мгновенно, безоглядно, незримо, ошеломительно — и точно так же исцеляются. Я наблюдала за Дугласом, когда он рассказывал Джули о букинистах, специализирующихся на старинных книгах и газетах: вопреки расхожему мнению, эти люди не замшелые, мрачные типы, не мистические старые сороки, а дерзкие авантюристы с чутьем картежников и плутов. Точно так же обстоит дело и в любой другой сфере, где пахнет деньгами, интригами, ложью, хитростью и шантажом.

— Любая профессия, связанная с книгами, создает у людей определенные стереотипы, — сказала

на это Джули. — Взять хотя бы библиотекарей. Вспомните, сколько раз вам доводилось слышать: «Такая-то — не типичная библиотекарша». Разве у вас не возникает желания сказать нечто подобное о себе?

Потягивая вино, Джули оживилась. Думаю, этому способствовало еще и то, что на конференции она была в центре внимания. Легкая на услугу, она обладает прекрасными организаторскими способностями. Ей ничего не стоит выступить на пленарном заседании, не мучаясь ни сухостью во рту, ни дрожью в коленках. Она поднаторела в процедурных вопросах. Сама признается, что любит заседания, рабочие группы, информационные бюллетени. В свое время состояла и в родительских комитетах, и в Новой демократической партии Канады, и в унитарной церкви, и в ассоциациях арендаторов, и в книжных клубах; ее жизнь неразрывно связана с различными организациями. Возможно, это своего рода наркомания, говорит она, но если на каком-нибудь съезде оглянуться вокруг, то непременно заметишь, что съезды приносят пользу. Их участники начинают понимать, что все не так уж безнадежно.

Вспомните нынешнюю конференцию, призы-

вает Джули: ну, кто, кто из участников оказался типичным библиотекарем? Где вы их видели? Она еще добавила: на самом деле складывается впечатление, что кто-то уже энергично взялся разрушать эти стереотипы.

— Но здесь требуется целенаправленная кампания по разрушению стереотипов, а ее пока нет, — сказала Джули. — Профессию библиотекаря зачастую выбирают от безысходности.

Это не значит, продолжила она, что все представители данной профессии забиты и скучны. Вовсе нет. Среди них встречаются чрезвычайно своеобразные, яркие индивидуальности.

— Старые чудики, — вставил Дуглас.

— Но эти стереотипы пустили очень глубокие корни, — гнула свою линию Джули. — Например, сегодня утром директор конференц-центра приходил к председателю оргкомитета и спрашивал, нужны ли ей списки лиц, которые не ночевали в своих номерах. Представляете, кое-кто считает, что нас интересуют подобные сведения!

— А разве нет? — спросила я.

— Не на официальном же уровне. Откуда только берется эта информация?

— Тайное наблюдение, — сказал Дуглас. — ДБОМ не дремлет. Добровольные Блюстители

Общественной Морали. Я тоже вступил в их ряды. Мы вроде ответственных за противопожарную безопасность.

Джули не отреагировала. Вместо этого она мрачно сказала:

— Речь разве что о молодежи.

— Завидуют сексуальной революции, — покачал головой Дуглас. — Вообще-то, мне казалось, что с ней покончено. Покончено? — Он перевел взгляд на меня.

— Как я понимаю, да, — ответила я.

— Ну, знаете, это нечестно, — сказала Джули. — Для меня она и не начиналась. Нет, в самом деле. Я жалею, что не родилась в более раннем поколении. То есть в более позднем. И не скрываю этого.

Порой она настраивает себя на какую-то гнетущую откровенность. Сейчас в ее манере прорезалась капризная кокетливость, совсем детская, но без игривости. В тот миг даже показавшаяся уместной. Я забеспокоилась. Мы приканчивали вторую бутылку вина, и Джули выпила больше всех.

— Ладно, — продолжила Джули. — Я знаю, это смехотворно. Мне дважды подворачивался удобный случай, и обе истории закончились комично.

Вернее, очень странно. Значит, не судьба. Да. Не предначертано свыше.

— Ой, Джули, — не выдержала я.

— Ты еще не знаешь подробностей, — сказала она.

С моей точки зрения, она явно перебрала, и мне оставалось только свести ее признания к легкой болтовне, а потому я сказала:

— Ну почему же, знаю. Ты познакомилась со студентом-психологом, когда выбрасывала в море торт.

К моей радости, Дуглас посмеялся.

— Правда? — оживился он. — Ты всегда выбрасываешь торты в море? Или этот совсем протух?

— Он был изумительный, — ответила Джули нарочитым, притворно-шутливым тоном. — Вкуснейший, изысканный. Гато «Сент-Оноре». Страшное дело. Взбитые сливки, заварной крем и крем-карамель. Нет. Я выбросила его в море по совершенно другой причине — я тебе уже рассказывала, — повернулась она ко мне. — Дело в том, что у меня в то время возникла тайная проблема. Проблема, связанная с едой. Я тогда только-только вышла замуж; мы поселились в Ванкувере, неподалеку от Китсилано-Бич. Я обжиралась сверх всякой меры, а потом устраивала

себе промывание желудка. Пекла заварные булочки с кремом и могла съесть целый противень, или же делала пирожные «картошка» — и тоже съедала за один присест, а потом глотала либо размешанную в воде горчицу, чтобы вызвать рвоту, либо гигантские дозы английской соли, чтобы опорожнить желудок. Кошмар. Все время чувствовала себя виноватой. А удержаться не могла. Наверное, это было как-то связано с сексом. Сейчас доказано, что такая связь есть, правда? Так вот, испекла я — будто бы для Лесли — тот злополучный торт, но, когда вынула из духовки, поняла, что ни с кем делиться не собираюсь и неминуемо съем его в одиночку, пошла и выбросила свое творение в мусорное ведро, но умом понимала, с меня станется его вытащить. Вот жуть! В конце концов переложила я это месиво в плотный бумажный пакет, отправилась на скалистый берег и швырнула торт в море. Но… меня застукал некий юноша. Он так на меня посмотрел, что я прочла все его мысли. Что первое приходит в голову, когда видишь, как девушка швыряет бумажный пакет в море? Пришлось объяснить, что в пакете был торт. Я сказала, что дала маху с рецептом и хотела скрыть свой позор. Мы разговорились, и через пятнадцать минут я

помимо своей воли открыла ему правду. Оказалось, что парень учился на психологическом в Университете Британской Колумбии, но бросил учебу по причине засилья бихевиористов. А я ни сном ни духом… ни сном ни духом: кто такие бихевиористы?

Джули успокоилась; ее лицо приняло мечтательное выражение.

— Так вот. Он стал моим бойфрендом. Месяца на полтора. Заставлял меня читать Юнга. У этого парнишки были жесткие курчавые волосы мышастого цвета. Мы с ним прятались за скалами и целовались до одури. А дело было в феврале или в марте, холодина. Он мог встречаться со мной только раз в неделю, причем в один и тот же день. В таких условиях далеко не уедешь. И чем все кончилось… дело кончилось тем, что я узнала: этот парень прибегал на свидания из психушки. Раз в неделю его выпускали проветриться. Не помню, я сначала это узнала, а потом заметила, что у него шея исполосована шрамами, или наоборот. Я уже говорила, что он носил бороду? Бороды в то время были большой редкостью. Лесли от них просто передергивало. А сейчас сам отрастил бороду. Он пытался перерезать себе горло. Да не Лесли!

— Ой, Джули, — повторила я, хотя слышала эту

историю не раз.

Разговоры о самоубийстве — это все равно что рана в животе, из которой кишки лезут; хочется срочно запихнуть их назад и быстро заткнуть рану марлевыми тампонами.

— Он не был буйным. Наоборот, шел на поправку. Я уверена, его вылечили. Просто он был чрезвычайно впечатлительным и дошел до критической точки. Но я страшно перепугалась. Почувствовала, что и сама близка к помешательству. Обжорство, рвота и все такое. В какой-то момент он признался, что ему всего семнадцать лет. Значит, он меня обманывал. Это стало последней каплей. Угораздило же меня связаться с мальчишкой на три года моложе! Позорище. Я наговорила ему с три короба, что, мол, очень хорошо его понимаю, что возраст ни на что не влияет, что на следующей неделе встречаемся, как обычно, а сама помчалась домой и заявила Лесли, что не в силах больше ютиться в полуподвальной норе и требую срочного переезда. Пустила слезу. А через неделю нашла нам квартирку на Саут-Шор. С тех пор ноги моей не было на Китс-Бич. Потом, когда мы с детьми стали ездить на пляж, я всегда выбирала Спэниш-Бэнкс или Эмблсайд. Не знаю, что с ним сталось.

— Наверное, живет себе припеваючи, — сказала я. — Наверное, стал великим юнгианцем.

— Или великим бихевиористом, — вставил Дуглас. — Или спортивным комментатором. А по тебе и не скажешь, что ты увлекаешься заварными булочками.

— Я себя переборола. Если не ошибаюсь, во время беременности. Странная штука — жизнь.

Дуглас торжественно разлил остатки вина.

— Ты сказала, что удобный случай подворачивался тебе дважды, — обратился он к Джули. — Неужели оставишь нас в неведении?

Отлично, подумала я, он не заскучал, не отвлекся, она ему понравилась. Пока она рассказывала свою историю, я за ним наблюдала, а сама думала. Ну почему, когда знакомишь мужчину с подругой, каждый раз начинаешь дергаться: не заскучает ли он, не начнет ли блуждать мыслями?

— Вторая история — вообще невероятная, — сказала Джули. — По крайней мере, мне самой многое в ней неясно. О таких глупостях лучше помалкивать, но, поскольку я сейчас пошла вразнос, могу и поделиться. Так вот. Я сама до сих пор в растерянности. В полном недоумении. Эта история, как и первая, произошла в Ванку-

вере, но много позже. Я начала посещать группу психологической поддержки. По сути, это была коллективная психотерапия для простых, занятых, несчастливых, запутавшихся людей. В то время такие штуки набирали популярность, тем более на западном побережье. Только и разговоров было о том, что пора сбросить маски, стать друг другу ближе… можно сколько угодно смеяться, но я считаю, что это принесло больше пользы, чем вреда. А группы такие были еще в новинку. Вы, наверное, думаете, что я оправдываюсь. Это все равно что сказать: пятнадцать лет назад я занималась макраме, когда еще оно не вошло в моду.

— Я даже не знаю, что такое макраме, — сказал Дуглас.

— Сильное заявление, — сказала я.

— Руководителем нескольких групп был молодой человек по имени Стэнли, из Калифорнии. Впрочем, не знаю, считал ли он сам себя руководителем. Этакий тихоня. Однако денежки получал. Мы сами ему платили. Он окончил психологический факультет. У него были чудесные темные локоны и, конечно, борода, но к тому времени бороды уже не считались чем-то из ряда вот выходящим. Он просто встревал в

разговоры, неуклюже, без затей. Например, мог сказать: «Может, вам покажется, что это бред, но все же рискну спросить…» Он строил занятия так, чтобы каждый участник группы чувствовал себя умней его. Стэнли отличала необыкновенная искренность. Он говорил: «Ты даже… не догадываешься… насколько ты *обаятелен*». Нет. У меня получается как-то фальшиво. У него выходило более тонко. Короче, вскоре после начала занятий получила я от него письмо. От этого Стэнли. Вначале он расхваливал мои умственные, физические и духовные качества, а под конец признался в любви. Я повела себя по-взрослому. Написала ответ, указала, что он меня совершенно не знает. Он пишет: о, не сомневайся, знаю. На другой день позвонил по телефону, извинился за назойливость. Сказал, что ничего не может с собой поделать. Пригласил посидеть за чашечкой кофе. Все совершенно невинно. Ну, выпили мы с ним пару раз по чашке кофе. Я занимала его оживленной беседой, а он время от времени вклинивался, чтобы сказать, какие у меня изумительные брови. Говорил, что пытается представить, какие у меня соски. Брови у меня самые заурядные. Я перестала ходить с ним пить кофе — так он начал шпионить за моим домом

из своего старого рыдвана. Честное слово. Иду я в супермаркет за покупками — а он тут как тут: заглядывает ко мне в тележку и скорбно изучает молочные продукты. Порой от него приходило по три письма в день: сплошные восхваления моих достоинств, и как я для него много значу, и признания собственной робости, и нежелание строить из себя гуру, и как я ему подхожу, потому что я такая сдержанная и мудрая. Ересь полная. А я понимала, что все это курам на смех, но в каком-то смысле пристрастилась к его письмам. Уже знала, в котором часу приходит почтальон. Решила, что еще вполне могу отрастить волосы… А примерно через полгода мне позвонила женщина из нашей группы. И сказала, что разразился страшный скандал. Девушка из другой группы призналась мужу, что спит со Стэнли. Муж пришел в бешенство, его групповой секс никак не устраивал, история получила огласку — и тут женщины одна за другой стали делать точно такие же признания: все они сожительствовали со Стэнли, и никому даже не пришло в голову их стыдить — они как бы пали жертвами черной магии. Оказалось, действовал он весьма методично: выбирал по одной женщине из каждой группы, но из нашей группы у него уже была любовница,

так что меня он, по-видимому, просто держал на крючке. Выбирал он всегда только замужних — чтобы не докучали. Их у него было девять. Честное слово. Девять любовниц.

— Трудяга, — сказал Дуглас.

— Все мужчины отреагировали так же, — сказала Джули. — Они только посмеивались. За исключением обманутых мужей. В доме у одной из женщин устроили официальное собрание, пригласили всех, кто занимался в его группах. У нее была прелестная кухня с круглой колодой для рубки мяса посредине; помню, я еще подумала: интересно, они делают это на колоде? Люди собрались приличные, никто не возмущался супружеской неверностью, так что нам лишь оставалось записать в протокол, что такое злоупотребление доверием подопечных недопустимо. На самом деле некоторые женщины, как я поняла, возмущались как раз тем, что их обошли. Ну, я возьми да и скажи это вслух — ради шутки. Я никому не рассказывала, как он подбивал ко мне клинья. Если в таком же положении оказались другие, они тоже помалкивали. Избранные счастливицы плакали. Потом стали друг дружку утешать и делиться впечатлениями. Ну и спектакль, если вдуматься! А я недоумевала. Что-то

здесь не сходилось. Вспоминала жену Стэнли. Нервозную красотку с восхитительными ногами от шеи. До этого я пару раз с ней сталкивалась и каждый раз про себя говорила: «Знала бы ты, что говорит мне твой муженек». И другие женщины при встрече с ней думали: «Знала бы ты…» — и далее по тексту. Возможно, она про них знала, про всех нас, возможно, она себе говорила: «Знали бы вы, сколько у него таких». Можно же такое предположить, правда? Как-то раз я ему сказала: «Послушай, это просто фарс», а он: «Не смей так говорить, не смей мне такое говорить!» Чуть не рыдал. Ну, что вы на это скажете? Вот такая энергетика. Я имею в виду даже не физическую составляющую. В каком-то смысле она была наименее существенна.

— Но мужья-то его наказали? — спросил Дуглас.

— К нему направилась делегация. А он и не отпирался. Сказал, что действовал бескорыстно, из лучших побуждений, а им просто застилают глаза ревность и собственнические инстинкты. Но из города ему все же пришлось уехать. Его группы распались, он с женой и малыми детьми сел в свой рыдван и смылся. Но от него стали приходить счета. Все участники коллективной

терапии получили счета. Его любовницы — наравне со всеми. И я, конечно, тоже. Писем больше не было, только этот счет. Я заплатила. По моим сведениям, заплатили почти все. У него, что ни говори, жена, дети… Вот, собственно, и все. Ко мне тянет ненормальных. Оно и к лучшему, поскольку я замужем и чиста душой, невзирая на то, что я вам тут наболтала. Давайте закажем кофе.

Мы ехали проселочными дорогами, по песчаной скудной местности, к югу от озера Симко, где на дюнах колышутся травы. Нам не попалось ни одного встречного автомобиля. У придорожной карты мы остановились, чтобы сориентироваться, а потом Дуглас свернул в какую-то деревню, где он в свое время едва не заполучил ценный дневник. Показал нам тот самый дом. Одна из престарелых обитательниц в конце концов этот дневник сожгла (если не соврала) и объяснила это тем, что в нем содержались скандальные пассажи.

— Они страшатся огласки, — сказал Дуглас. — Вплоть до третьего или четвертого колена.

— А я совсем не такая, — сказала Джули. — Перед всеми готова обнажить свои нелепые полуроманы.

— «Пускай прорехи на заду, — пропел Дуглас, —

а ноги словно лед…»[51]

— Мне тоже есть что обнажить, — сказала я, — только вряд ли это кого-нибудь заинтересует.

— Может, попробуем? — предложил Дуглас.

— Вообще говоря, это действительно интересно, — сказала я. — Когда мы сидели в ресторане, я вспоминала, как ездила в гости с человеком, в которого была влюблена. Еще до твоего переезда в Торонто, Джули. Мы собрались к его друзьям, которые жили в горах на реке Оттава, со стороны Квебека. Такого дома, как у них, я в жизни не видела. Он весь состоял из стеклянных кубов, соединенных пандусами и террасами. Хозяев дома звали Кит и Кэролайн. Это была супружеская пара, с детьми, но, когда мы приехали, детей там не оказалось. Человек, с которым я приехала, был не женат, причем уже давно. По дороге я спросила его, что за люди Кит и Кэролайн, и он сказал: «Богатые». Я ему говорю: это, мол не вполне исчерпывающее описание. Тогда он объяснил, что

---

[51] Примечания: 51

«Пускай прорехи на заду… а ноги словно лед…» — строки из народной песни на стихи английского поэта Уильяма Стивенсона (1530–1575):

Пускай прорехи на заду,
А ноги словно лед,
Я добрый эль всегда найду,
Чтоб обогреть живот.

деньги достались Кэролайн от ее папы, который владел пивоваренным заводом. И даже уточнил, каким именно. Мой спутник совершенно особым образом произносил «достались от папы» — у меня даже сложилось впечатление, что деньги эти, в его представлении, были сродни длинным ресницам или хорошей фигуре. Большое наследство делает женщину неотразимой. Оно не идет ни в какое сравнение с деньгами, заработанными своим горбом, — те представляют собой не более чем презренный металл. Но потом я услышала, что хозяйка дома — страшно дерганая, настоящая стерва, а бедняга Кит — честный, бесхитростный малый, занимающий какой-то правительственный пост. Мой друг сказал — ПЗМ. Но я не поняла, что это значит.

— Помощник заместителя министра, — подсказала Джули.

— Это каждый дурак знает, — сказал Дуглас.

— Вот спасибо, — обиделась Джули.

Я сидела в середине. Во время своего рассказа я обращалась в основном к Джули.

— Мой друг сказал, что их круг общения составляют в основном люди небогатые, в чем-то эксцентричные, не занимающие высоких постов, независимые, творческие натуры, а то и голод-

ные художники, которых Кэролайн буквально держит когтями, чтобы терзать, демонстрировать знакомым и осыпать благами.

— Похоже, твой друг был не слишком расположен к хозяевам дома, — заметила Джули.

— Не думаю, что он мыслил такими категориями. Расположен, не расположен. Я представляла их физически устрашающими, особенно ее, но оказалось, это вполне милые люди. Кит всячески проявлял заботу и гостеприимство. У него были маленькие веснушчатые руки. А почему мне врезались в память его руки: он нам все время что-то протягивал — то коктейли, то закуски, то подушки под спину. Кэролайн была призрачным созданием. Длинные безжизненные волосы, высокий бледный лоб, серое ситцевое платье с капюшоном. Ни намека на макияж. Рядом с ней я чувствовала себя неуклюжей и вульгарной. Она стояла потупившись, спрятав руки в рукава платья, а мужчины обсуждали дом, построенный совсем недавно. Потом она своим призрачным голосом сообщила, что больше всего ей нравится здесь зимой, когда на улице снег, а в комнатах — белые ковры и белая мебель. Кит, судя по всему, ее стеснялся и повторял, что дом не оставляет впечатления глубины и смахивает

на корт для сквоша. Я ей посочувствовала: мне казалось, она должна вот-вот как-нибудь опозориться. У нее был такой вид, будто она молит тебя о поддержке, но поддакивать ей было бы каким-то лицемерием. Вот такая женщина. Она распространяла вокруг себя жуткую напряженность. Каждая тема обрастала преувеличенной эмоциональностью и фальшью. Мой друг обращался с ней весьма бесцеремонно, и я подумала, что это нехорошо. Я сказала себе: если даже она притворяется, это показывает, что она стремится испытывать какие-то чувства, и порядочный человек должен ей помочь, правда? Другое дело, что она сама не понимала, как ей можно помочь. Мы сидели на террасе и пили коктейли. И тут появился друг дома по имени Мартин. Ему было слегка за двадцать. Может, чуть больше. Держался он довольно заносчиво. Кэролайн робко попросила его сходить за пледами — на террасе холодало, а когда он вышел, сообщила нам, что он — драматург. Причем не просто драматург, а блистательный, просто блистательный, но у него слишком европеизированная стилистика, скупая и строгая. Слишком скупая и строгая. А потом и говорит: посмотрите, в каком состоянии сейчас театр, в каком состоянии литература — это же

позор нации. Триумф посредственностей. Мне подумалось: наверное, она не в курсе, что я тоже причастна к этому позору. Я тогда работала заместителем главного редактора небольшого журнала — может быть, вы слышали: «Тысяча островов» — и уже опубликовала пару стихотворений. И что вы думаете: она тут же спрашивает, не могу ли я через свой журнал свести Мартина с нужными людьми. То есть вначале смешала с грязью, а потом стала просить об услуге, все тем же страдальческим нежным голоском. Тут и я начала склоняться к мысли, что она порядочная стерва. Вернулся Мартин, принес пледы, и она разыграла сильнейший озноб, просто балетную сцену, а потом стала рассыпаться в таких благодарностях, что едва не прослезилась. Он молча набросил на нее плед, и по этому движению я поняла, что они — любовники. Мой друг говорил, что Кэролайн время от времени заводит себе любовников. Если честно, он назвал ее сексуальной маньячкой. Я полюбопытствовала, дошла ли очередь до него, и он ответил: а как же, давным-давно. Меня так и подмывало спросить, не мешала ли им в постели его неприязнь к этой дамочке, но я понимала, что это глупый вопрос. А потом Мартин предложил мне пройтись. Мы

спустились к реке по длинной-длинной лестнице, сели на скамейку — и он начал исходить желчью. Сыпал всякими гадостями в адрес театральных деятелей Монреаля, которых якобы знал лично. Говорил, что Кэролайн раньше страдала ожирением, а когда сбросила вес, ей пришлось делать подтяжку за подтяжкой, потому что кожа на животе обвисла. От него пахло затхлостью — он курил такие маленькие сигары. Мне опять стало жаль Кэролайн. Подумать только, с чем тебе приходится мириться, думала я, ради твоих же собственных фантазий. Ты должна быть готова к такому финалу, выбирая себе в любовники литературного гения. Если ты притворщица, на тебя найдется притворщик покруче. Так я рассуждала сама с собой. Ну вот. Сели мы ужинать. Вино лилось рекой, потом подали бренди, Кит все так же суетился, но всем было неловко. Мартин по-прежнему откровенно источал яд, пытаясь растоптать каждого собеседника, а Кэролайн, тоже исходившая ядом, изображала утонченную духовность: она подхватывала любую тему и так ее переиначивала, что непременно выставляла кого-нибудь непроходимым идиотом. Под конец Мартин с моим другом сцепились в каком-то гнусном споре, совершенно гнусном и недостой-

ном, а Кэролайн знай ворковала и стонала. Мой друг встал из-за стола и объявил, что идет спать, Мартин надулся, как сыч, а Кэролайн вдруг принялась ластиться к мужу, пить с ним бренди, а на Мартина — ноль внимания. Я поднялась к себе в комнату. Мой друг был уже там и лежал в постели, хотя нам отвели разные спальни — Кэролайн, несмотря ни на что, соблюдала внешние приличия. Он остался со мной на всю ночь. Его душила ярость. До, во время и после нашей близости он поносил Мартина: что за мерзкий слизняк, а я поддакивала. Но он — их крест, заметила я. Да ради бога, сказал он, если им нравится этот дерьмовый фигляр. Потом мой друг провалился в сон, а следом заснула и я, но среди ночи проснулась: на меня снизошло озарение. Так бывает. Легла я поудобнее, прислушалась к дыханию друга и сказала себе: а ведь он влюблен в Кэролайн. Мне все стало ясно. Все стало ясно. Я начала гнать от себя эту мысль — даже не столько потому, что она меня коробила, сколько потому, что мне стало неловко за свою догадку. Но коль скоро тебе в голову пришла такая штука, остановиться уже невозможно. Для меня все стало на свои места. Взять хотя бы Мартина. Его приезд был подстроен с особым умыслом. Она решила стравить двух

любовников, прежнего и нынешнего, чтобы самой взбодриться. Низменный прием, но это не значило, что он не сработает. В ней и в самой сквозило нечто низменное. Вся эта поэтичность, чувствительность была лишь низменной маской. Теперь у меня язык не поворачивался назвать Кэролайн талантливой притворщицей, но это уже не играло роли. Важно было другое: ей не терпелось добиться своего. Посеять смуту. Чтобы стать роковой женщиной, не требуется ни особой соблазнительности, ни чувственности, ни убийственной красоты; достаточно одного желания посеять смуту. И я подумала: а чему, собственно, удивляться? Разве мы мало знаем таких историй? Разве нам не твердят со всех сторон, что любовь не подчиняется рассудку, не отвечает нашим интересам, не объясняется разумными предпочтениями?

— И где же, интересно, тебе об этом твердят? — спросил Дуглас.

— Это общая истина. Существует разумная любовь, которая основывается на разумном выборе. Если нашел такую любовь, значит пора вступать в брак. А есть любовь другого рода — не зависящая от разума, сходная с одержимостью. И такая любовь — именно такая любовь — ценится пре-

выше всего. Никто не хочет, чтобы такая любовь обошла его стороной.

— Это общая истина, — сказал Дуглас.

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. И знаешь, что я права. Все шаблонные истины правдивы.

— Шаблонные, — повторил он. — Нечасто приходится слышать такое слово.

— Какая грустная история, — огорчилась Джули.

— Твоя тоже, — сказала я.

— Моя скорее смехотворная. А ты, кстати, не спросила: он действительно был в нее влюблен?

— Что толку спрашивать, — ответила я. — Он привез меня лишь для того, чтобы утереть ей нос. Похвалиться, что сделал разумный выбор. Нашел приятную женщину. Этого я вынести не смогла. Такое унижение. Меня захлестнула обида и подавленность. Я сказала ему, что он на самом-то деле меня не любит. Этого было достаточно. Он не терпел, когда за него говорили другие.

Мы сделали остановку возле сельского кладбища рядом с трассой.

— Надо успокоить душу после всех этих драматических историй и в преддверии воскресного потока транспорта, — сказал Дуглас.

Мы прошлись среди могил, читая вслух имена и даты на самых старых надгробьях. Я увидела стихотворение и тоже прочла его вслух.

Недуг сломил ее не вдруг,
И лекарь не помог.
Ей дал покой Своей рукой
Лишь Всемогущий Бог.

— «Лекарь», — повторила я. — Какое трогательное слово.

И тут меня будто накрыло тенью очищения. Я услышала дурацкий звук своего голоса среди истины погребенных здесь судеб. Судеб спрессованных, как кипы гниющей материи, как покровы темной листвы. Эти древние страдания и лишения. Сколь же нелепо, беззастенчиво, предосудительно выглядели мы на их фоне — трое немолодых людей, все еще озабоченных вопросами любви — или секса.

Кладбищенская церковь стояла незапертой. Джули отметила, что это знак доверия: даже англиканские церкви, которым положено держать двери открытыми круглые сутки, теперь запирались на ночь во избежание вандализма. Она удивилась, что местная епархия на этом не настаивает.

— Откуда ты слова такие знаешь — «епархия»? — удивился Дуглас.

— Мой отец был приходским священником. Разве по мне не видно?

В церкви было холоднее, чем снаружи. Джули прошла вперед, изучая почетный список и мемориальные доски на стенах. Я остановилась за скамьями и стала разглядывать приступки, куда можно опуститься на колени для молитвы. На каждой лежал вышитый коврик со своим особым изображением. Дуглас не стал обнимать меня за плечи, но положил руку мне на лопатку. Надумай Джули обернуться, она бы ничего не заметила. Его ладонь скользнула вниз и, слегка надавив мне на ребра, остановилась на талии, но Дуглас тут же зашагал дальше по боковому проходу, вознамерившись объяснить что-то Джули. Она пыталась разобрать латинское изречение на витраже.

На одной приступке лежал коврик с крестом святого Георгия, на другой — с крестом святого Андрея.

Я не ждала никаких заявлений ни во время своего рассказа, ни после. Не думала, что он подтвердит или опровергнет мое мнение. Сейчас я слышала, как он переводит, а Джули смеется, но

не могла сосредоточиться. Мне казалось, будто меня опередили, загнали в тупик какими-то относящимися ко мне истинами или по меньшей мере фактами, против которых я бессильна. Нажатие ладони, не сулящее никакого продолжения, могло бы меня вразумить и успокоить. Недосказанное могло бы стать вечным. Я могла бы только гадать (оставаясь при этом в неведении), что для него важно, а что нет.

На синем фоне соседнего коврика была вышита голубка, несущая оливковую ветвь; на следующем коврике — светильник с прямыми линиями золотошвейных лучей; дальше — белая лилия. Нет… подснежник. Сделав такое открытие, я позвала Джули и Дугласа, чтобы они тоже полюбовались. Моему сердцу был мил этот домашний символ, соседствующий с более древними и сложными. С этой минуты я как-то воспряла духом. По сути, это произошло с каждым из нас троих — мы утолили жажду из тайного источника надежды. Когда Дуглас остановился у бензоколонки, мы с Джули пришли в восторг от толстой пачки его кредиток и заявили, что не желаем возвращаться в Торонто. Помечтали, как сбежим в Новую Шотландию и будем проматывать его капиталы. А исчерпав кредитный лимит,

заляжем на дно, сменим имена и найдем себе какую-нибудь непритязательную работенку. Мы с Джули устроимся барменшами. Дуглас научится расставлять ловушки на омаров. И будем себе жить счастливо.

Гости

Милдред зашла в кухню посмотреть на часы: еще только без пяти два. Она-то надеялась, что хотя бы полтретьего. У нее за спиной, войдя через черный ход, из чулана появился Уилфред, который спросил:

— Тебе ж вроде как положено с ними сидеть, за компанию, а?

Во дворе, расположившись под навесом для автомобиля, ее невестка Грейс (жена мужниного брата, Альберта) с сестрой Верой вязали кружевные скатерти. Сам Альберт устроился за домом, возле огородика, где Уилфред выращивал бобы, помидоры и огурцы. Каждые полчаса Уилфред ходил проверять, не готовы ли помидоры. Он снимал их бурыми, чтобы не напала какая-нибудь зараза, и раскладывал дозревать на кухонном подоконнике.

— Уж насиделась. — Милдред набрала стакан воды, выпила залпом, а потом добавила: — Покататься их отвезти, что ли.

— Дело хорошее.

— Как там Альберт?

Накануне, после приезда, Альберт весь день лежал пластом.

— Да кто его разберет.

— Ну, было б ему плохо — признался бы.

— Альберт, — возразил Уилфред, — нипочем бы не признался.

С братом они не виделись три с лишним десятка лет.

Уилфред и Милдред оба на пенсии. Домишко у них габаритами скромен, чего не скажешь о них самих, но в тесноте, да не в обиде. Кухня чуть шире коридора, ванная, считай, как у всех, две спальни, в каждой двуспальная кровать да трюмо, а что еще надо? В гостиной перед большим телевизором диван метра на полтора, все путем, стол журнальный, что твой гроб. Терраска застекленная имеется.

Милдред по случаю приезда родни вынесла на террасу обеденный стол. Сами-то они с Уилфредом ели за кухонным столиком, у окна. Когда один по хозяйству хлопочет, другой уже с места не встает. Пятерым туда не втиснуться, хоть гости и тощие, кожа да кости.

По счастью, на террасе кушетка есть — ее Вера заняла, седьмая вода на киселе. Не ждали ее Милдред с Уилфредом. Уилфред все переговоры

по телефону вел (дескать, у него в семье отродясь писем не писали); он ни словом не обмолвился ни о какой третьей родственнице — ждали только Альберта с женой. Милдред решила, что Уилфред недослышал — уж больно разволновался. Да и то сказать: сам он — в Онтарио, в Логане, а брат — в Саскачеване, в Элдере; как услышал, что брат в гости хочет заехать, — прямо рассыпался в приглашениях, заверениях да восторгах.

— Хоть сейчас приезжайте, — в трубку так орал, будто наделся до Саскачевана докричаться, — устроим вас в наилучшем виде, живите, сколько душе угодно. Места полно. Нам только в радость. Да чего там обратные билеты! Приезжайте, лето скоротаете. — Видно, пока он распинался, Альберт как раз ему и объяснял, что с ними приедет свояченица.

— Как ты их различаешь? — спросил брата Уилфред, впервые увидав Грейс и Веру. — Или до сих пор затрудняешься? — Это он пошутить хотел.

— Они же не двойняшки, — ответил Альберт, не глядя ни на одну из сестер.

Невысокий, сухонький, одетый в темное, Альберт держался так, словно у него солидный вес, как у бруска плотного дерева. Он носил галстук-шнурок и шляпу «монтана», но они не добавляли

ему лихости. Бледные щеки свисали брылями.

— Но сразу видно: сестры, — приветливо заметила Милдред двум усохшим, пятнистым, седым старушонкам. И при этом подумала: вот что прерии с женской кожей делают.

Милдред своей кожей гордилась: хоть какая-то ей компенсация за ожирение. Она и за волосами следила, подкрашивала пепельно-золотистым оттеночным шампунем. Носить старалась светлые брючки и блузы в тон. А Грейс и Вера приехали в платьях с драпировкой на впалых грудинах и даже по такой жаре в кофты кутались.

— Эти двое не так на братьев похожи, — добавила Милдред, — как вы — на сестер.

И верно. Уилфреда отличали большая голова и большой живот, а еще озабоченное, деловое, переменчивое выражение лица. Он производил впечатление человека, ценящего юмор и живую беседу, что соответствовало истине.

— Подфартило нам, что вы все худосочные, — заявил Уилфред. — На одну кровать поместитесь. Альберт, естественно, посередке.

— Он вам тут наговорит, — сказала Милдред. — Если вы не против на террасе спать, — обратилась она к Вере, — там кушетка удобная, на окнах шторы плотные, свежий ветерок обдувает.

Бог их знает, этих сестриц: может, они и не поняли намека Уилфреда.

— Замечательно, — ответил за свояченицу Альберт.

Поскольку Альберт и Грейс заняли комнату для гостей, в которой обычно спала Милдред, ей пришлось лечь на двуспальную кровать вместе с Уилфредом. Они от этого отвыкли. Ночью Уилфреду приснился кошмарный сон — с ним такое случалось постоянно, из-за чего Милдред, собственно, и перебралась в другую спальню.

— Держись! — истошно голосил Уилфред.

Не иначе как он плыл на пароходе по озеру и заметил утопающего.

— Уилфред, проснись! Не ори, ты гостей до смерти перепугаешь.

— Я не сплю, — возразил Уилфред. — И никогда не ору.

— Ну, значит, я королева Елизавета Вторая.

Оба лежали на спине. Страдая одышкой, каждый отворачивал голову в сторону. Каждый ненавязчиво, но решительно придерживал на себе верхнюю простынь.

— Это киты — или кто? — не могут перевернуться, когда их выбрасывает на берег? — спросила Милдред.

— Я еще вполне способен перевернуться, — заметил Уилфред; они соприкоснулись бедрами. — Ты небось думаешь, что я только на это и способен.

— Тише ты, и так весь дом перебудил.

Наутро она спросила:

— Уилфред, наверное, вам спать не давал? Вечно кричит во сне.

— Я все равно глаз не сомкнул, — ответил Альберт.

Выйдя во двор, Милдред усадила родственниц в машину.

— Прокатимся с ветерком, освежимся, — приговаривала она.

Гостьи сели сзади: на переднее сиденье, рядом с ней, даже эти доходяги не смогли бы втиснуться, хоть вместе, хоть порознь.

— Личный шофер к вашим услугам! — весело объявила Милдред. — Куда прикажете, любезные дамы?

— На ваше усмотрение, — был ответ.

Не видя перед собой сестер, Милдред не различала их по голосу.

Она решила свозить их к Уинтер-Корт и на Челси-драйв — полюбоваться новыми домами, ландшафтным дизайном и бассейнами. Затем

поехали в Общество охотников и рыболовов, где посмотрели декоративных птиц, семейство косуль, пару енотов и рысь в клетке. Милдред так выдохлась, будто съездила в Торонто, да еще проголодалась, а потому тормознула у придорожной кафешки, где продавали мороженое. Сестрицы заказали по маленькому рожку ванильного. Милдред взяла себе двойной микс: сливочное пралине и ромовое с изюмом. Сидя за уличным столиком, они лизали мороженое и смотрели на пшеничное поле.

— В наших краях собирают большие урожаи пшеницы, — сообщила Милдред; Альберт до выхода на пенсию подвизался директором зернохранилища, вот она и решила, что им будет небезразлично узнать про урожаи зерновых. — А у вас на западе сеют много пшеницы?

Они призадумались. В конце концов Грейс выдала:

— Ну. Прилично.

А Вера сказала:

— Вот, кстати, интересно.

— Что интересно? — приободрилась Милдред.

— У вас в Логане нет ли, случайно, пятидесятнической церкви?

Они вновь загрузились в машину, и Милдред,

изрядно поплутав, отыскала пятидесятническую церковь. Это была отнюдь не самая живописная церковь в городе. Неприглядное здание, сложенное из бетонных плит, с крашенными суриком дверями и наличниками. На табличке значилось имя проповедника и расписание богослужений. На территории не было ни одного тенистого деревца, ни кустарников, ни цветов, только пересохшая земля. Вероятно, это напоминало сестрицам Саскачеван.

— «Пятидесятническая Церковь Божья», — прочла Милдред. — Это ваша церковь?

— Да.

— Мы с Уилфредом в церкви редко бываем. Но если бы почаще захаживали, я бы, наверное, выбрала Объединенную. Может, хотите выйти — вдруг там открыто?

— Да нет.

— А если закрыто, можем попробовать священника найти. Я с ним лично не знакома — у меня в Логане вообще знакомых немного. Знаю тех, кто в боулинг играть приходит и кто в юкер не прочь перекинуться в «Легионе». А так у меня знакомых мало. Хотите к нему наведаться?

Они не захотели. Милдред стала вспоминать, что ей известно про пятидесятническую церковь,

и сообразила, что вроде бы именно там прихожане говорят «на языках». Чтобы вечер не пропал совсем уж впустую, она решила хотя бы узнать для себя что-нибудь новое и спросила: правда ли это?

— Да, это правда.

— А что это за «языки» такие?

Молчание. Потом одна выдавила:

— Это глас Божий.

— Надо же, — сказала Милдред.

Ей хотелось выяснить: а сами-то они говорят «на языках»? Но сестрицы ее нервировали. Кстати, она их, по всей видимости, тоже. Дав им возможность поглазеть еще несколько минут, она спросила, насладились ли они видом. Гостьи ответили, что вполне, и поблагодарили.

Повстречайся она с Уилфредом в молодости, рассуждала Милдред, ей было бы понятней, что представляют собой его родственники и чего от них ожидать. Но повстречались они в зрелые годы и поженились через полтора месяца знакомства. Для обоих это был первый брак. Уилфред постоянно жил в разъездах, — во всяком случае, так он говорил. Работал и на озерных пароходах, и на лесоповале, и на стройке, и на добыче газа, и на обрезке садовых деревьев — мотался от

Калифорнии до Юкона, от западного побережья до восточного. А Милдред, считай, всю жизнь провела в городке Макгоу, что в двадцати милях от Логана, где теперь поселилась с мужем. У родителей она была единственной дочкой: ее водили в школу танцев, где она училась бить чечетку, а потом определили в школу бизнеса. После завершения учебы Милдред пришла работать в дирекцию обувной фабрики «Толл» в своем родном городке Макгоу и вскоре стала любовницей хозяина, мистера Толла. На том она и успокоилась.

А когда мистер Толл доживал свои последние дни, Милдред познакомилась с Уилфредом. Мистера Толла поместили в психиатрическую лечебницу, выходившую окнами на озеро Гурон. Уилфред работал там смотрителем и охранником. Мистер Толл, дотянув до восьмидесяти двух лет, уже не понимал, кто такая Милдред, но она все равно его навещала. Он называл ее Сэйди — так звали его жену. В ту пору она уже покоилась в могиле, но, когда мистер Толл и Милдред устраивали себе небольшие вылазки на природу, вместе останавливались в гостиницах, а то и в домике, который мистер Толл приобрел для Милдред в Эмберли-Бич, миссис Толл была

вполне себе живехонька. За всю историю своих отношений с мистером Толлом Милдред ни разу не слышала, чтобы он отзывался о жене иначе как с неприязненной сухостью. Теперь же ей пришлось выслушивать, как он признается Сэйди в любви, как молит ее о прощении. Не отрицая, что она и есть Сэйди, Милдред заверяла, что все ему прощает. И страшилась только одного: как бы он не начал каяться, что имел связь с распутной бабенкой по имени Милдред. Несмотря ни на что, она регулярно приходила с ним посидеть. Не находила в себе сил отступиться. В этом всегда была ее беда. Но когда в лечебницу приезжали племянники и племянницы Сэйди, Милдред всякий раз спешно ретировалась. Однажды ее все же застукали, и она бросилась к охраннику, чтобы тот вывел ее через черный ход. Присев на бетонный парапет у задней двери, Милдред закурила, и Уилфред спросил у нее, что стряслось. В расстроенных чувствах, не имея возможности поделиться хоть с кем-нибудь в Макгоу, Милдред описала ему ситуацию, не утаив даже подробностей письма от какой-то адвокатской конторы с требованием освободить жилое строение в Эмберли. Она всегда считала, что домик записан на ее имя, но ничуть не бывало.

Уилфред принял ее сторону. Взявшись шпионить за визитерами-родственниками, он докладывал, что они просто сидят и смотрят, как воронье, на бедного старикана. Уилфред не стал указывать ей на очевидное: что она давным-давно должна была бы сообразить, к чему идет дело. Она и сама так говорила.

— Надо было мне поставить точку, пока еще оставались какие-то шансы.

— Ты, видать, его любила, — резонно заметил Уилфред.

— Любви никогда не было, — с грустью призналась Милдред.

От смущения Уилфред даже потемнел лицом. У Милдред хватило ума не продолжать, да и потом, как объяснишь, что мистер Толл, когда был в силе, околдовал ее своей страстью: влечение его было столь неистовым, что она опасалась, как бы он не лопнул.

Мистер Толл умер среди ночи. В семь утра ей позвонил Уилфред.

— Извини, что разбудил, — сказал он. — Просто я хотел, чтобы ты узнала об этом до официального объявления.

Потом он пригласил ее в ресторан поужинать. Усвоив уроки мистера Толла, она с удивлением

отметила, как неуклюже Уилфред ведет себя за столом. Не иначе как нервничает, решила она. Да еще устроил выволочку официантке, когда та замешкалась и не сразу принесла воду. Милдред сообщила ему, что хочет взять расчет и уехать из Макгоу — скорее всего, куда-нибудь на запад.

— А Логан чем тебе плох? — спросил Уилфред. — У меня там дом. Не хоромы, конечно, но для двоих в самый раз.

Теперь до нее дошло. Его нервозность, его вспышка гнева, его неряшливость в еде — все это, как видно, объяснялось ее присутствием. Она полюбопытствовала, был ли он когда-нибудь женат, и если нет, то по какой причине.

Он объяснил, что вечно был в разъездах, а добрую женщину так и не повстречал. Во избежание недомолвок Милдред уже собиралась объяснить, что ничего не ждет от завещания мистера Толла (она ничего и не получила), но вовремя смекнула, что этим оскорбит Уилфреда. Вместо этого она сказала:

— Ты отдаешь себе отчет, что я — подержанный товар?

— А вот этого не надо, — отрезал он. — У нас в доме таких разговоров не будет. Договорились?

Милдред сказала «да». И с радостью отметила

мгновенную перемену в его отношении к официантке. Он даже слегка перестарался: принес девушке извинения за свою резкость и сообщил, что сам когда-то подрабатывал в ресторане. Стал объяснять, где именно: у шоссе на Аляску. Официантка не знала, как от него отделаться: посетители за другими столиками ждали кофе.

Застольные манеры Уилфреда не претерпели столь же разительной перемены. Узрев в этом следствие холостяцкой жизни, Милдред сказала себе, что с таким недостатком надо будет просто смириться.

— Расскажи хотя бы, откуда ты родом и всякое такое, — попросила она.

Он сообщил, что появился на свет в округе Халлетт, на ферме, но через три дня после своего рождения уже снялся с места.

— В дорогу потянуло, — засмеялся он.

Посерьезнев, Уилфред объяснил, что его мать умерла родами и он оказался в семье тетки. Муж ее был железнодорожником. Они переезжали из города в город, но, когда ему было двенадцать лет, тетка умерла. Тогда ее муж смерил взглядом Уилфреда и сказал: «Большой вымахал. Какой у тебя размер башмаков?» — «Девятый», — ответил Уилфред. «Значит, можешь сам себя прокормить».

— У них с моей теткой было своих восемь ртов, — добавил Уилфред. — Я на него зла не держу.

— А родные братья и сестры у тебя были?

Милдред с теплотой вспомнила свою прежнюю жизнь: как мама по утрам расчесывала ей кудряшки, как у нее был котенок Пэнси, который давал одевать себя в кукольные наряды и катать вокруг дома в игрушечной коляске.

— Были у меня две старшие сестры, замужние. Обеих уже нет в живых. И один брат. Этот уехал в Саскачеван. На элеваторе заправляет. Сколько зарабатывает — не знаю, но явно не нуждается. Бизнес-колледж окончил, как и ты. Но мы с ним не похожи, совершенно разные люди.

В тот день, когда Альберт лежал пластом, он попросил задернуть шторы. Врача вызывать запретил. Уилфред не мог дознаться, что же с ним неладно. Альберт твердил, что просто устал.

— Вполне возможно, — сказала Милдред. — Пусть отдыхает.

Но Уилфред весь день сновал в комнату к Альберту и обратно. Что-то рассказывал, курил, допытывался о его самочувствии. Поведал брату, как излечился от мигрени, употребляя в пищу молодой лук-порей прямо с грядки. Альберт сказал,

что мигренями не страдает, хотя и просит задергивать шторы. И вообще не припоминает, чтобы у него когда-нибудь болела голова. Уилфред ему растолковал, что бывает такая мигрень, о которой человек не ведает ни сном ни духом, потому как она не связана с головной болью; видно, у Альберта аккурат такая мигрень. Альберт сказал, что не понимает, как такое возможно.

Во второй половине дня Милдред услышала, как Уилфред с грохотом роется в стенном шкафу. Потом он стал выкрикивать ее имя:

— Милдред! Милдред! Где техасский фугас?

— В буфете, — ответила Милдред и сама достала то, что требовалось, чтобы Уилфред не переколотил фарфор ее матери.

Это была высокая бутыль с золотым тиснением на этикетке и гербом «Легиона». Уилфред оттащил бутыль в спальню и поставил на туалетный столик, чтобы Альберт мог полюбоваться.

— Вот угадай: что это такое и как мне досталось?

Галлон виски бочковой крепости — приз, врученный Уилфреду в Оуэн-Саунде за победу на турнире по игре в дартс. Турнир проходил три года назад, в феврале месяце. Уилфред описывал ей ту кошмарную поездку из Логана в Оуэн-Саунд:

он сидел за рулем, а другие игроки его команды в каждом городе требовали остановки и прекращения пути. На озере Гурон разыгралась метель, их накрыла белая мгла; встречные грузовики и автобусы в последний момент выныривали из стены снега, а разъехаться не было никакой возможности, потому как сугробы достигали трехметровой высоты. Невзирая на гололед и снежные заносы, не видя дороги, Уилфред продвигался вперед. В конце концов на трассе номер шесть спасительным маяком замаячил синий огонек, крутящийся синий огонек. Впереди ехал снегоуборочный комбайн; следуя вплотную за ним, они благополучно добрались до Оуэн-Саунда. Успели к началу турнира и одержали победу.

— Ты сам-то играешь в дартс? — услышала Милдред вопрос Уилфреда, обращенный к брату.

— Как правило, в дартс играют там, где употребляют алкоголь, — ответил Альберт. — Как правило, я воздерживаюсь от посещения таких мест.

— Ну знаешь, вот у меня алкоголь, но употреблять его я не собираюсь. Храню как почетный приз.

Их посиделки приобрели упорядоченный характер. В послеполуденные часы Грейс и Вера,

устроившись на подъездной дорожке, приступали к вязанию крючком. Милдред временами садилась рядом. Альберт и Уилфред облюбовали место за домом, поближе к овощам. Но после ужина все собирались вместе и расставляли кресла на лужайке, возле клумбы, в тенечке. Грейс и Вера до темноты продолжали вязать ажурные скатерти.

Уилфред нахваливал их рукоделие.

— И сколько можно выручить за одну такую штуку?

— Сотни долларов, — отвечал Альберт.

— Они продаются в пользу церкви, — уточнила Грейс.

— Бланш Блэк, — вспомнил Уилфред, — была лучшей вязальщицей, портнихой, кулинаркой и вообще мастерицей на все руки; другой такой девушки я не встречал.

— Имечко удивительное, — заметила Милдред.

— Жила она в штате Мичиган. Мне тогда опостылела работа на озерных пароходах, и я нашел место на ферме. Она могла сшить лоскутное одеяло буквально из ничего. Пекла и хлеб, и торты, и все, что душе угодно. Вот только лицом не не вышла. Скажу честно, репа и то красивей будет. А фигурой — так чисто репа была.

Дальше последовала история, которую Милдред знала наизусть. Уилфред заводил ее всякий раз, когда дело касалось хорошеньких девушек или домовитых девушек, или выпечки, или благотворительной распродажи, или гордости. Однажды, рассказывал Уилфред, пошли они с дружками на благотворительный вечер: там в перерыве между танцами полагалось выкупить коробку, в которой находилась всякая провизия, а съесть ее нужно было вместе с девушкой, чью коробку ты выкупил. Бланш Блэк принесла свою коробку и то же самое сделала местная красавица, некая мисс Бьюкенен. И вот Уилфред с дружками прокрались в чулан, где до поры до времени лежали обе коробочки, и поменяли на них обертку. Настало время выкупа, и один парень, звали его Джек Флек — очень много о себе понимал, да еще неровно дышал к мисс Бьюкенен, — взял да и выкупил коробку с ее оберткой, а Уилфред с другом выкупили коробку, которую, по общему убеждению, принесла Бланш Блэк. Но когда упаковку сняли и увидели на них имена, Джек Флек вынужден был, к своему нескрываемому огорчению, сесть за столик с Бланш Блэк, а Уилфред с другом заполучили себе в компанию мисс Бьюкенен. Приоткрыл Уилфред коробку, а там два куска

хлеба, намазанных чем-то розовым, — и все.

— Подхожу я, значит, к Джеку Флеку и говорю: «Давай меняться — и девушками, и провизией». Провизия-то не так важна была, но я знал, как он будет бедную девушку третировать. Он, недолго думая, согласился, и мы расселись за столики. У нас — жареная кура. Домашний окорок, печенье. Торт с финиками. Ничего вкусней не едал. А внизу, под этой снедью, еще и бутылочка виски обнаружилась. Сижу, значит, я, выпиваю, закусываю и смотрю, как он будет хлеб жевать.

Наверное, Уилфред завел эту историю в знак уважения к тем хозяйкам, чье рукоделие или кулинарное мастерство возвышает их над прочими, способными похвалиться разве что смазливым личиком, но Милдред сомневалась, что Грейс и Вера будут счастливы встать в один ряд с Бланш Блэк, похожей на репу. Да и упоминать о бутылочке виски явно не стоило. Даже для нее самой это упоминание прозвучало не к месту. Она стала думать, до чего же славно было бы сейчас пропустить по стаканчику. Хоть «Олд-фешнд», хоть

«Бурую корову», хоть «Розовую даму»[52] — мало ли есть прекрасных коктейлей.

— Пойду кондиционер проверю, — сказал Уилфред. — Если его не наладить, мы ночью поджаримся.

Милдред осталась сидеть. У одного из соседних домов замигала-зажужжала голубая лампочка — ловушка для летающих насекомых.

— Сдается мне, это полезная штука, — заметила Милдред, — мух уничтожает.

— Поджаривает, — сказал Альберт.

— Только очень жужжит.

Она не ждала ответа, но Альберт, помолчав, сказал:

— Если не будет жужжать — не сможет истреблять насекомых.

Когда Милдред вошла в дом, чтобы приготовить кофе (ладно хоть кофе у пятидесятников не запрещен), ее встретил ровный гул кондиционера. Она заглянула в комнату и увидела, что Уилфред крепко спит. В полном изнеможении.

---

[52] Примечания: 52

Хоть «Олд-фешнд», хоть «Бурую корову», хоть «Розовую даму»... — «Олд-фешнд» (букв. «старомодный») — коктейль из виски или бурбона, горькой настойки, сахара и содовой, подается с ломтиком апельсина, вишней и льдом; «Бурая корова» — коктейль из ликера «Калуа» и молока со льдом; «Розовая дама» — коктейль из джина, лимонного сока, гранатового сиропа и яичного белка со льдом.

— Уилфред?

Он вскочил:

— Я не сплю.

— Они все еще на улице сидят. Хочу кофе на всех сварить. — И, не удержавшись, добавила: — Как хорошо, что кондиционер удалось починить.

За два дня до расставания с родней было решено съездить за сорок миль от дома, в округ Халлетт, чтобы посетить то место, где появились на свет Уилфред и Альберт. Такая идея пришла в голову Милдред. Она думала, это предложит Альберт, и ждала, когда же он сподобится, потому что не хотела навязывать ему никаких утомительных занятий. Но в конце концов она заговорила об этом сама. Сказала, что давно предлагала Уилфреду туда съездить, но он отговаривался тем, что не найдет дорогу: как-никак его увезли из тех мест в младенчестве. Старые здания все снесены, фермы тоже; значительную часть территории округа занимает природный заповедник.

Грейс и Вера захватили в дорогу свое вязанье. Милдред опасалась, как бы их не укачало: сидят, опустив головы, в движущемся автомобиле. Она втиснулась на заднее сиденье, в середину, и не могла отделаться от ощущения, что ее сдавили с обеих сторон, хотя умом понимала, что это она

сама сдавила двух сестриц. Уилфред сидел за рулем, Альберт рядом.

Управляя автомобилем, Уилфред всегда норовил завязать спор.

— Нет, почему нельзя делать ставки? — спрашивал он. — Я сейчас не беру азартные игры. Я не говорю, что нужно бросаться в Лас-Вегас, чтобы просадить там все деньги. Но если заключить пари на определенную сумму, то можно и выиграть. Вот я однажды выиграл пари — и на халяву прожил целую зиму в Су.

— Су-Сент-Мари, — поправил Альберт.

— У нас всегда говорили просто Су. Я списался на берег с «Камлупса» и не знал, как зиму продержусь. Жуткое корыто было, этот «Камлупс». Как-то вечером слушали в баре трансляцию хоккейного матча «Садбери» — «Су». По радио. Телевидения тогда еще не было. Счет четыре-ноль в пользу Садбери.

— Нам где-то здесь сворачивать с трассы, — сказал Альберт.

Милдред забеспокоилась:

— Не проскочить бы поворот, Уилфред.

— Я слежу.

Альберт сказал:

— Нет, это еще не наш поворот. Наш следую-

щий.

— А я в этом баре подхалтуривал за чаевые, потому как профсоюзного билета у меня не было; и какой-то брюзга стал хаять «Су». Я ему и говорю: мы, мол, еще можем себя показать, «Су» еще им накостыляет.

— Вот сюда, — сказал Альберт.

Уилфред рывком вывернул руль.

— «Поспорим? Делай ставку!» Это он мне. Десять к одному. У меня-то в кармане вошь на аркане, а тут хозяин заведения — хороший мужик, давал мне возможность подхалтурить — и говорит: соглашайся, Уилфред! Не дрейфь, говорит, соглашайся!

— «Природный заповедник „Халлетт“», — прочла Милдред, завидев указатель; дорога шла вдоль мрачного болота. — Господи, до чего же унылая местность! Да еще стоячая вода — в такое время года.

— Халлеттское болото, — сообщил Альберт. — Простирается на много миль.

Когда они миновали болото, по обеим сторонам дороги потянулись пустоши, выжженные, черные, прорезанные канавами и заваленные буреломом. Машина подпрыгивала на кочках.

— Я, говорит, за тебя поставлю. Ну, я и решил-

ся.

У перекрестка Милдред прочла на дорожном щите:

— «Проезд закрыт. В зимний период дорога не обслуживается».

Альберт сказал:

— Теперь бы нам где-нибудь свернуть к югу.

— К югу? — переспросил Уилфред. — К югу. Что ж, говорю, я не против. И угадайте: что было дальше? «Су» вырвала победу — разгромила «Садбери» со счетом семь-четыре!

Впереди показался большой пруд с вышкой и указатель: «Пункт наблюдения за водоплавающими птицами».

— Водоплавающие птицы, — заинтересовалась Милдред. — Интересно какие?

Но Уилфред был не расположен останавливаться.

— Тебе что ворона, что ястреб, Милдред! «Су» разгромила «Садбери» — и я выиграл спор. Но стоило мне отвлечься, как этот жулик смылся, однако управляющий знал, где он обретается, и на другой день я получил сотню долларов. Когда меня опять позвали на «Камлупс», у меня на кармане было ровно столько денег — тютелька в тютельку, — как перед Рождеством, когда я

списался на берег. Вот так я и прожил всю зиму в Су на халяву.

— Похоже, это здесь, — сказал Альберт.

— Где? — не понял Уилфред.

— Вот тут.

— Тут? Я целую зиму на халяву прожил — и все благодаря правильно сделанной ставке.

Свернув с дороги, они уперлись в стоящий на ухабистом пятачке столб с прибитыми деревянными стрелками. «Тропа Медоносная». «Тропа Кленовая». «Тропа Кедровая». «Проезд транспортных средств запрещен». Уилфред остановил машину, и они с Альбертом вышли. Грейс тоже вышла, но лишь для того, чтобы выпустить Милдред, и тут же юркнула обратно. Все стрелки указывали в одном направлении. Милдред подумала, что это, наверное, мальчишки безобразничают. Ни одной тропы она не заметила. Выбравшись из болотистой низины, они очутились среди кривобоких взгорков.

— Здесь и была ваша ферма? — спросила она Альберта.

— Дом стоял вот там. — Альберт указал на крутой склон. — Туда вела дорога. За домом был сарай.

К столбу, пониже стрелок, был приколочен

бурый деревянный ящик. Откинув крышку, Милдред вытащила пачку красочных буклетов и начала их просматривать.

— Тут описаны разные тропы.

— Если выходить не хотят, так, может, хоть почитают. — Уилфред мотнул головой в сторону автомобиля, где сидели сестры. — Сходи, что ли, предложи.

— Да они заняты, — сказала Милдред.

А сама подумала, что надо бы сказать Грейс и Вере — пусть откроют окна, а то, не ровен час, задохнутся, но в конце концов решила: чай не дети, сами сообразят. Альберт устремился вверх по склону, и Милдред с Уилфредом поплелись за ним, продираясь сквозь золотарник, по которому, впрочем, ступать было легче, чем по высокой траве. И за ноги не цепляется, и на ощупь шелковистый. Золотарник был ей знаком, дикая морковь тоже, а вот что это за низкий кустарник с белыми цветочками, что это за синий венчик с шершавыми лепестками, что за перистые лиловые кисти? Есть множество весенних цветов, чьи названия всегда на слуху: лютик, подснежник, куриная слепота, но сейчас, в конце лета, здесь обнаружились диковинные виды, с неизвестными названиями. Под ногами прыгали мелкие

лягушки, в воздухе порхали крошечные белые мотыльки, а сотни невидимых мошек кусали и жалили ее голые руки.

Альберт заметался туда-сюда. Развернулся, замер, огляделся и снова продолжил подъем. Он искал фундамент дома. Уилфред хмуро вгляделся в траву и сказал:

— От них дождешься, пожалуй.

— От кого? — в изнеможении спросила Милдред, обмахиваясь золотарником.

— Да от экологов. Они тебе ни кирпичика не оставят, ни балки, ни ямы от погреба. Все вывернут, уволокут, закопают.

— Ну, не могут же они оставить здесь груды обломков, чтобы туристы ноги переломали.

— А ты уверен, что это здесь? — спросил Уилфред.

— Примерно на этом месте, — ответил Альберт. — Где-то тут передняя дверь была, с южной стороны.

— Вероятно, ты сейчас стоишь на пороге, Альберт, — сказала Милдред, из последних сил изображая интерес.

Но Альберт ответил:

— У передней двери порога не было. При мне ее и открывали-то всего раз, чтобы мамин гроб

вынести. Мы тогда поленья подложили — вроде как временный порожек получился.

— Гляди-ка, сирень. — Милдред заметила куст прямо под боком у Альберта. — У вас росла сирень? Значит, место правильное.

— По-моему, росла.

— Лиловая или белая?

— Не берусь утверждать.

В этом разница между ним и Уилфредом, подумала она. Уилфред всегда берется утверждать. Помнит, не помнит — а все равно утверждает и после сам начинает верить. Братья и сестры всегда были для нее загадкой. Взять хотя бы Грейс и Веру: эти даже говорят так, словно у них языки из одной головы растут, а Уилфред и Альберт вообще ничем не похожи.

Обедали они в придорожном кафе. Лицензии на продажу алкоголя там не было, а иначе Милдред непременно заказала бы пиво, рискуя повергнуть Грейс и Веру в шок и навлечь на себя осуждение Уилфреда. Она вся перепотела. Лицо Альберта сделалось пунцовым, а взгляд стал колючим и сосредоточенным. Уилфред искал, к чему бы придраться.

— Болото в прежние времена было куда больше, — сказал Альберт. — Его частично осушили.

— Ну правильно, чтобы люди могли там погулять, посмотреть, — сказала Милдред. Она все еще сжимала в руке красные, желтые и зеленые буклеты, которые сейчас разгладила и принялась изучать. — «В зарослях разносятся клекот, певучий зов, уханье, крики, — читала она вслух. — Умеете ли вы их различать? В большинстве своем эти звуки издаются птицами». А кем же еще? — удивилась она.

— В Халлеттское болото однажды забрел человек и там остался, — сказал Альберт.

Уилфред сделал мешанину из мясной подливки с кетчупом и стал прямо руками макать туда брусочки картофеля-фри.

— Надолго? — спросил он.

— Навсегда.

— Ты это не будешь? — Уилфред ткнул пальцем в картофель на тарелке Милдред.

— Навсегда? — переспросила Милдред, разделяя картофель на две горки и отправляя одну в тарелку Уилфреда. — Ты был с ним знаком, Альберт?

— Нет. Это давняя история.

— А имя его знаешь?

— Ллойд Сэллоуз.

— Как-как? — переспросил Уилфред.

— Ллойд Сэллоуз, — повторил Альберт. — Работником был у нас на ферме.

— Никогда не слышал, — сказал Уилфред.

— Как это понимать: забрел в болото? — недоумевала Милдред.

— Его одежду нашли на железнодорожных путях и объявили, что он забрел в болото.

— А с чего это он разделся, когда его в болото потянуло?

Поразмыслив, Альберт предположил:

— Вероятно, захотел вернуться к природе, пожить дикарем.

— Он и башмаки снял?

— Да вроде нет.

— Возможно, он покончил с собой, — оживилась Милдред. — Тело потом искали?

— Еще как искали.

— А может, это убийство. У него враги были? Неурядицы какие-нибудь? Долги? По женской части неприятности?

— Нет, — отрезал Альберт.

— Выходит, никаких следов его не нашли?

— Нет.

— А подозрительных личностей у вас в доме тогда не было?

— Нет.

— Как же так, должно быть какое-то объяснение, — упорствовала Милдред. — Если человек не умер, значит он где-то живет.

Альберт подцепил вилкой котлету, перенес ее из гамбургера на тарелку и стал нарезать мелкими кусочками. До сих пор он так и не приступил к еде.

— Поговаривали, что он живет на болоте.

— Значит, нужно было прочесать болото, — сказал Уилфред.

— Люди отправились с противоположных сторон, договорившись встретиться на середине, но из этой затеи ничего не вышло.

— Почему же? — спросила Милдред.

— Не так-то просто пройти через топь. В ту пору это было непросто.

— И потому они решили, что он живет на болоте? — не унималась Милдред. — Все как один?

— Многие, — нехотя ответил Альберт.

Уилфред фыркнул.

— Чем же он питался?

Опустив нож и вилку, Альберт мрачно изрек:

— Живой плотью.

Милдред, страдавшая от жары, вдруг почувствовала, как ее руки покрываются гусиной кожей.

— Его кто-нибудь видел? — спросила она, по-

низив голос.

— Двое утверждали, что видели.

— И кто были эти двое?

— Во-первых, одна женщина — когда я с ней познакомился, ей уже перевалило за пятьдесят. А в ту пору она была маленькой девочкой. Ее послали пригнать домой коров, и она увидела высокую белую фигуру, бегущую за деревьями.

— Так близко, что сумела отличить мужскую конституцию от женской? — спросил Уилфред.

Альберт отнесся к его вопросу со всей серьезностью.

— Насколько близко — мне неизвестно.

— Ну, хорошо, — вклинились Милдред. — А во-вторых?

— Мальчонка-рыболов. Спустя годы. Он поднял глаза от поплавка и увидел белое существо, наблюдающее за ним с другого берега. Мальчик решил, что это привидение.

— Только и всего? — бросила Милдред. — Неужели никто не докопался до истины?

— Нет.

— Теперь, я считаю, его всяко нет в живых, — заключила Милдред.

— Давным-давно, — подтвердил Альберт.

Если б такую байку взялся рассказывать Уил-

фред, подумала про себя Милдред, уж он бы не остановился на полуслове, он бы придумал какое ни на есть завершение. У него Ллойд Сэллоуз мог бы появиться в голом виде, чтобы по условиям пари забрать выигранные деньги, мог бы вернуться миллионером, в шикарном костюме, мог бы отомстить злодеям, которые его ограбили. В байках Уилфреда темные силы всегда отступали перед чем-нибудь более светлым и для каждой странности было свое объяснение. А уж когда героем рассказа становился он сам (обычно так и бывало), ему непременно выпадала какая-нибудь удача: вкусная снедь, или бутылочка виски, или денежный куш. В истории, рассказанной Альбертом, удача и деньги не играли никакой роли. Милдред так и не поняла, к чему он такое рассказал и какой видит в этом смысл.

— А в связи с чем ты вспомнил эту байку, Альберт?

Как только слова слетели у нее с языка, она поняла, что сказала лишнее. Сунулась не в свое дело.

— Я вижу, здесь подают пироги с яблоками и с изюмом, — сказала она.

— А на Халлеттском болоте пирогов не подают: ни с яблоками, ни с изюмом! — прогремел Уил-

фред. — Мне с яблоками.

Альберт взял было вилкой кусочек остывшей котлеты, но вернул его на тарелку и сказал:

— Это не байка. Это жизнь.

Милдред сняла постельное белье с кровати, на которой спали гости, но свежее не постелила и в первую же ночь, когда они остались вдвоем, пришла под бок к мужу.

Уже засыпая, она сказала Уилфреду:

— Ни один человек в здравом уме не будет жить на болоте.

— А если припрет, — подхватил Уилфред, — надо держаться поближе к зарослям, чтобы при желании разжечь костерок.

К нему, похоже, вернулось привычное расположение духа. Однако ночью ее разбудили его слезы. Милдред не сильно испугалась — с ним такое уже бывало, и обычно по ночам. Трудно сказать, как она догадалась. Он не двигался, дышал тихо. Наверное, это ее и насторожило. Она поняла, что он лежит рядом с ней на спине, а из глаз по мокрым щекам текут слезы.

— Уилфред?

Прежде, когда он снисходил до объяснений, повод казался ей весьма странным, или придуманным на ходу, или очень отдаленно связанным

с настоящей причиной. Но, видимо, большего он предложить не мог.

— Уилфред.

— Скорей всего, мы с Альбертом больше не увидимся, — отчетливо, без дрожи в голосе и без малейших признаков довольства или сожаления выговорил Уилфред.

— Разве что мы с тобой соберемся в Саскачеван, — сказала Милдред.

Они получили приглашение, но Милдред про себя решила, что вероятность такого путешествия примерно равна вероятности поездки в Сибирь.

— Когда-нибудь, — добавила она.

— Вот-вот, когда-нибудь, — подтвердил Уилфред, громко и протяжно хлюпнув, что, по-видимому, означало душевный покой, — но не так чтобы на следующей неделе.

Луны Юпитера

Отца, как оказалось, поместили в кардиологическое отделение Центральной больницы Торонто, на восьмом этаже. Лежал он в двухместной палате. Вторая койка пустовала. По словам отца, его страховка предусматривала размещение только в общей палате, и он переживал, что с него сдерут деньги.

— Я не просился на платную койку, — сетовал он.

В других палатах, предположила я, просто мест не было.

— Нет, были, я сам видел, когда меня на каталке везли.

— Значит, это из-за того, что тебя необходимо было подключить вот к этой штуковине, — сказала я. — Не волнуйся. Когда требуется доплата, человека предупреждают заранее.

— Да, наверное, из-за этой штуковины, — согласился он. — Не тащить же в общую палату такую махину. Моя страховка, надеюсь, ее покрывает.

Я сказала, что наверняка.

К его груди тянулись провода. Над изголовьем

висел маленький монитор. По дисплею непрерывно бежала яркая ломаная линия. Запись сопровождалась нервозным электронным пиканьем. Норов отцовского сердца выставили на всеобщее обозрение. Я старалась не смотреть в ту сторону. Мне казалось, что открытое проявление интереса — по сути, драматизация действа, которому положено оставаться сокровенной тайной, — грозило плохо кончиться. Подобная обнаженность всегда чревата взрывом и безумием.

Но мой отец, похоже, не возражал. Сообщил, что ему дают транквилизаторы. Таблетки, понимаешь ли, счастья, добавил он. У него и в самом деле был спокойный, оптимистичный вид.

Накануне вечером дела обстояли совсем иначе. Когда я привезла его в больницу, в отделение экстренной помощи, отец был бледен и не размыкал губ. Выбравшись из машины, он распрямился и тихо выговорил:

— Сходи за каталкой.

Такой голос всегда прорезался у него в критических ситуациях. Как-то раз, воскресным вечером, у нас в дымоходе вспыхнул огонь; я была в столовой — скалывала булавками раскроенное платье. Отец вошел и заговорил точно таким же голосом — будничным, настораживающим: «Дженет.

Не подскажешь ли, где у нас пищевая сода?» Он хотел засыпать ею пламя. Позже он сказал: «Сдается мне, это ты виновата: негоже в воскресенье шитьем заниматься».

В приемном покое я томилась больше часа. К отцу вызвали дежурного кардиолога, совсем молодого доктора. Тот, выйдя со мной в коридор, объяснил, что один из клапанов отцовского сердца настолько изношен, что требует немедленного оперативного вмешательства.

Я спросила, чем чреват отказ от операции.

— Ваш отец будет прикован к постели, — ответил доктор.

— Сколько это продлится?

— Месяца три.

— Я о том, сколько он протянет.

— И я о том же, — сказал врач.

Я пошла взглянуть на отца. Он полусидел на кровати в углу, за занавеской.

— Дело швах, да? — услышала я. — Он тебе рассказал про клапан?

— Могло быть и хуже, — ответила я. А потом повторила и даже преувеличила, все положительное, что услышала от врача. — Непосредственной опасности нет. Общее состояние у тебя в остальном удовлетворительное.

— В остальном, — удрученно повторил отец.

Я еще не пришла в себя после долгих переездов — в первой половине дня помчалась за отцом в Даглиш, потом обратно в Торонто, — и беспокоилась, что не успею вовремя вернуть взятую напрокат машину, да еще досадовала из-за журнальной статьи, которую прочла во время ожидания. В ней рассказывалось о моей коллеге-писательнице, более юной, более миловидной и, вероятно, более талантливой. В течение двух месяцев я находилась в Англии, а потому статью эту раньше прочесть не успела, но при знакомстве с ней мне пришло в голову, что отец-то, скорее всего, успел. Я так и слышала его голос: «Надо же, почему-то о тебе в журнале „Маклинз“ не пишут». А попадись ему на глаза хоть строчка обо мне, он тут же сказал бы: «Надо же, чего только не напишут». С шутливой снисходительностью, которая повергла бы меня в хорошо знакомое уныние духа. Подтекст был ясен: за славу нужно сперва бороться, а потом извиняться. Добьешься ты ее, не добьешься — все равно будешь виновата.

Сообщение врача меня не удивило. Я была готова услышать нечто подобное и похвалила себя за спокойствие, как похвалила бы за обработку раны или взгляд вниз с хлипкого балкона мно-

гоэтажки. Да, подумала я, время пришло; чему быть, того не миновать. У меня в душе не закипел протест, какой был бы неизбежен лет двадцать или даже десять назад. По отцовскому лицу я поняла, что он обо всем догадался: неприятие вспыхнуло в нем с такой силой, будто он вдруг сделался на три-четыре десятка лет моложе; тут у меня сердце и вовсе превратилось в камень, и я изрекла с напускной бодростью, которая никого не могла обмануть:

— «В остальном» — это немало.

На другой день он уже стал самим собой.

Я бы выразилась именно так. Отец сказал, что парнишка этот, доктор, наверное, страсть как хочет оперировать. «Ему только дай ножом помахать», — добавил он. Одновременно и съязвил, и похвастался, что владеет больничным жаргоном. А еще поведал, что его смотрел другой врач, не какой-нибудь юнец, который высказался в том смысле, что покой и лекарства, скорее всего, сделают свое дело.

Какое именно — я решила не уточнять.

— Он подтверждает, что у меня износился клапан. Естественно, какое-то нарушение имеется. Меня тут пытали, не страдал ли я в детстве ревматизмом. Нет, говорю, не припоминаю. Но в то

время могли и проглядеть. Мой папаша врачей не жаловал.

Мысль об отцовском детстве, которое всегда виделось мне безрадостным и полным опасностей — убогая ферма, забитые сестры, тиран-папаша, — пошатнула мое смирение относительно его кончины. Я представила, как он удирает из дому, как бежит в сумерках по рельсам до самого Годрича, чтобы там наняться на озерный пароход. Раньше он частенько об этом рассказывал. У железнодорожной насыпи ему на глаза попалось айвовое дерево. В наших краях айва — большая редкость; я, пожалуй, вообще не видела, как она растет. Не видела даже того дерева, которое встретилось отцу, хотя однажды он повез нас на поиски. Ему запомнилось, что росло оно недалеко от переезда, но мы его так и не нашли. Плоды, разумеется, он в свое время не попробовал, но сам факт существования такого дерева произвел на него неизгладимое впечатление.

Мальчонка-беглец, не сломленный жизнью, а ныне старик, заложник своего эндокардита. Я гнала от себя эти мысли. Мне не хотелось вспоминать его юношеские ипостаси. Даже его голый торс, крепкий, белый — у отца было туловище работяги, который, как велось у его поколения,

редко бывал на солнце, — внушал мне какое-то опасение своей мощью и моложавостью. Пигментные пятна старости на коже рук, морщинистая шея, узкая, изящной формы голова с редкими седыми волосами, такие же седые усы — это было для меня куда привычнее.

— Нет, в самом деле, зачем ложиться под нож? — здраво рассуждал отец. — В моем возрасте это большой риск, а чего ради? Ну, еще пару лет проскрипеть. Лучше домой поеду, а там будь что будет. Уйду с достоинством. Это максимум, на что можно рассчитывать в мои годы. Понимаешь, настрой меняется. Теперь склад ума другой. Она выглядит естественней, что ли.

— Кто «она»? — переспросила я.

— Как кто — смерть. Что может быть естественней? Это я к тому веду, что на операцию соглашаться не надо.

— По-твоему, так будет естественней?

— Да.

— Решение за тобой, — сказала я, но в душе согласилась.

Иного я и не ожидала. Рассказывая знакомым о своем отце, я всегда подчеркивала его независимость, самодостаточность, жизнестойкость. Он трудился на заводе, трудился у себя в саду, читал

книги по истории. Мог порассуждать и о римских императорах, и о балканских войнах. Никогда не суетился.

Двумя днями ранее моя младшая дочка Джудит встречала меня в аэропорту Торонто. Привезла с собой парня, с которым недавно съехалась; зовут его Дон. Наутро они уезжали в Мексику и предложили мне остановиться у них. А вообще, я пока живу в Ванкувере. Там у меня, можно сказать, штаб-квартира.

— А где Никола? — спросила я, не зная, что предположить: несчастный случай или передоз.

Никола — это моя старшая дочь. Какое-то время училась в консерватории, потом устроилась официанткой, потом осталась не у дел. Появись она в аэропорту, я наверняка сказала бы что-нибудь не то. Спросила бы, каковы ее планы, а она бы, изящно откинув волосы, переспросила: «Планы?» — как будто я изобрела новое слово.

— Кто бы сомневался, что первым делом ты спросишь про Николу, — бросила Джудит.

— Не надо. Я сказала «здравствуйте», я…

— Давайте ваш чемодан, — дипломатично предложил Дон.

— Она здорова?

— Абсолютно. — Джудит изобразила веселье. —

Если б это я не приехала тебя встречать, у тебя было бы совсем другое лицо.

— Точно такое же.

— Не скажи. Никола ведь у нас в семье любимица. Она, между прочим, на четыре года старше меня.

— Я догадываюсь.

Джудит сказала, что понятия не имеет, где именно сейчас находится Никола. Оказалось, она выехала из своей квартиры («такая дыра!») и даже позвонила (это, можно сказать, целое событие: Никола позвонила) сообщить, что некоторое время хочет побыть «инкоммуникадо», а так у нее все прекрасно.

— Я ей говорила, что ты будешь волноваться. — По пути к машине Джудит немного смягчилась; Дон с моим чемоданом шел впереди. — Но ты не волнуйся. Поверь, у нее все нормально.

Присутствие Дона меня сковывало. Не хотелось, чтобы он все это слышал. Я представила, о чем они говорят между собой — Дон и Джудит. Или Дон, Джудит и Никола, поскольку Никола и Джудит все же изредка бывали в хороших отношениях. Или Дон, Джудит, Никола и другие, которых я даже не знала по именам. Наверняка перемывают мне косточки. Джудит и Никола

делятся впечатлениями, насмешничают; анализируют, сожалеют, обвиняют, прощают. Были бы у меня сын и дочка. Или двое сыновей. Они бы так не поступали. Мальчики не могут столько о тебе знать.

В их возрасте я вела себя так же. Когда мне было столько лет, сколько сейчас Джудит, я только и делала, что трепалась с друзьями в студенческой столовой или поздно вечером за чашкой кофе у кого-нибудь в дешевой комнатенке. А когда мне было столько лет, сколько сейчас Николе, я уже повсюду таскала с собой саму Николу — она лежала в переносной колыбельке или ерзала у меня на коленях, а я между тем дождливыми ванкуверскими вечерами опять пила кофе с Рут Будро, единственной из подружек, которая жила по соседству: та много читала и не меньше моего недоумевала по поводу семейных дел. Мы судачили о родителях, о своем детстве, но до поры до времени не касались вопросов замужества. Как же дотошно мы обсуждали наших отцов и матерей, как порицали их семейную жизнь, их ложные помыслы или боязнь любых помыслов, с каким знанием дела мы навешивали на них ярлыки, клеймили за неисправимую косность. Ну и самомнение…

Я подняла глаза на шагавшего впереди Дона. Высокий, аскетического вида парень с копной черных волос, как у святого Франциска, и с безупречно очерченной бородкой. Кто дал ему право слушать, что говорится в мой адрес, узнавать обо мне такие вещи, о которых я сама, считай, забыла? У меня сложилось мнение, что эта бородка вкупе с прической отдает аффектацией.

Однажды, когда мои дочки были еще маленькими, отец мне сказал: «Знаешь, совершенно не помню, как ты росла… какое-то сплошное пятно. Что один год, что другой — никакой разницы». Мне стало обидно. Ведь я каждый отдельно взятый год вспоминала с болезненной отчетливостью. Могла сказать, в каком возрасте пристрастилась бегать к витрине шикарного магазина женской одежды и глазеть на вечерние платья. В течение всей зимы там каждую неделю выставляли новые, ярко подсвеченные наряды: блестки и тюль, нечто розовое и сиреневое, сапфировое и нарциссово-желтое; а я, продрогшая до костей, благоговейно топталась на тротуаре и месила ногами слякоть. Могла сказать, в каком возрасте подделала мамину подпись в школьном табеле с плохими отметками, в каком возрасте переболела корью и в какой именно год мы поме-

няли обои в гостиной. Но раннее детство Джудит и Николы, когда я еще жила с их отцом… да, какое-то сплошное пятно, именно так. Помню, как я развешивала пеленки, как вносила их в комнату и складывала; помню, как выглядели кухонные столешницы в двух домах и где стояли корзины для белья. Помню телепередачи: «Моряк Пучеглаз»[53], «Три балбеса»[54], «Фанорама». Когда начиналась «Фанорама», это означало, что пора зажигать свет и готовить ужин. Но отличить один год от другого я не могла. Жили мы в спальном пригороде Ванкувера: Дормир, Дормер, Дормаус — как-то так.[55] И я все время ходила сонная: во время беременности меня постоянно клонило в сон, а тут еще и ночные кормления, и беспрестанные дожди — обычное дело на западном

---

[53] Примечания: 53

«Моряк Пучеглаз» (Popeye the Sailor) — герой комиксов, выходивших с 1929 г., и мультфильмов, выходивших с 1933 г.; в 1980 г. о нем был снят художественный фильм (постановщик Роберт Олтмен, в главной роли Робин Уильямс), на 2016 г. намечен выход полнометражного мультфильма.

[54] Примечания: 54

«Три балбеса» (The Three Stooges) — американское трио комиков, выступавшее в различных составах с 1930 до 1975 г. и снявшееся во множестве короткометражных фильмов.

[55] Примечания: 55

…Дормир, Дормер, Дормаус — как-то так. — Первое из предполагаемых названий совпадает с *фр.* dormir («спать»), второе — с *англ.* dormer («опочивальня»), третье — с *англ.* dormouse («соня»).

побережье. С темных кедров падали дождевые капли, с блестящих лавров падали дождевые капли; жены зевали, задремывали, ходили друг к дружке в гости, пили кофе и складывали пеленки; мужья вечерами добирались домой с работы по воде. Каждый вечер я целовала мужа, еще не успевшего снять мокрый плащ, и надеялись, что он разгонит мою сонливость; я подавала на стол мясо с картошкой, а к нему — один из четырех видов овощей, которые только и признавал муж. Он со зверским аппетитом поглощал ужин и засыпал на диване в гостиной. Мы сделались карикатурной парочкой: еще не достигнув тридцати, закоснели сильнее, чем в пору зрелости.

Зато нашим детям эти тягучие годы запомнятся на всю жизнь. Их память сохранит дворовые закутки, куда не ступала моя нога.

— Неужели у Николы не возникло желания меня увидеть? — спросила я.

— У нее редко возникает желание кого-нибудь увидеть, — ответила Джудит.

Прибавив шагу, она тронула Дона за локоть.

Я узнала это прикосновение — виноватое, тревожное, ободряющее. Таким прикосновением ты даешь мужчине понять, что благодарна, что ценишь его терпение и предпринятые ради тебя

усилия, хотя они, возможно, слегка ущемляют его чувство собственного достоинства. Когда моя дочь таким жестом прикоснулась к мужчине, к мальчишке, я вмиг состарилась: больше, чем состарюсь, когда пойдут внуки. Я ощутила ее участливое волнение и догадалась, что за этим последуют искупительные знаки внимания. Моя дерзкая, крепенькая, светловолосая, искренняя девочка. С какой стати я решила, что она всегда будет прямолинейной, тяжеловесной, самоуверенной? А ведь я точно так же твержу, что Никола — скрытная, нелюдимая, холодная, сексапильная. Много найдется людей, которые с этим поспорят.

Утром Дон и Джудит отбыли в Мексику. А мне захотелось встретиться с кем-нибудь из тех, кто не состоит со мной в родстве и не ожидает от меня ничего сверхъестественного. Я позвонила своему бывшему возлюбленному, но попала на автоответчик: «С вами говорит Том Шеперд. До конца сентября меня не будет в городе. Пожалуйста, оставьте свое сообщение, имя и номер телефона».

Голос Тома звучал настолько приятно и узнаваемо, что я раскрыла рот и чуть не спросила, как понимать эту чушь. Но спохватилась и повесила трубку. Чувство было такое, словно он нарочно

меня обманул: назначил свидание в людном месте, а сам не пришел. Однажды такое было, как сейчас помню.

Хотя часы даже не показывали полдень, я налила себе стаканчик вермута и позвонила отцу.

— Надо же, — сказал он. — Еще четверть часа — и ты бы меня не застала.

— Собираешься в центр?

— В центр Торонто.

Он объяснил, что ложится в больницу. Лечащий врач в Далглише дал ему направление, которое следовало предъявить в отделении экстренной помощи.

— Экстренной помощи? — удивилась я.

— У меня не экстренный случай. Просто доктор считает, что таким способом мы облегчим госпитализацию. У него в этой больнице есть связи. А если в порядке очереди, то ждать придется не одну неделю.

В итоге я схватила напрокат машину, помчалась в Далглиш, повезла отца в Торонто и к семи часам доставила его в отделение экстренной помощи.

Перед тем как распрощаться с Джудит, я уточнила:

— Как по-твоему, Никола знает, что я остано-

вилась у тебя?

— Во всяком случае, я ей говорила, — ответила Джудит.

Время от времени раздавались телефонные звонки, но это звонили какие-то подружки Джудит.

— Как видно, придется на это пойти, — сказал отец. (Дело было на четвертый день. За ночь его настрой изменился на противоположный.) — Будем надеяться, выдержу.

Я не знала, что он хочет от меня услышать. Возможно, подумалось мне, ждет, чтобы я запротестовала, начала отговаривать.

— И когда же?

Я сказала, что схожу помыть руки, а сама отыскала сестринский пост. Там сидела женщина, которую я приняла за старшую медсестру. Во всяком случае, у нее были седые волосы и доброжелательное, серьезное лицо.

— Это правда, что моему отцу послезавтра предстоит операция?

— Да.

— Мне нужно хоть с кем-то обсудить этот вопрос. Я считала, что операция, по общему мнению, ему не показана. По причине возраста.

— Решение принимает сам пациент по согла-

сованию с врачами. — Она улыбнулась, но без тени снисходительности. — Это всегда непростое решение.

— Какие у него результаты анализов?

— Ну, я видела далеко не все.

Я не сомневалась, что она видела их все. В следующий миг она сказала:

— Надо реально смотреть на вещи. Но врачи у нас очень квалифицированные.

Когда я вернулась в палату, отец изумленно выпалил:

— Без-*брежные* моря.

— Что? — не поняла я.

Мои мысли были о том, знает ли он, на сколь долгий — или краткий — срок может рассчитывать. Мои мысли были о том, что в эту обманчивую эйфорию его ввергли, скорее всего, таблетки. А может, он просто надумал рискнуть. Однажды, рассказывая мне случаи из своей жизни, он произнес такую фразу: «Я вечно опасался идти на риск».

Раньше я говорила знакомым: отец никогда не сожалел о том, как сложилась его жизнь; но это не так. Просто он к ней не прислушивался. Он сам признавал, что напрасно не пошел в армию как вольнонаемный работник — поправил бы

свои дела. Напрасно после войны не открыл свое деревообрабатывающее производство. Напрасно не уехал из Далглиша. А однажды сказал: «Всю жизнь небо коптил, да?» Но он над собой подшучивал: если такие слова произносятся всерьез, это уже трагедия. Декламируя стихи, отец тоже всегда подпускал насмешливые нотки, чтобы никто не подумал, что он заносится и сам получает удовольствие.

— Безбрежные моря, — повторил он. — «Остались позади туманные Азоры, / И Геркулесовы врата им пройдены не зря; / А впереди не ждут спокойных бухт узоры, Ждут впереди одни безбрежные моря».[56] У меня всю ночь это вертелось в голове. Но как ты думаешь, смог я вспомнить, *какие* моря? Не смог. «Безлюдные»? «Бескрайние»? Горячо, да не то. Но вот сейчас ты вошла в палату, я думал совершенно о другом, а слово само собой всплыло. Так всегда бывает, верно? Оно

---

[56] Примечания: 56

«Остались позади туманные Азоры, / И Геркулесовы врата им пройдены не зря; / А впереди не ждут спокойных бухт узоры, / Ждут впереди одни безбрежные моря» — строки из стихотворения «Колумб» американского писателя, путешественника и авантюриста Хоакина Миллера (1837–1913). Настоящее имя автора — Цинциннат Хайнер Миллер; имя Хоакин было взято им в честь мексиканского разбойника Хоакина Мурьеты. Цитируемое стихотворение относится к самым известным произведениям Хоакина Миллера и неизменно включается в поэтические антологии.

и неудивительно. Я задаю своему мозгу вопрос. Ответ заложен изначально, только я не могу проследить за всеми связями, которые включает мозг, чтобы до него добраться. Как компьютер. Ничего особенного. Видишь ли, в моем положении есть одна закавыка: любая вещь, которая не поддается мгновенному объяснению, подталкивает тебя… ну, к тому, чтобы сделать из нее тайну. Чтобы поверить… ну, сама понимаешь.

— В существование души? — с легкостью выдала я — и ощутила устрашающий прилив любви и узнавания.

— Ну, можно, наверное, и так выразиться. Видишь ли, когда я оказался в этой палате, вот здесь лежала кипа газет. Кто-то оставил. Бульварные листки, я никогда в их сторону не смотрел. А тут взялся читать. Я всегда читаю, что под руку подвернулось. Так вот, наткнулся я на серию материалов о людях, которые с медицинской точки зрения умерли — в основном от остановки сердца, — а потом были возвращены к жизни. И поведали, чем запомнилось им то время, когда они были мертвы. Раскрыли свои ощущения.

— Приятные или наоборот? — спросила я.

— О, приятные. Еще какие. Человек взмывает к потолку, сверху взирает на себя и видит, как над

ним — над его телом — колдуют врачи. Потом взмывает еще выше — и узнает своих близких, которые умерли до него. Не то чтобы видит, но как бы чувствует. Временами он слышит какое-то тихое пение, временами видит… как называется свет или луч, который исходит от человеческой личности?

— Ауру?

— Да-да. Только в отсутствие личности. Вот, пожалуй, и все, что человек успевает заметить; а потом внедряется в собственное тело — и на него обрушивается смертельная боль и все прочее; это и есть возвращение к жизни.

— И это тебя убедило?

— Как тебе сказать… Все дело в том, хочешь ты сам верить в такие штуки или не хочешь. Если хочешь верить, если хочешь воспринимать это всерьез, то придется воспринимать всерьез и все остальное, что печатают в таких газетенках.

— И что же там печатают?

— Всякую чушь: исцеление от рака, исцеление от облысения, истерики по поводу молодежи и расхищения социалки. Сплетни о кинозвездах.

— Да. Понимаю.

— В моем положении приходится быть начеку, — сказал отец, — чтобы не задурить себе

голову. — А потом добавил: — Нужно обсудить кое-какие практические вопросы, пока не поздно. — И проинструктировал меня насчет своего завещания, дома, участка на кладбище. Все просто.

— Может, позвонить Пегги? — предложила я.

Пегги — это моя сестра. Муж у нее астроном, живут в Виктории.

Отец призадумался.

— Наверное, стоит им сообщить, — сказал он наконец. — Только скажи, чтоб не волновались.

— Хорошо.

— Нет, погоди. Сэм в конце недели должен лететь на конференцию, и Пегги рассчитывала его сопровождать. Не хочется, чтобы они думали, будто обязаны перекраивать свои планы.

— А где будет конференция?

— В Амстердаме, — с гордостью сказал отец.

Он действительно гордился зятем, отслеживал все его и статьи и монографии. Брал в руки книгу и говорил: «Ты это видела, а? И ведь ни слова не понять!» — с полным восхищением, в котором все же сквозили насмешливые нотки.

«Астроном Сэм, — повторял он. — И трое маленьких астрономчиков». Так он называл своих внуков, которые способностями и почти трога-

тельным нахальством, невинным напористым хвастовством действительно пошли в отца. Учились они в частной школе, где поддерживалась старомодная дисциплина и с пятого класса преподавалось дифференциальное и интегральное исчисление. «И собаки, — мог продолжить отец, — которые прошли курс дрессировки. И Пегги…»

Но стоило мне вставить: «По-твоему, она тоже прошла курс дрессировки?» — как он тут же прекратил эту игру. Полагаю, что в гостях у Сэма и Пегги он в такой же манере отзывался обо мне: намекал на мое легкомыслие, подобно тому как намекал мне на их занудливость, отпускал в мой адрес незлобивые шутки, не скрывал своего изумления (или делал вид, будто не скрывает своего изумления) тем, что находятся люди, которые платят за мою писанину. Он делал это вынужденно, чтобы никто не заподозрил его в хвастовстве, но сразу ставил заслон, если насмешки становились чересчур жесткими. И конечно же, потом я обнаружила у него в доме кое-какие посвященные мне материалы — несколько журналов, газетные вырезки, которые он бережно хранил, а я даже не вспоминала.

Теперь его мысли плавно перешли от семей-

ства Пегги к моему.

— От Джудит ничего не слышно? — спросил он.

— Пока нет.

— Наверное, рано еще. Они собирались ночевать я машине?

— Да.

— Надеюсь, это безопасно, если парковаться в отведенных местах.

Я предвидела, что отец непременно добавит что-нибудь еще, и не сомневалась, что он отпустит шутку.

— Не иначе как они будут меж собой доску класть, по примеру первых поселенцев?

Я улыбнулась, но отвечать не стала.

— Как я понимаю, ты им не препятствуешь?

— Нет, — отрезала я.

— Знаешь, я и сам всегда придерживался того же правила. Не вмешиваться в жизнь детей. Когда ты ушла от Ричарда, я слова не сказал.

— Что значит «слова не сказал»? Мне в осуждение?

— Мое дело — сторона.

— Правильно.

— Но это не значит, что я радовался.

Меня это удивило: не столько сами слова, сколь-

ко его убежденность, что он до сих пор имеет право бередить прошлое. Чтобы не сорваться, я уставилась в окно, на поток транспорта.

— Просто хочу, чтоб ты знала, — добавил он.

Когда-то давно он сказал мне со свойственной ему незлобивостью: «Вот интересно. Когда я впервые увидел Ричарда, мне вспомнились слова моего папаши. Он говорил так: если у мужика ума вдвое меньше, чем ему кажется, значит на самом деле у него еще вдвое меньше».

Я повернулась, чтобы напомнить ему тот разговор, но вместо этого невольно задержала взгляд на ломаной линии, которую выписывало его сердце. Не то чтобы она меня насторожила — все те же острые зигзаги, сопровождаемые пиканьем. Просто эта линия оказалась прямо передо мной.

Отец перехватил мой взгляд.

— Несправедливое преимущество, — сказал он.

— Верно, — согласилась я. — Надо будет мне тоже подсоединиться к такой штуковине.

Мы посмеялись, для видимости обменялись поцелуем, и я ушла. Про Николу не стал расспрашивать — и на том спасибо, подумала я.

На следующий день в больницу я поехала не рано, потому что отцу в связи с предстоящей опе-

рацией назначили еще какие-то обследования. Мы договорились, что увидимся вечером. А я тем временем отправилась на Блур-стрит и совершила набег на модные магазины. Меня накрыла, как неотвязная головная боль, зацикленность на моде и собственной внешности. На улице я разглядывала встречных женщин и выставленные в витринах наряды, планируя возможные трансформации своего облика за счет будущих покупок. Ясно, что это было наваждение, но стряхнуть его не получалось. Понаслышке я знала, что есть люди, которые в минуты напряженного ожидания бросаются к холодильнику и уминают все подряд: отварной картофель, соус чили, взбитые сливки. Или начинают лихорадочно решать кроссворды. Все внимание сосредоточивается на какой-то одной вещи — на посторонней сущности, впивается в нее, оборачивается сущим фанатизмом. Я перебирала вешалки с платьями на никелированных стойках, обливалась потом перед беспощадными зеркалами тесных примерочных. Пару раз едва не грохнулась в обморок. Наконец я все же вышла на воздух и сказала себе, что нужно уносить ноги с этой улицы; решила пойти в музей.

А еще помню: дело было в Ванкувере. Никола

тогда ходила в детский сад, а Джудит была совсем крохой. Я повела Николу к врачу: кажется, она простудилась, а возможно, просто настало время очередного медосмотра, но анализ крови показал, что лейкоциты не соответствуют норме: то ли их было слишком много, то ли размер клеток превышал допустимые показатели. Врач назначил дополнительные обследования, для проведения которых Николу поместили в стационар. Слово «лейкемия» не произносилось, но я прекрасно понимала, чего опасаются медики. Привезя Николу домой, я попросила няню, которая в тот день сидела с Джудит, остаться сверхурочно, а сама побежала по магазинам. Купила весьма откровенное платье, каких в моем гардеробе никогда не бывало: черное, шелковое, облегающее, с кокетливой шнуровкой на груди. Запомнила я и прозрачную весеннюю погоду, и стоявшие в примерочной туфли на шпильках, и свое нижнее белье леопардовой расцветки.

Меня преследовали мысли о том, как мы в переполненном автобусе ехали домой из больницы Святого Павла по мосту Лайонз-Гейт и Никола сидела у меня на коленях. Она вдруг вспомнила, как в раннем детстве называла мост, и зашептала мне на ухо: «Мосик, по мосику». Я была не против

приласкать своего ребенка — у Николы уже тогда была стройная, грациозная фигурка с изящной спиной и чудесные темные волосы, — но поняла, что в тот миг прикасалась к ней как-то особенно, хотя этого, наверное, никто не смог бы заметить. В этом прикосновении была некая отстраненность — не отрешенность, а именно отстраненность — от чувств. Я знала, какими бывают проявления любви к обреченным, но эту любовь приходилось дозировать и укрощать, чтобы как-то жить дальше. Эти проявления должны быть настолько тактичными, чтобы любимый человек их даже не заподозрил, как не подозревал о своем смертном приговоре. Никола и не подозревала, ни тогда, ни потом. Ее осыпали игрушками, поцелуями и забавами; Никола ни о чем не догадывалась, хотя я беспокоилась, как бы она не уловила этот холодок выдуманных праздников и выдуманной естественности. Но все обошлось. Диагноз «лейкемия» не подтвердился. Никола выросла… здоровой и, вероятно, счастливой. «Инкоммуникадо».

Я так и не придумала, что же хочу посмотреть в музее, а потому прошагала мимо, в сторону планетария. В планетарии я не бывала ни разу в жизни. До начала сеанса оставалось десять ми-

нут. Войдя в вестибюль, я купила билет и встала в очередь. Передо мной оказался большой выводок школьников — наверное, не один класс, — опекаемый учителями и активными мамочками. Я огляделась в поисках взрослых посетителей. Увидела только одного: краснолицего дядьку с припухшими глазами; у него был такой вид, словно он пришел сюда с единственной целью — чтобы удержать себя от посещения злачных мест.

В зале мы все устроились в исключительно удобных креслах, которые откидывались назад; создавалось впечатление, будто ты лежишь в гамаке и созерцаешь чашу небесного свода, которая вскоре стала густо-синей, с каемкой бледного света по краю. Зазвучала удивительная, властная мелодия. Взрослые зашикали на детей, чтобы те не шуршали пакетиками чипсов. Потом из стен неспешно полился мужской голос — хорошо поставленный, профессиональный голос, каким дикторы объявляют произведения классиков или вещают о появлении королевской семьи в Вестминстерском аббатстве по случаю событий государственной важности. Звук отдавался легким эхом.

На темном потолке стали загораться звезды.

Не сразу, а одна за другой, как на самом деле бывает вечерней порой, только быстрее. Из них сложился Млечный Путь, который поплыл к нам; одна за другой звезды окунались в сияние и уходили, исчезая за кромкой небесного экрана или у меня за головой. Пока текла эта река света, голос доносил до нас поразительные факты. С расстояния в несколько световых лет, говорил он, Солнце выглядит просто яркой звездой, а планеты вообще не видны. С расстояния в несколько десятков световых лет уже и Солнца не разглядеть невооруженным глазом. И это расстояние — несколько десятков световых лет — составляет всего лишь тысячную часть того расстояния, что отделяет Солнце от центра нашей Галактики, которая включает в себя примерно двести миллиардов солнц. И, в свою очередь, является лишь одной из миллионов, а возможно, и миллиардов галактик. Бесчисленные повторения, бесчисленные вариации. Все они тоже проплывали у меня над головой, как шаровые молнии.

Теперь правдоподобное изображение сменилось знакомым символическим. Над нами грациозно вращалась модель Солнечной системы. От Земли отделилась яркая точка и направилась в сторону Юпитера. Я сурово приказала своим

непослушным хиреющим извилинам запоминать факты. Масса Юпитера в два с половиной раза превышает массу всех других планет, вместе взятых. Большое Красное Пятно. Тринадцать лун. За Юпитером — причудливая орбита Плутона, ледяные кольца Сатурна. Назад, к Земле, потом к горячей, ослепительной Венере. Атмосферное давление — в девяносто раз выше, чем у нас. Безлунный Меркурий, совершая два оборота вокруг Солнца, успевает лишь трижды обернуться вокруг своей оси; странное соотношение, не такое гармоничное, как нам когда-то внушали: мол, один оборот вокруг своей оси за время одного оборота вокруг Солнца. Значит, вечной тьмы там нет. Почему же нас уверенно пичкали этой информацией, которую теперь объявили полностью недостоверной? Напоследок — картина, хорошо знакомая по журнальным иллюстрациям: красные пески Марса, розовеющее небо…

Когда сеанс закончился, я осталась сидеть в кресле, пока к выходу мимо меня протискивались дети, ни словом не упоминая то, что увидели и услышали. Они требовали от своих стражей новых лакомств и новых зрелищ. Попытка завладеть их вниманием, отвлечь юные умы от попкорна и чипсов, чтобы задумались об извест-

ном, и неизвестном, и чудовищно необъятном, потерпела, судя по всему, полный крах. Может, это и неплохо, подумала я. Дети в большинстве своем обладают естественным иммунитетом, и с ним нужно считаться. А если взрослые, которые организовали этот показ, останутся недовольны, то не страдают ли они сами подобной невосприимчивостью, коль скоро додумались создать эхокамеру, музыкальное сопровождение, храмовую торжественность, и все для того, чтобы вызвать у зрителей требуемое благоговение? Благоговение — это вообще что такое? Мурашки по коже при взгляде из окна? Раз испытав, больше к нему стремиться не будешь.

Двое уборщиков принялись выметать оставленный публикой мусор. Они сказали, что следующий сеанс начнется через сорок минут. На это время необходимо покинуть зал.

— В планетарии побывала, — сообщила я отцу. — Так увлекательно — рассказ о Солнечной системе.

Сказала и осеклась: какое дурацкое слово — «увлекательно».

— Зал похож на бутафорский храм, — добавила я.

Но отец уже перехватил инициативу.

— А ведь я помню, как открыли Плутон. Именно там, где ему, по расчетам, и следовало находиться. Меркурий, Венера, Земля, Марс, — перечислял он, — Юпитер, Сатурн, Неп… стоп, не так: Уран, Нептун, Плутон. Точно?

— Точно, — подтвердила я, а в душе порадовалась, что он не расслышал мою реплику про бутафорский храм. Сказанула для наглядности, но вышло плоско и высокомерно. — А можешь назвать луны Юпитера?

— Новые не назову. У него ведь есть новые спутники, правда?

— Два. Только они не новые.

— Для нас — новые, — возразил отец. — Мне под нож ложиться, а она спорить вздумала.

— «Под нож». Скажешь тоже.

В тот вечер — его последний вечер — он не лежал на больничной койке. Его отключили от аппаратуры и усадили в кресло у окна. Из-под казенного халата торчали голые ноги, но отец не смущался и не отворачивался. Немного подавленный, он все же держался добродушно, как приветливый хозяин.

— Ты даже старые не назвал, — отметила я.

— Дай подумать. Названия им дал Галилей. Ио.

— Это раз.

— Луны Юпитера суть первые небесные тела, открытые с помощью телескопа, — отчеканил отец как по писаному. — Только названия им не Галилей дал, а какой-то немец. Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Довольна?

— Вполне.

— Ио и Европа — это возлюбленные Юпитера, то есть Зевса, правильно? Ганимед — юноша. Пастушок? А кто такая Каллисто — не знаю.

— Тоже возлюбленная, если не ошибаюсь, — сказала я. — Жена Юпитера превратила ее в медведицу и пригвоздила к небу. Большая Медведица и Малая Медведица. Малая Медведица — это ее дитя.

По трансляции объявили, что время посещения закончено.

— Увидимся, когда ты очнешься после наркоза, — сказала я.

— Непременно.

Когда я уже была в дверях, отец сказал мне вслед:

— Ганимед — никакой не пастушок. Он — виночерпий Юпитера.

В тот день, после сеанса в планетарии, я прошла через музей в Китайский парк. Вновь повидала каменных верблюдов, воинов, саркофаг. Поси-

дела на скамейке с видом на Блур-стрит. Сквозь вечнозеленые кусты и высокую кованую ограду поглазела на прохожих, двигавшихся в предзакатном свете. Планетарий по большому счету дал мне то, к чему я стремилась: он меня успокоил, иссушил. Одна девушка в толпе почему-то напомнила мне Николу. Одетая в пальто-тренч, она несла пакет с продуктами. Росточком, правда, не вышла, да и вообще мало походила на мою дочь, но я подумала, что вполне могла бы увидеть здесь Николу. Вполне возможно, что в тот миг она шла по соседней улице — нагруженная, сосредоточенная, одинокая. В этом мире она уже примкнула к стану взрослых, к стану тех, кто возвращается домой с покупками.

Если увижу ее, решила я, останусь, наверное, сидеть и смотреть. Я ощущала себя как те немногие, что взмывают к потолку во время своей краткосрочной смерти. Так легче, пусть ненадолго. Мой отец сделал свой выбор, и Никола сделала свой выбор. В один прекрасный день, может быть даже очень скоро, она даст о себе знать, но это ничего не изменит.

Мне захотелось встать и подойти к саркофагу, полюбоваться резными изображениями, этими каменными сценами, которые опоясывают его

целиком. Я каждый раз собираюсь их рассмотреть, но почему-то этого не делаю. Не сделала и теперь. В воздухе похолодало, и перед тем как отправиться в больницу, я решила выпить где-нибудь чашку кофе и перекусить.